

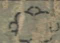
Ульяновский Педагогический Институт

ПУШКИНСКИЙ СБОРНИК

1799—1949

г. Ульяновск

19[illegible]0



УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

ПУШКИНСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИК



гор УЛЬЯНОВСК
1949 г.

Н. ГРИЦЕНКО
доцент, кандидат исторических наук

РАБОТА А. С. ПУШКИНА НАД „ИСТОРИЕЙ ПУГАЧЕВА“

«Нельзя забывать, — писал в своё время Н. Г. Чернышевский, — что Пушкин, не будучи по преимуществу ни мыслителем, ни ученым, был человеком необыкновенного ума, чрезвычайно образованный; не только за тридцать лет назад, но и ныне в нашем обществе не много найдется людей, равных Пушкину по образованию»[1].

Такими словами великий русский революционер-демократ характеризует гения русской культуры А. С. Пушкина.

О необыкновенном уме, о разностороннем образовании и знаниях, о широком круге интересов Пушкина говорят не только его гениальные поэтические творения, но и письма, дневники, черновые наброски, записки, многочисленные заметки даже о самом обычном.

Исключительно широка, разнообразна тематика пушкинских записей. В них не последнее место занимает история.

Исторические произведения, записки и заметки Пушкина, не только свидетельствуют, но и убеждают в том, что Пушкин серьезно занимался историей России, глубоко знал историю своей Родины, своего народа.

Ни одно яркое событие прошлого, будь это движения народных масс или деятельность отдельных лиц, — ничто не ускользнуло от пристального внимания Пушкина.

Он интересовался и республиканским Новгородом, и борьбой русского народа с польско-шведской интервенцией, деятельностью и личностью Петра, и народными героями Разиным и Пугачевым.

В 1833 году Н. М. Языков писал историку Погодину о Пушкине: «У нас был Пушкин с Яика — собирал-де сказания о Пугачеве... Заметно, что он вторгается в область Истории... собирается... писать историю Пётра, Екатерины I и

[1] Сборник «Н. Г. Чернышевский. 1928, стр. 215.

далее вплоть до Павла первого»[1]. Это письмо было написано под свежим впечатлением симбирской встречи с А. С. Пушкиным.

Интерес к истории, к прошлому русского народа у Пушкина не случаен. Он жил и творил в период бурных политических событий, в период социальных потрясений как в России, так и на Западе. Он встречался с участниками и свидетелями Французской революции, с участниками событий в Польше, близко общался с участниками Отечественной войны 1812 года, свидетелем которой он был сам, прямо или косвенно был связан с декабристами. Эти события повлияли на творчество Пушкина, отразились в его письмах к друзьям и знакомым, в дневнике и многочисленных заметках, сказались на взглядах и формировании политического сознания поэта.

Между декабристами и Пушкиным существовала идейная близость. «Пушкин, — пишет М. В. Нечкина, — не был декабристом, но история его политического сознания тесно связана с декабристами, и его революционные стихотворения сыграли большую идеологическую роль в декабрьском движении»[2].

Но не надо забывать, что Пушкин жил в период дворянской революционности, революционности классово-ограниченной.

В. И. Ленин, характеризуя деятельность декабристов, писал: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа»[3].

Они боялись народных масс, являлись сторонниками военной революции.

Такой же классово-ограниченной была и революционность А. С. Пушкина.

После разгрома декабристов на Сенатской площади Пушкин не отошел от своих революционных взглядов, как это пытаются доказать многие исследователи, не примирился с существующими порядками и крепостническим гнетом, попрежнему остался верен идеям декабристов.

Ярко свидетельствуют об этом и стихотворения поэта («Послание в Сибирь» и др.), и переписка его с декабристами, и встреча с ними в Закавказье.

---

[1] Литературное наследство. 16—18. 1934. Пушкин по документам архива М. П. Погодина, стр. 715.

[2] Вестник Академии Наук СССР. 2—3, 1937, стр. 151.

[3] В. И. Ленин. Соч., т. 18, стр. 14.

Через два года после разгрома декабристов в стихотворении «Арион» Пушкин пишет:

«Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы. В тишине,
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчаньи правил грузный чолн;
А я—беспечной веры полн,
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик, и пловец!
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою».

В замечательной строке: «Я гимны прежние пою...» — сказано все. Больше того, в своих политических взглядах Пушкин шел дальше, шел к демократическим идеалам.

«Пушкин начинает расти в сторону демократической революционности следующего этапа, определенного Лениным, — он устанавливает связи с Белинским и тяготеет к разночинному кругу идей», — пишет М. В. Нечкина[1].

Этим объясняется стремление Пушкина к изучению социальных проблем, к написанию произведений, где народ играет значительную роль.

Ни строжайшая цензура, ни исключительная «опека» главного цензора — самого Николая I, ни контроль III отделения, ни многочисленные шпионы и доносчики, ни травля двора — ничто не помогло самовластью: Пушкин не отказался от социальных тем.

Пушкин, как и декабристы, изучал прошлое своей страны не потому, что хотел знать больше исторических фактов, а потому, что понимал, как без знания прошлого нельзя глубоко осмыслить настоящее и предвидеть будущее.

Поэтому изучение им петровской эпохи не носило академического характера, а имело сугубо практические цели: установив прогрессивный характер реформ Петра I и сравни-

[1] Вестник Академии Наук СССР, 2—3, 1937, стр. 152.

вая деятельность Петра и Николая I, Пушкин показал реакционность политики последнего и его правительства. Поэт глубоко интересовался судьбами русского народа. Не случайно, что Пушкин избрал тему «Бориса Годунова», где с исключительной художественной силой и яркостью изобразил события начала XVII века, периода ожесточенной борьбы русского народа с интервентами, борьбы и расправы крестьянских масс с крепостниками.

Пушкин, как и Радищев, протестовал против крепостничества и рабства, его голос громко прозвучал в защиту народных масс. Он был одним из первых среди русских писателей, поднявших темы народной жизни, жизни крестьянских масс.

По этому поводу А. М. Горький писал: «Поэты до Пушкина совершенно не знали народа, не интересовались его судьбой, редко писали о нем. Это придворные люди, вельможи, они всю жизнь проводили в столице и даже свои деревни посещали очень редко и на короткий срок. Когда же они изображали в своих стихах мужика, деревню — они рисовали людей кротких, верующих, послушных барину, любящих его, добродушно подчинявшихся рабству, деревенская жизнь рисовалась им, как сплошной праздник, как мирная поэзия труда. О Разине, Пугачеве — не вспоминали, это не сливалось с установленным представлением о деревне, о мужике»[1].

Пушкин глубоко интересовался народным творчеством, особенно тем, где отражался дух социального протеста, где действующими лицами являлись народные герои Разин и Пугачев.

Даже пушкинские сказки, сюжеты которых были взяты из народного творчества, содержат: «насмешливое отрицательное отношение народа к попам и царям. — Пушкин не скрывал этого, не затушевывал, а, напротив, оттенил еще более резко»[2].

В своих сказках поэт смотрел на прошлое и настоящее не с позиций классовой, дворянской ограниченности, его исторические взгляды были шире классового эгоизма. И хотя он еще и не пришел к полному убеждению, что народ является творцом истории, что народные движения носили прогрессивный характер, тем не менее он уже в то время видел их закономерность.

---

[1] Пушкин. Временник. 3. Академия Наук СССР, М-Л. 1937, стр. 262—263.

[2] Там же, стр. 263.

Во время пребывания Пушкина на юге Н. Н. Раевский советовал ему написать историю разинского движения. Героические образы Разина и Пугачева не покидали поэта и в михайловский период жизни. Он неустанно собирал фольклорные материалы, различные официальные и иные свидетельства о Разине.

Пушкин хотел восстановить подлинное лицо народного героя, с наибольшей достоверностью рассказать о жизни и борьбе Разина, о крестьянской войне XVII века.

В селе Михайловском Пушкиным были записаны песни о Степане Разине. В 1824 году из Михайловского поэт писал брату: « Ах, боже мой. Чуть не забыл. Вот тебе задача, историческое, сухое известие о Стеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории».

В другом письме того же года Пушкин просит брата прислать в Михайловское «Жизнь Емельки Пугачева»[1].

Неизвестно, получил ли Пушкин какие-либо материалы о Разине и Пугачеве, но в 1826 году он написал «Песни о Стеньке Разине», которые не были напечатаны.

«Песни о Стеньке Разине, — сообщил поэту Бенкендорф, —при всем поэтическом своем достоинстве, по содержанию своему неприличны к напечатанию. Сверх того, церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева».

Несмотря на всякие препоны и прямые запреты, Пушкин не оставил мысли о Разине. В пушкинских черновых набросках за 1831—1832 годы сохранился план издания русских исторических песен, где значатся такие исторические личности, как Иван Грозный, Петр I, Суворов и Степан Разин[2].

Впоследствии, собирая материалы о Пугачеве, Пушкин не оставлял без внимания и того, что касалось Разина.

В частности, в записках Пушкина отмечен такой факт. Пугачев, ожидая своего конца, сидел в Москве, на Меновом дворе, где его постоянно окружали любопытные из народа. Пугачев хорошо знал, что его ждет, но духом не падал, беседовал с людьми, бодрил их и однажды, якобы, рассказал: «Известно по преданиям, что Петр I во время персидского похода, услыша, что могила Стеньки Разина находилась невдалеке, нарочно к ней поехал и велел разметать курган, дабы увидеть хоть его кости».

---

[1] Русская Старина. 1879, октябрь, стр. 299.

[2] А. С. Пушкин. т. V. Критика, История, Автобиография, М-Л. 1933, стр. 759.

Пушкин добавляет от себя: «Всем известно, что Разин был четвертован и сожжен в Москве. Тем не менее сказка замечательна, особенно в устах Пугачева»[1].

Цензурные условия николаевского времени не позволили Пушкину провести параллели между Разиным и Пугачевым, хотя косвенные упоминания подтверждают это.

Во время своей поездки в Оренбургский край, в слободу Берду, Пушкин записал легенду от одной старухи о матери Разина: «В Озерной старая казачка каждый день бродила над Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: «Не ты ли, мое детище? Не ты ли мой Степушка? Не твои ли черны кудри свежа вода моет?» И, видя лицо незнакомого, тихо отталкивала труп»[2].

В примечаниях к восьмой главе «Истории Пугачева» Пушкин проводит параллель между Разиным и Пугачевым, когда описывает казнь крестьянского вождя XVIII века: «Подробности сей казни разительно напоминают казнь другого донского казака, свирепствовавшего за сто лет перед Пугачевым почти в тех же местах и с такими же ужасными успехами»[3].

Пушкин не покидал Разина и во время работы над Пугачевым. В декабре 1833 года в записке к А. С. Норову, владельцу крупнейшей библиотеки редких книг, поэт писал: «Отсылаю тебе, любезный Норов, твоего Стеньку». Через некоторое время Пушкин снова взял книгу обратно. В пушкинской записке возле слова «Стенька» сделана приписка рукою Норова: «Опять отдан Пушкину»[4].

П. Б. Модзалевский предполагает, что «Стенька» — это не что иное, как «Путешествие Стрюйса», где, как известно, голландский путешественник, очевидец крестьянской войны, видевший самого Разина, отвел несколько глав крестьянскому вождю и восставшим[5].

В этой же записке к Норову поэт спрашивает редкую книгу «Стенько Разин донски казак».

Возможно, на основании народного творчества, печатных

---

[1] А. С. Пушкин, т. V, Критика, История, Автобиография, М.Л. 1933, стр. 779.

[2] А. С. Пушкин. П.С.С, в шести томах. т. V, М, 1936, стр. 457.

[3] Там же, стр. 487.

[4] Пушкин, Письма, т. III, 1935, стр. 114.

[5] П. Б. Модзалевский. Библиотека Пушкина. СПБ, 1910, стр. 344.

материалов Пушкиным была написана поэма «Стенька Разин». Единственное упоминание об этой поэме есть у С. И. Шевырева в письме к С. А. Соболевскому 6 октября 1832 года: «Он (Пушкин — Н. Г.) написал поэму: Стенька Разин, кот(орая), кажется, не будет напечатана»[1].

До конца дней своих Пушкин занимался изучением Степана Разина. В 1836 году по просьбе французского литератора Леве Веймара Пушкин перевел одиннадцать русских песен на французский язык, отбирая для переводов только то, что, по его мнению, было самым значительным, самым важным. В числе этих песен—две о Степане Разине.

Пушкин не написал истории восстания под руководством Разина, но он является основоположником собирания разинского фольклора.

И если Пушкину не суждено было написать историю Разина, то он написал «Историю Пугачева».

Представители дворянской и буржуазной науки — Я. К. Грот, П. А. Ефремов и другие утверждали, что тема «Истории Пугачева» в творчестве Пушкина была случайной и вызвана чисто случайным внешним обстоятельством. П. А. Ефремов писал: «По недостатку ли полученных материалов или за недосугом, Пушкин так и не занялся историей Суворова, а разработал только один из ея эпизодов: пугачевский бунт, ограничившись при том одними полученными документами»[2].

А казанский профессор истории Фирсов Н. Н. прямо утверждал: «На историческую работу о Пугачеве поэт натолкнулся довольно случайно», или, «как это ни странно на первый взгляд, задуманная Пушкиным «История Суворова» привела поэта к «Истории Пугачева»[3].

Это случайное обстоятельство, по объяснению Грота и его последователей, заключалось в том, что Пушкин при исследовании материалов о Суворове «случайно» обнаружил огромное число фактов о Пугачеве, что и возбудило интерес Пушкина к Пугачеву.

---

[1] Литературное наследство, 16—18, 1934, Пушкин по документам архива Соболевского, стр. 750.

[2] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, изд. В. В. Комарова, под ред. П. А. Ефремова, т. 6, 2 изд., СПБ, 1887, стр. 416.

[3] «Труды Я. К. Грота. т. III, СПБ, 1901, стр. 119; Сочинения Пушкина, изд. императ. Академии Наук, т. XI, История пугачевского бунта, 1914, стр. 20 (статья Н. Н. Фирсова).

Пушкин оставляет тему о Суворове и переключается на исследование о Пугачеве.

Такое утверждение не отвечает исторической правде.

Не отвечает исторической правде и другое мнение, обратное первому, высказанное Ю. Оксманом уже в наше время (1934 г.). Оксман утверждает, что интерес Пушкина к Пугачеву был неизбежным.

«Неизбежность» эта, по мнению Оксмана, заключалась в призраке новой пугачевщины, вставшей «перед Пушкиным во всей своей конкретности и остроте летом 1831 года»[1].

«Призрак пугачевщины» — это уже какой-то психологический фактор. Очевидно Оксмана нужно понимать так: это боязнь Пушкина за свой класс, за классовые привилегии дворянства. Последнее уже никак не может быть связано с именем Пушкина.

Революционно мыслящий Пушкин даже после гибели декабристов говорил: «Я гимны прежние пою». Мог ли такой Пушкин вынужденно заняться историей «пугачевщины»?

Можно предположить, что, по Оксману, Пушкин своей «Историей Пугачева» хотел помочь своему классу, создав какое-то предупредительное средство, дать в руки дворянства какое-то противодействие против народного протеста. Это просто нелепость.

Пушкин был ярым противником крепостничества. Он шел за декабристами. При этом следует всегда помнить, что В. И. Ленин дал положительную оценку декабристам, назвав их дворянскими революционерами.

Не «случайно» и не в силу какой-то «неизбежности» Пушкин занялся историей Пугачева. И то и другое противоречит правде.

Пугачевым Пушкин начал интересоваться не с 1831 г., а раньше, еще в период михайловской ссылки, о чем было сказано выше.

Можно с полным правом сказать, что Пушкин первый подошел к истории Пугачева и не случайно или неизбежно, а с научных позиций.

Он первый использовал доступные для него исторические материалы, записки современников Пугачева, рассказы оче-

---

[1] Литературное наследство, 16—18, 1934, Ю. Оксман, «Пушкин в работе над «Историей Пугачева», стр. 447.

видцев. Все это использовано творчески, глубоко критически.

Он первый пытался восстановить историческую действительность 1773—1775 годов.

Разнообразие привлеченного Пушкиным для своего исследования материала говорит, во-первых, о кропотливом, упорном собирании фактов, а во-вторых, о длительности сбора их.

Кропотливость, упорство в преодолении препятствий, стремление установить исторческую действительность, подтвердить ее фактами, исходить из них, опровергают и «случайность», и «неизбежность», и в то же время говорят о поразительном трудолюбии Пушкина.

Чтобы оценить труд и мужество (именно мужество!) Пушкина по исследованию крупнейшего социального движения XVIII века—крестьянской войны, во главе которой стоял Емельян Пугачев, нужно представить себе действительность 30-х годов XIX века.

«Во время Николая I все вопросы истории дворянской монархии в XVIII веке оставались настолько не устаревшими, что коснуться малейших страниц этой истории, имеющих отрицательное значение с какой бы то ни было точки зрения, казалось властям и социальным верхам покушением на самые основы существования государства и общества»[1].

До Пушкина запрещалось даже говорить о Пугачеве, после Пушкина буржуазные историки вплоть до Платонова и Ключевского сознательно умалчивали о нем. Ни один из буржуазных историков не избрал этой темы для магистерской или докторской диссертации, а Пушкин имел мужество заняться историей Пугачева.

К работе над массовым собиранием материалов о Пугачеве Пушкин приступил вплотную в конце 1832 или в начале 1833 года. Скрывая свои истинные планы и намерения, он просил у властей разрешения о допуске его к архивам военного министерства для написания биографии Суворова. Задолго до этого поэт просил позволения у Николая I разобрать библиотеку Вольтера, находившуюся в Эрмитаже, где могли быть материалы о Пугачеве. Известно, что Екатерина II, ведя переписку с французским мыслителем, сообщала ему в письмах о Пугачеве. В примечаниях к «Истории

[1] С. Н. Валк. Советская археография, изд. Академии Наук СССР, 1948, стр. 162.

Пугачева» Пушкин приводит письмо Екатерины к Вольтеру, где она, между прочим, писала: «Я охотно удовлетворю, сударь, ваше желание узнать правду о Пугачеве»[1].

8 февраля 1833 года канцелярия военного министерства спрашивала Пушкина: «Военный министр покорнейше просит Александра Сергеевича Пушкина уведомить его, какие именно сведения нужно будет ему получить из Военного Министерства для составления истории Генералиссимуса, князя Италийского, графа Суворова Рымникского»[2].

Ответ военному министру говорит о сокровенных мыслях поэта: документы о Суворове отодвигались на второй план.

Пушкин отвечал: «...следующие документы, касающиеся истории графа Суворова, должны находиться в Архиве Главного Штаба:

1) Следственное дело о Пугачеве.

2) Донесения графа Суворова во время кампании 1794 года.

3) Донесения его 1799 года...»[3].

В этом письме были перечислены и другие, малоотносящиеся к первому пункту документы.

Требуя документы о Суворове, Пушкин ставит на первое место следственное дело о Пугачеве, которое интересовало его прежде всего.

В феврале 1833 года поэт начал изучать исторические материалы и к июлю полностью закончил исследование архивных документов, рукописей, записок, полученных им из архивов и от частных лиц[4].

Для «Истории Пугачева» Пушкин исследовал следующее:

1) журнал яицкого коменданта Симонова, где Симонов, как очевидец, записывал ежедневно о вылазках, попытках Пугачева взять Яицкую крепость и другие события;

2) журналы Мясоедова (журнал осады города Уфы);

3) журнал оренбургского генерал-губернатора Рейнсдорпа (из Оренбургского архива);

4) другие архивные материалы («Помесячные выписи из архивных дел», «архивные документы»);

5) документы, относящиеся к истории Пугачева, из бумаг Бантыш-Каменского, Рычкова, из «Истории трех разде-

---

[1] А. С. Пушкин. П. С. С. в шести томах, т. V, стр. 483, М. 1936.
[2] Переписка Пушкина, т. III, стр. 5.
[3] Пушкин. письма-т. III, М. 1935, стр. 86.
[4] Там же, стр. 87, 89, 93—94.

лов Польши». Значительно позже — выписки из собрания законов[1].

В материалах Пушкина имеются два документа, написанные современниками крестьянской войны: 1) «Оборона крепости Яика от партии мятежников» — неизвестного автора и 2) «Прибавление о ...Пугачеве из дневных записок 1773 года, города Оренбурга» — священника Ивана Осипова, находившегося в осажденном Оренбурге.

Пушкина снабжали также редкими рукописями и материалами. В его распоряжение отдал свои записки И. И. Дмитриев, некоторые сведения сообщил баснописец Крылов, отец которого находился в Яицкой крепости при осаде её Пугачевым.

Кроме этого, Пушкин имел две рукописи, одна из них называлась: «Известие о самозванце Пугачеве», вторая—«Записка полковника Пекарского о бунтах яицких... и о... Пугачеве».

Первая рукопись написана неизвестным автором после крестьянской войны, о чем можно заключить из следующих слов: «От города Оренбурга за 269 верст находится городок, прежде именуемый Яицкой, а ныне Урал»[2].

Вторая рукопись — «Записка полковника Пекарского»,— находилась у М. Сахарова. Под заглавием этой рукописи содержится приписка: «От Мих. Сахарова (для Сына Отечества)». На последнем листе «Записки» приписка Сахарова: «Посылаю записку эту точно в таком виде, как она написана была сочинителем»[3].

При написании «Истории Пугачева» Пушкин получил еще три списка копии рукописи Рычкова. Они были доставлены Спасским, Языковым и Лажечниковым.

Пушкину не разрешили пользоваться допросными листами, написанными во время допросов Пугачева следственной комиссией. Не получив разрешения у непосредственных начальников, Пушкин обратился с такой же просьбой к самому Николаю I.

Последовал высочайший отказ. «На что ему эти бумаги? —спрашивал Николай I. — Они лежат в архиве нетронутыми с того времени, когда моя бабка приказала положить их

---

[1] Пушкин. П. С. С. т. 9 (2), 1940. Весь том содержит материалы к истории Пугачева.

[2] Там же, стр. 579.

[3] Там же, стр. 598—616.

туда, собственноручно их запечатав. Даже я их не читал. Пушкин может обойтись без них. Не пожелает ли он извлечь отсюда скандальный материал в параллель песне «Дон-Жуана», в которой Байрон обесчестил память моей бабки? Ну, нет! ! !». Министр точно передал слова царя поэту, и Пушкин, знавший деспотический характер и выходки императора, иронически удивился николаевской эрудиции:

«Я не думал, что он прочел «Дон-Жуана» Байрона», — сказал Пушкин[1].

Пушкин начал собирать материалы и приступил к их исследованию еще до своей поездки на Восток. Не без основания можно утверждать, что значительная часть работы о Пугачеве была написана Пушкиным вчерне еще в Петербурге.

Но Пушкин не удовлетворился имевшимися в его распоряжении материалами, ему казалось, что архивного материала и рукописей недостаточно. Он хотел побывать на местах сражений, найти живых свидетелей, участников и очевидцев крестьянской войны как из помещичьего лагеря, так и особенно из народа. Пушкин тщательно собирал созданные народом сказания и были о крестьянской войне и её руководителе. Эти сведения Пушкин собирал только среди народа.

Взятые из народных источников материалы значительно пополнили имевшиеся в распоряжении Пушкина факты, собранные им по документам враждебного Пугачеву и народу лагеря (официальные учреждения, слуги самодержавия, крепостники-помещики и т. д.). И не только это. Материалы устного народного творчества контролировали материалы официального и помещичьего происхождения. Критически сопоставляя те и другие, Пушкин упорно стремился к достоверности, к исторической правде о событиях 1773—1775 гг. Критический метод работы Пушкина опять-таки опровергает мнения о «случайности» исторического исследования поэта. «История Пугачева» является научным исследованием, она разработана научными методами.

Собрав необходимый материал в столице, 22 июля 1833 года поэт обратился к шефу жандармов Бенкендорфу с письмом: « Генерал, обстоятельства вынуждают меня отправиться вскоре на 2 или 3 месяца в моё Нижегородское имение. Я желал бы воспользоваться этим случаем, чтобы

[1] П. Е. Щеголев. Пушкин и Тардиф. Неизданное и неизвестное. «Звезда», 1930, № 7, стр. 239.

съездить в Оренбург и в Казань, которых я еще не знаю. Я прошу его величество дозволить мне осмотреть архивы этих двух губерний»[1].

Шефа жандармов в Петербурге не было, Пушкину ответил управляющий III отделением Мордвинов, ненавидевший поэта:

«Его величество, соизволяя на поездку вашу в Дерпт для посещения г-жи Карамзиной, изъявил высочайшую свою волю знать, что побуждает Вас к поездке в Оренбург и Казань, и по какой причине хотите Вы оставить занятия, здесь на вас возложенные?»[2].

Пушкин объяснил управляющему III отделением, что последние два года он занимался историческими изысканиями, «не написав ни одной строчки чисто литературной». (В это время Пушкин писал «Дубровского»). Для того, чтобы окончить книгу, ему нужно уединение, а посещение Поволжья необходимо потому, что «большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани, и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии»[3].

Наконец, 7 августа 1833 года, поэту «всемилостивейше» разрешен отпуск на четыре месяца для поездки в Поволжье и Оренбургский край. 12 августа Пушкин получил свидетельство об отпуске, а 17-го был уже в дороге. Через Торжок, Ярополец Александр Сергеевич направился в Москву, куда прибыл 25 августа. Встреча с друзьями долго не задержала его здесь, и 29 августа он направился в Нижний, где четыре дня спустя после отъезда из Москвы осматривал уже исторические древности.

Нижегородский военный и гражданский губернатор Бутурлин к путешественнику отнесся подозрительно. Бутурлин с беспокойством пишет оренбургскому губернатору Перовскому: «У нас недавно проезжал Пушкин. Я, зная кто он, обласкал его, но должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами о Пугачевском бунте; должно быть, ему дано тайное поручение собирать сведения об неисправностях. Вы знаете моё к Вам расположение — я почел долгом Вам посоветовать, чтобы Вы были осторожнее»[4].

«Обласканный» Бутурлиным поэт 3-го сентября отправил-

---

[1] Пушкин. Письма, т. III, стр. 94 (перевод, стр. 593).

[2] В. Я. Брюсов. Письма Пушкина и к Пушкину, М. 1903, стр. 72.

[3] Пушкин. Письма, т. III, стр. 95.

[4] Русский Архив. 1865, стр. 1213—1214.

ся в Казань. Мысль о работе над Пугачевым не покидала Пушкина. На второй день по приезде в Казань, шестого сентября, он принялся за работу над седьмой главой «Истории Пугачева» (подтверждается пометкой на рукописи).

В Казани Пушкин встретился с Баратынским. Эта случайная встреча послужила поводом для утверждения Дениса Давыдова, что Пушкин и Баратынский вместе собирают материалы. Из своего имения Маза, Сызранского уезда, поэт-партизан писал Н. М. Языкову: «Кстати о Пушкине; знаете, что я слышал от людей, получивших письма из Казани? В Казани были Пушкин и Баратынский, отыскивающие сведения о Пугачеве. Из этого я заключаю, что они в союзе для сочинения какого-нибудь романа, в котором будет действовать Пугачев. И так вот решение загадки появления Пушкина в нашей и в Оренбургской губерниях»[1].

В Казани Пушкин решил осмотреть места в городе и его окрестностях, где происходили бои правительственных войск с восставшими и особенно то место, где Пугачев стоял лагерем под Казанью, во время подхода к ней. Это место находилось в десяти верстах от города по Симбирскому тракту. Пушкин осмотрел его, побывал на Арском поле, осмотрел Казанский кремль и места сражений, интересуясь не только историческими местами пребывания Пугачева в самой Казани и ее окрестностях, но и живыми свидетелями крестьянской войны. Пушкин встретился с казанским купцом Крупениковым, 76-летним стариком, который двадцатилетним юношей попал в плен к Пугачеву. Старик сообщил много интересного Пушкину, но записей рассказа Крупеникова в бумагах Пушкина не сохранилось[2].

В Казани Пушкин познакомился со знатоком местного края К. Ф. Фуксом и его женой, поэтессой и писательницей, Александрой Андреевной. А. А. Фукс в своё время были посвящены стихи Н. М. Языковым, Баратынским, ее салон посещали местные литераторы Второвы (отец и сын), Познобишин и другие.

К. Ф. Фукс, очевидно, сообщил немало любопытного Пушкину, недаром отметившему в примечаниях в восьмой главе «Истории Пугачева»: «Слышано много от К. Ф. Фукса, доктора и профессора медицинских наук при Казанском университете, человека столь же ученого, как и любезного и

---

[1] Русская Старина. 1884, № 7, стр. 143—144.

[2] В. Вересаев. Спутники Пушкина, т. II, 1937, стр. 404.

снисходительного. Ему обязан я многими любопытными известиями касательно эпохи и стороны, здесь описанных»[1].

По просьбе Пушкина К. Ф. Фукс четыре года собирал рукописные материалы, записывал рассказы старожилов и очевидцев Пугачева, но Пушкину этими записями воспользоваться уже не пришлось.

Казанью поэт остался доволен. Здесь он получил новые сведения о Пугачеве, познакомился с местами сражений и современниками, видевшими Пугачева. «Здесь я возился со стариками-современниками моего Героя, объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону», — писал Пушкин жене[2].

Не задерживаясь в гостеприимной Казани, Пушкин спешил в новые места за материалами о своём герое. Рано утром 8 сентября поэт покинул Казань и через Сеитово, Бурундуки, Сибирги, Буинск и Шумовку направился в Симбирск.

9 сентября он был принял симбирским губернатором Загряжским. Симбирск интересовал Пушкина: в этом городе Пугачев был дважды. Первый раз Пугачева, арестованного в Малыковке, везли через Сызрань, Симбирск в Казань в декабре 1772 года; после разгрома крестьянской армии пойманного Пугачева второй раз привезли в Симбирск в начале октября 1774 года, где он и пробыл почти до конца месяца.

Пушкина привлекал Симбирск еще и потому, что здесь родились и провели свои юношеские годы его близкие друзья: декабрист Н. И. Тургенев, друг Пушкина и брат декабриста А. И. Тургенев, русский историограф Н. М. Карамзин и поэт Н. М. Языков[3].

В Симбирске, как и в Казани, поэт прежде всего начал

---

[1] А. С. Пушкин, П.С.С. в шести томах, т. V, М, 1936, стр. 461.

[2] Пушкин. Письма, т. III, М, 1935, стр. 102.

[3] В 1913 году в журнале «Нива» № 36, была опубликована статья симбирского краеведа Н. А. Державина, «А. С. Пушкин в Симбирской губернии». В целом статья путанная, а в отдельных местах утверждения автора просто не соответствуют действительности. Например, утверждение автора, что главной целью поездки Пушкина в Поволжье было «...желание поэта отдохнуть от сутолоки и треволнений столичной жизни» (стр. 715).

О пребывании Пушкина в Симбирской губернии имеются две статьи В. Поливанова: «Село Языково», «Пушкин в Симбирске», помещен в «Историческом Вестнике», 1896, № 12, и в 1899, № 8.

разыскивать старожилов, современников войны, видевших Пугачева.

К. И. Короткова, видевшая Пушкина в Симбирске в доме губернатора, писала: «Однажды осенью (1833 года, между 8—14 сентября) во время урока танцев по зале пронесся слух, что приехал сочинитель А. С. Пушкин... Пушкин, как говорили тогда, приезжал в Симбирск за разысканием материалов для своей истории Пугачевского бунта и, конечно, к своему удовольствию мог их найти немало потому, что и я помню в Симбирске ещё живых свидетелей этого бунта; в самом Симбирске жил 80—83-летний невзрачный старичок Шувалов..., в доме которого и я часто бывала...

Мы, бывало, усядемся на скамеечке у его ног и слушаем его рассказы про старое время, про Пугачева, у которого он был форейтором. Шувалов удостоился такой чести, вместо того, чтобы быть убитым с прочими помещиками, за то только, что «показался Пугачеву через меру плюгавым».

Шувалову тогда было 16 лет от роду. К этому пугачевскому форейтору, как я тогда слышала, сделал свой визит Пушкин, очевидно, желая послушать его рассказы о Пугачеве»[1].

В Симбирске поэт встречался и с другими людьми, свидетелями прошлого.

Проезжая через Симбирск, Пушкин не мог не заехать к своему старому товарищу и другу Н. М. Языкову, посетившему в свою очередь когда-то Пушкина в михайловской ссылке.

Н. М. Языков жил в своем имении, в селе Языкове, Карсунского уезда, в 65 верстах от Симбирска. Село расположено было в версте от Московского большого тракта, в живописной местности на берегу реки Урень.

Недаром сам Языков восхищался природой, окружавшей его усадьбу:

«Зову на светлый пруд, туда, где тень густую
Сложил к водам нагорный сад...»[2].

В село Языково Пушкин прибыл 11 сентября, но не застал дома Николая Михайловича, а нашел там старшего брата его Петра Михайловича, «... человека чрезвычайно

---

[1] Литературный Вестник, т. II, кн. VI, 1901, стр. 180.

[2] К столетию рождения Н. М. Языкова. Симб., 1903, стр. 10.

замечательного и которого готов я полюбить, как люблю Плетнева или Нащёкина»[1], — писал поэт жене.

П. М. Языков был человеком весьма образованным для своего времени. Достаточно сказать, что он был создателем «Симбирского музеума», инициатором создания Карамзинской библиотеки куда потом была передана, состоявшая из двух тысяч томов, библиотека Н. М. Языкова. П. М. Языков составил карту почв Симбирской губернии, передал в Симбирский музей большую палеонтологическую коллекцию.

П. М. Языков был женат на сестре декабриста Ивашева — Елизавете Петровне, и сочувственно относился к нему, тревожился за его участь в Сибири.

Сестра Языкова, Екатерина Михайловна, в одном из писем 1836 года сообщала: «Пушкин так расхваливал его (П. М.—Н. Г.) Хомякову, что тот ужасно желает видеть и познакомиться с ним, рассказывая, как он принял Пушкина, когда тот приехал к Вам в Языково, что прежде не хотел даже говорить с ним, но потом так обошелся, что через полчаса они сделались друзьями»[2].

12 сентября Пушкин покинул Языково и возвратился в Симбирск с тем, чтобы вечером уехать в Оренбург.

В ночь на 13 сентября он действительно выехал из Симбирска на Сенгилей, но, повидимому, оттуда повернул обратно, в Симбирск. «На третьей станции, — писал он жене, —стали закладывать мне лошадей — гляжу нет ямщиков— один слеп, другой пьян и спрятался. Пошумев изо всей мочи, решился я возвратиться и ехать другой дорогой... Повезли меня обратно — я заснул — просыпаюсь утром — что же? не отъехал и пяти верст. Гора — лошади не везут — около меня человек 20 мужиков. Чорт знает, как бог помог — наконец, взъехали мы, и я воротился в Симбирск»[3].

Рано утром 15 сентября Пушкин другой дорогой отправился в Оренбург и на память о Симбирске зарисовал в свою дорожную книжку Смоленскую гору, дом Н. М. Карамзина и церковь с колокольней.

Пушкин объезжал поволжские города, Оренбургский край, осматривал исторические места, связанные с собы-

---

[1] Пушкин. Письма т. III, 1935. стр. 104.

[2] Письма Е. М. Языковой о Пушкине. ГАХН, Искусство, 1928, № 1—2, стр. 156.

[3] Пушкин. Письма, т. III, М. 1935, стр. 104.

тиями 1773—1775 годов, расспрашивал о них местных жителей, беседовал с современниками этих событий с целью накопления фактов, сбора большого количества материалов.

Правительство не верило Пушкину, следя буквально за каждым его шагом. Секретным распоряжением предлагалось местному начальству зорко наблюдать за поведением поэта 20 сентября 1933 года петербургский обер-полицеймейстер уведомлял нижегородского военного губернатора:

«По высочайше утвержденному положению Государственного совета, объявленному предместнику его предписание господина Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора от 19 августа 1828 года № 2, был учрежден в столице секретный полицейский надзор за образом жизни и поведением известного поэта, титулярного советника Пушкина, который 14 сентября выбыл в имение его, состоящее в Нижегородской губернии».

Нижегородский военный губернатор не замедлил секретным порядком поставить в известность казанского губернатора о необходимости «учинить надлежащее распоряжение о учреждении за ним (Пушкиным—Н. Г.) во время пребывания его в оной (Казанской губернии—Н. Г.) секретного полицейского надзора за образом жизни и поведением его»[1].

Оренбургский губернатор получил такое же распоряжение, но запоздалое: поэта давно уже не было в Оренбурге.

Пугачев, вернее одно упоминание его имени, даже через 60 лет после крестьянской войны, было ненавистным, имя Пугачева было страшилищем для российского трона.

Поэтому-то так и отвратна была для Николая «затея» Пушкина писать историю «злодея» Пугачева. Революционно настроенный Пушкин в таком деле мог быть небезопасным для самодержца. Царское правительство и устанавливает за поэтом постоянную слежку.

18 сентября, сразу же по прибытии в Оренбург, Пушкин встретился со своим старым знакомым, директором Оренбургского военного училища, К. Д. Артюховым. В тот день Пушкин уехал на дачу к губернатору Перовскому, в доме которого и ночевал.

Познакомившись с чиновником особых поручений, писателем В. И. Далем, Пушкин вместе с ним и Артюховым от-

---

[1] Русская Старина, 1882, январь, стр. 225.

правился для осмотра Оренбургской крепости, где 60 лет назад развертывались боевые действия восставших.

Особый интерес представляла, конечно, слобода Берда, резиденция Пугачева во время осады им Оренбурга. О посещении Пушкиным слободы Берды свидетельствует один из краеведов Оренбургского края: «Сидя на крылечке казачьей избы, Пушкин собрал вокруг себя казаков и казачек, слушал их песни, смотрел хороводы. Чудная панорама природы, лихие казачьи песни, относительная свобода, всё это вызывало в Пушкине веселость»[1].

Тут же поэт расспрашивал стариков о Пугачеве. Многие из них попрежнему верили, что Пугачев был действительно царем Петром Федоровичем, а не самозванцем. Характерны в этом отношении слова одного из стариков, делившихся с Александром Сергеевичем воспоминаниями о прошлом. «Для кого Пугач, ваша милость, а для меня царь-батюшка, Петр Федорович»[2].

В слободе Берде Пушкин встретил 75-летнюю старуху Бунтову, она хорошо помнила крестьянскую войну 1773—1775 годов. «В деревне Берде, — писал поэт жене, — где Пугачев простоял 6 месяцев..., нашел 75-летнюю казачку, которая помнит это время, как мы с тобою помним 1830 год. Я от неё не отставал...»[3].

Во время крестьянской войны Бунтовой было около пятнадцати лет.

Она жила в то время в крепости Нижне-Озерной. Некоторые исследователи утверждают, что она не только видела осаду крепости восставшими, но даже «была любовницей Пугачева»[1].

Пушкин подробно расспрашивал Бунтову о крестьянской войне, о ее руководителях и особенно о главном герое — Пугачеве. Очевидно, расспросы Пушкина взбудоражили старуху, и она не только живо, ярко рассказывала о прошлом, но даже спела несколько пугачевских песен.

Е. З. Воронина, посетившая Бунтову через 2 месяца после пребывания Пушкина, в письме к родным в Москву сообщала: «Верстах в семи от Оренбурга есть деревня Берды, где живет одна старуха, которая знает много подробно-

---

[1] Русский Архив. 1900, кн. I, стр. 152.
[2] Там же.
[3] Пушкин. Письма, т. III, М, 1935. стр. 105.
[4] Русская Старина. 1870, № 10, стр. 418.

стей о Пугачеве, и Пушкин ездил туда её расспрашивать. Она рассказала ему много любопытного и даже пела ему несколько пугачевских песен»[1].

Бунтова вначале с опаской отнеслась к Ворониной.

«Начавши говорить нам эти песни, — пишет Воронина, —она вдруг сказала, со слезами на глазах: «Я говорю, а сердце-то у меня не на месте. Кто знает, зачем вы расспрашиваете меня о Пугачеве? А намедни тоже приезжали господа, и один все меня заставлял рассказывать»[2].

Из рассказов Бунтовой у Пушкина сложилось представление о внешности Пугачева. Старуха рассказывала о Пугачеве: «Мужик был плотный, здоровенный, плечистый, борода русая, окладистая, ростом не больно высок и не мал».

Пушкин в «Истории Пугачева» писал, что Пугачев «был росту среднего, широкоплеч и худощав»[3].

20 сентября поэт из Оренбурга поехал в Уральск, где и пробыл до 23 числа. Здесь его приняли очень хорошо: «Наперерыв давали мне все известия, в которых имел нужду»[4]. К счастью, Пушкин встретил в Уральске Д. Д. Пьянова, отец которого очень хорошо знал Пугачева как до, так и во время крестьянской войны.

В последних числах ноября 1772 года Пугачев отправился тайно из Иргизских скитов в Яицкий городок, где первым его встречным оказался Д. Пьянов. Д. Пьянов пригласил незнакомца к себе отобедать и за обедом спросил у него, правда ли, что в Царицыне появился какой-то царь (самозванец Богомолов—Н. Г.). Пугачев, не задумываясь, ответил, что это правда и что это не какой-то царь, а сам Петр Федорович. В эти дни Пугачев еще не думал о самозванстве, он пытался облегчить положение яицких казаков, увести их на реку Лобу. Он выдал себя богатым купцом и обещал всем, согласившимся на переселение в Турецкую область по 12 рублей на человека. Пьянов по секрету рассказал об этом близким казакам, в том числе Плотникову и Почиталину.

Во время крестьянской войны Пугачев был близок к Пьянову, делился иногда с ним своими сокровенными мыслями. Зажиточные казаки, окружавшие Пугачева, часто делали не

---

[1] Русский Архив. 1902, кн. II, стр. 647.
[2] Там же.
[3] А. С. Пушкин. П. С. С. в шести томах, т. V, 1936, стр. 319,
[4] Пушкин. Письма, т. III, 1935, стр. 106.

то и не так, как хотел бы Пугачёв. Поэтому и понятно сказанное во хмелю Пугачевым: «Улица моя тесна, — говорил он Денису Пьянову, пируя на свадьбе младшего его сына»[1].

В примечаниях к главе III «Истории Пугачева» Пушкин писал: «Слышано мною от самого Дмитрия Денисовича Пьянова, доныне здравствующего в Уральске»[2].

Уральску Пушкин обязан и многими другими сведениями, о чем он неоднократно упоминает в своей «Истории».

На обратном пути из Уральска в свое нижегородское имение Пушкин заехал к Языковым. На этот раз все Языковы были дома. В Языкове, в обстановке самой непринужденной, поэт провел почти два дня. Гостеприимством Языковых Пушкин был так тронут, что обещал еще раз навестить Симбирские края.

Первого октября поэт приехал в Болдино и сразу же принялся за окончание своей истории о Пугачеве, о чем писал жене: «Вот уже неделю, как я в Болдине, привожу в порядок мои записки о Пуг...», а через три дня в другом письме просил передать Плетневу, чтобы он к его приезду приготовил переписанные из собрания законов указы, относящиеся к Пугачеву за 1773—1775 годы[3].

Из всех этих документов и составились «Материалы к истории Пугачева»[4].

В Болдине Пушкин работал очень напряженно над собранными фактами и материалами по крестьянской войне, и к началу ноября «История Пугачева» была уже написана.

---

[1] А. С. Пушкин. П.С.С, в шести томах, т. V, 1936, стр. 339.

[2] Там же, стр. 444.

[3] Пушкин. Письма, т. III. 1935, стр. 107, 108.

[4] В Ульяновском Государственном Архиве имеется редкое издание «Материалов к истории Пугачевского бунта». На титульном листе написано: «Сочинения Александра Пушкина. Том шестой». Внизу титульного листа: «Санкт-Петербург, в типографии экспедиции изготовления государственных бумаг. МДССС XXXVIII». На обороте титульного листа внизу написано: «Печатать позволяется с тем, чтобы по напечатании было представлено в ценсурный комитет указанное число экземпляров. Санкт-Петербург. Апреля 3 дня 1837 года. Ценсор Никитенко». Второй лист этой книги озаглавлен: «Приложения к истории Пугачевского бунта». В приложениях содержатся указы Екатерины генералу Кару, казанскому и оренбургскому губернаторам, указы военной коллегии, наставление Екатерины II капитану Галахову; сентенция 1775 года января 10 о казни Пугачева и др.; рескрипт на имя Ланина, рапорты Румянцева, письма Нурли-Хана, Бибикова, Панина, Державина. В этой же книге помещены сказания современников и, в частности, «Летопись Рычкова», которая занимает $^3/_4$ всей книги.

Возвратившись в Петербург, 6 декабря 1833 года Пушкин обратился с письмом к Бенкендорфу: «Я думал некогда написать исторический роман, относящийся ко времени Пугачева, но нашед множество материалов, я оставил вымысел и написал историю Пугачевщины. Осмеливаюсь просить через Ваше сиятельство дозволения представить оную на высочайшее рассмотрение.

Не знаю, можно ли мне будет её напечатать, но смею надеяться, что исторический отрывок будет любопытен для его величества особенно в отношении тогдашних военных действий, доселе худо известных»[1]. К этому письму было приложено стихотворение «Медный всадник», «которое, — пишет Пушкин, — я желал бы напечатать».

Из письма не видно, чтобы Александр Сергеевич вместе с письмом отправил к Бенкендорфу и свою «Историю Пугачева», как это утверждает Т. Зенгер в статье «Николай I— редактор Пушкина»[2].

Ошибочность утверждения Зенгера устанавливается еще и следующим: в делах III отделения сохранился ответ Бенкендорфа поэту, где Бенкендорф сообщает Пушкину, что все его произведения могут быть напечатаны «по рассмотрении цензурою на общем основании. Что же касается до рукописи вашей «История Пугачевщины», то оную я покорнейше прошу вас доставить ко мне»[3].

Пушкин хотел как можно быстрее напечатать «Историю Пугачева». Он жил Пугачевым, мыслями о нем он часто делился со своими друзьями и знакомыми.

В дневнике Пушкина записано: «Встретили новый год у Натальи Кирилловны Загряжской. Разговор со Сперанским о Пугачеве. . .»[4]. Через две с половиной недели, 17 января 1834 года, на балу у гр. Бобринского Пушкин встретился с Николаем I, зашел разговор о Пугачеве. Царь заметил: «Жаль что я не знал, что ты о нем пишешь; я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому три недели умерла в крепости»[5].

---

[1] Пушкин. Письма, т. III, 1935, стр. 107.

[2] Автор данной статьи утверждает: «в декабре 1833 года, одновременно с «Медным всадником», Пушкин представил через Бенкендорфа Николаю I. Историю Пугачева «для прочтения». См. «Литературное наследство», 16—18, 1934, стр. 524.

[3] Переписка Пушкина, т. III, стр. 67.

[4] А. С. Пушкин, т. V, Критика, История, Автобиография, М — Л, 1933, стр. 827.

[5] Там же, стр. 828.

Николай I, получив пушкинскую рукопись, взял на себя обязанности цензора и редактора. Он внимательно прочел «Историю Пугачева», удалил «крамольные» слова.

Николай I не мог допустить и мысли, чтобы в печати появились такие выражения, как царские «солдаты бежали», генерал «бежал», или упоминались такие имена как Разин.

У Пушкина в рукописном тексте «Истории Пугачева» было написано: « Таубенберг бежал и был убит у ворот своего дома».

Николаю I не понравилось слово «бежал», и при напечатании оно было выброшено. Генерал Кар жил в своей деревне, «где и умер в начале царствования Александра», — пишет Пушкин. Царь добавил к слову «Александра» слово «император». Выражение «солдаты его (Валенштерна— Н. Г.) бежали», царем было заменено «отряд его смешался».

Пушкин рассказывает, что в Озерной «старая казачка (Разина) (целый) каждый день бродила над Яиком»... Это место из текста рукописи, по предложению Николая I, было выброшено полностью. На полях рукописи рукою Николая написано: «лучше выпустить, ибо связи нет с делом».

Пушкин не хотел совсем удалять этого замечательного факта и поместил его в примечаниях к шестой главе «Истории Пугачева». Царем были сделаны и другие редакционные «правки», исказившие рукопись Пушкина «История Пугачева». Текст ее восстановлен только в наших советских изданиях. Он полностью освобожден от царских редакционных правок[1].

Разрешая рукопись к изданию, Николай изменил и ее название, данное Пушкиным. Он зачеркнул заглавие «История Пугачева» и взамен его написал «История Пугачевского бунта»: «преступник, как Пугачев, не имеет истории», — заметил при этом царь.

В декабре 1834 года «История Пугачева» была отпечатана в типографии II отделения собственной его и. в. канцелярии. Казалось, что мытарствам Пушкина пришел конец. Однако нет. Без разрешения Бенкендорфа и управляющего III отделением Мордвинова Александр Сергеевич не мог получить ни одного экземпляра своей книги. Царю доложили: «Книга сия ныне напечатана, но экземпляры оной могут

---

[1] См. об этом «Литературное наследство», 16—18, 1934, стр. 514—536.

быть выданы Пушкину не иначе как с разрешения вашего величества». На этом докладе Николай написал: «Можно выдать ежели ничего другого нет как то, что я читал»[1].

Типография задержала выдачу книг до тех пор, пока напечатанное не сверили с подлинником и царскими замечаниями, а на это ушло немало времени.

Трудно сказать, как русское общество отозвалось на выход в свет «Истории Пугачева». Большинство литературоведов и историков ссылается лишь на дневник Пушкина. В дневнике от 6-го февраля 1835 года есть запись: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже—не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим ценсурным комитетом»[2].

Если нет подробных и конкретных свидетельств (кроме указанной записи самого Пушкина) об отношении всего русского общества 30-х годов прошлого века к «Истории Пугачева», то достаточно известно, как реагировало на это светское общество, состоящее из крупнейших царских сановников, вельмож и реакционного дворянства.

Это общество было не только раздражено, но взбешено. Мнение «света» единодушно: книга Пушкина возмутительна, содержание книги, направленное против существующего порядка вещей, — недопустимо, ужасно, наконец, просто опасно.

Светскому изысканному обществу приятнее было читать произведения в стиле Павла Сумарокова и подобных ему панегиристов Екатерины II и Николая I.

В 1832 году вышла книга: «Обозрение царствования и свойств Екатерины Великия Павлом Сумароковым». В этом «обозрении» П. Сумароков частично касался и крестьянской войны под руководством Пугачева. Без лютой злобы автор не может произносить имя Пугачева, называет его «извергом», награждает самыми отборными эпитетами.

Поэтому-то в первом черновом наброске предисловия к «Истории Пугачева» Пушкин писал: «Незнание наших историков удивительно.—Г-н Сум(арков)в Ист. Ек. пишет,—что — слово то несправедливость»[3].

---

[1] Русская Старина. 1898, март. стр. 650.

[2] А. С. Пушкин, т. V, Критика, История, Автобиография, М-Л. 1933, стр. 850.

[3] Пушкин. Временник пушкинской комиссии, 3, М-Л. 1937, стр. 9.

Пушкин шел вразрез с мнением этой литературы и всего реакционного дворянского общества.

Появление «Истории Пугачева» в период разнузданного самовластия, в глухой ночи николаевской реакции — подобно молнии. Пушкин правдиво, без всякого славословия или вымысла рассказал о «просвещенном» веке Екатерины II, о крестьянской войне 1773—1775 гг. и о героическом пути Пугачева. Книга Пушкина не только в исторической науке, но и вообще в истории русской общественной мысли, в истории русской культуры — факт исключительный.

«История Пугачева» явилась темой весьма актуальной, политически заостренной, стала обличительным документом против крепостничества и самодержавия.

Книга Пушкина напоминала господствующему классу о грозных днях крестьянской войны, не только сметавшей дворянские гнезда и самих дворян, но по-серьезному встревожившей самодержавие. Впечатление от нее усиливалось, было особо ощутительным в связи с постоянными крестьянскими волнениями, нарастающими из года в год. Призрак пугачевщины, по меткому выражению Семевского, как memento mori стоял в глазах русского дворянства во все царствование Николая I.

«Историю Пугачева», конечно, отрицательно встретила и официальная критика, подпевавшая в тон министру графу Уварову—идеологу, обоснователю «божественных» начал российского самовластия его трех китов («Уваровская троица») —православия, самодержавия и народности.

В январском номере «Сына Отечества» за 1835 год, т. е. сразу же после выхода в свет «Истории Пугачева», появилась критическая статья Броневского, автора «Истории войска Донского».

Быстрота реакции официальных кругов и официальной критики на книгу Пушкина дает все основания сделать вывод, что «История Пугачева» взбудоражила общественное мнение. Нужно было срочно успокоить общество, если не полностью, то хотя бы как-то сгладить, смягчить впечатление от книги Пушкина.

Поэтому против «нарушителя общественного спокойствия» и были двинуты официальными кругами все силы — от брани, светской сплетни и пересудов, цензурных комитетов до «тяжелой артиллерии» в лице «историка» Броневского.

Пушкин на критику Броневского ответил обстоятельной и убедительной антикритикой.

В своих критических возражениях Пушкин вскрыл научную беспомощность автора «Истории войска Донского», грубо и преднамеренно исказившего историческую правду, и особо остановился на моральных сентенциях Броневского и его отношении к Пугачеву.

Броневский писал: «Нравственный мир, так же как и физический, имеет свои феномены, способные устрашить всякого любопытного, дерзающего рассматривать оные. Если верить философам, что человек состоит из двух стихий, добра и зла: то Емелька Пугачев бесспорно принадлежал к редким явлениям, к извергам, вне законов природы рожденным; ибо в естестве его не было и малейшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которые разумное творение от бессмысленного животного отличают. История сего злодея может измучить порочного и вселить отвращение даже в самых разбойниках и убийцах»[1].

Пушкин резко возразил против этих разглагольствований: «Политические и нравоучительные размышления, коими г. Броневский украсил своё повествование, слабы и пошлы и не вознаграждают читателей за недостаток фактов, точных известий и ясного изложения происшествий»[2].

В этих словах не только достойная и справедливая отповедь Броневскому и другим дворянским историкам, в них суть, смысл отношения Пушкина к событиям 1773—1775 гг. и к Пугачеву, как к народному герою.

И если «История Пугачева» оказалась отрицательно оцененной дворянской историографией, то ее достойно оценили революционеры-демократы, и, в частности, В. Г. Белинский. Белинский был современником поэта, учился на его произведениях. «Живой интерес к истории, — писал В. Иллерицкий, — пробудился у Белинского ещё в годы школьного обучения —в Чембаре и Пензе. Этот интерес возбуждался чтением произведений Ломоносова, Державина, Жуковского и особенно Пушкина, которые уделяли большое внимание исторической тематике»[3].

Уже после смерти Пушкина в руки Белинского попадали статьи о Пугачеве других авторов, но такие статьи обычно

---

[1] А. С. Пушкин. П. С. С. в шести томах, т. V, VI, 1936, стр. 517.

[2] Там же.

[3] Вопросы Истории. 1948, № 7, стр. 4.

цензура не пропускала. В письме к Боткину в 1840 году Белинский писал: «В № 1 выкинули преинтересную статью о Пугачеве — не знаем, что и делать с цензурой — самая кнутобойная и калмыцкая»[1].

В начале 40-х годов Белинский, разбирая творчество А. С. Пушкина, не мог по цензурным условиям подробно остановиться на «Истории Пугачева». Однако, даже в небольшом высказывании проявляется восторженное отношение великого критика к этому произведению. «Об «Истории пугачевского бунта», — писал он, — мы не будем распространяться. Скажем только, что этот исторический опыт — образцовое произведение и со стороны исторической, и со стороны слога. В последнем отношении Пушкин вполне достиг того, к чему Карамзин только стремился. «История пугачевского бунта» показывает, что если бы он успел написать историю Петра Великого, мы имели бы великое историческое создание»[2].

Буржуазные историки старались избежать в своих исторических исследованиях темы о самом Пугачеве, а о крестьянской войне вообще упоминали лишь вскользь даже в своих университетских курсах.

Даже обычного очерка о Пугачеве не имеет буржуазная историография, не считая одной работы Дубровина.

В послеоктябрьский период (особенно после разгрома школы Покровского) нашими советскими историками и писателями написано сравнительно много о крестьянских войнах XVII—XVIII веков и об их вождях Разине и Пугачеве.

Основываясь на учении классиков марксизма-ленинизма, наши советские историки восстановили подлинную историю прошлого, историю крестьянских войн в России. Товарищ И. В. Сталин в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом дал исчерпывающую характеристику крестьянским войнам и их руководителям. Он раскрыл значение этих движений для нашего времени: «Мы, большевики, всегда интересовались такими историческими личностями, как Болотников, Разин, Пугачев и др. Мы видели в выступлениях этих людей отражение стихийного возмущения угнетенных классов, стихийного восстания крестьянства против феодального

[1] В. Г. Белинский. Письма. т. II, стр. 195—196.
[2] В. Г. Белинский. т. III, М. 1948, стр. 638—639.

гнета. Для нас всегда представляло интерес изучение истории первых попыток подобных восстаний крестьянства...

Отдельные крестьянские восстания даже в том случае, если они не являются такими разбойными и неорганизованными, как у Стеньки Разина, ни к чему серьезному не могут привести. Крестьянские восстания могут приводить к успеху только в том случае, если они сочетаются с рабочими восстаниями, и если рабочие руководят крестьянскими восстаниями. Только комбинированное восстание во главе с рабочим классом может привести к цели»[1].

Даже не исследователю, а нашему рядовому читателю бросаются в глаза недостатки, часто неверные утверждения и выводы А. С. Пушкина о крестьянской войне под руководством Пугачева.

Так, в частности, свою «Историю Пугачева» Пушкин начал не с анализа общего положения страны, положения крестьянских масс России, угнетенных народов Поволжья, Приуралья, а с положения яицких казаков. Поэтому и движущей силой этого восстания, по Пушкину, были не крестьяне, а яицкие казаки.

Как эта, так и другие методологические ошибки, а также суждения и выводы Пушкина вполне естественны. Пушкин писал «Историю Пугачева» с определенных позиций, позиций прогрессивных, но классовых, дворянских, хотя поэт начинал «расти в сторону демократической революционности».

К числу внешних, формальных причин, объясняющих недостатки «Истории Пугачева», нужно отнести, в первую очередь, тот архивный материал, который был в распоряжении Пушкина.

Документы, бывшие в руках Пушкина, более всего свидетельствовали именно о положении яицкого казачества. Основные документы были предоставлены в распоряжение Пушкина с «высочайшего соизволения» и контроля, т. е. с тщательным отбором. Все, что было предосудительным, неудобным для самодержавия, из числа документов было отобрано, и Пушкину предоставлены были только различные хвалебные рапорты, донесения, доклады правительственных чиновников (губернаторов и иных), или военных лю-

---

[1] И. В. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. Госполитиздат, 1938, стр. 8.

дей и казачьей старшины, оборонявших Оренбург и другие города в районе восстания.

Ценнейшие архивные документы о положении России перед событиями 1773—1775 гг. и во время этих событий Пушкину не были даны, а следовательно для него они остались неизвестными. Они стали доступными для исследователей только после Великой Октябрьской социалистической революции.

Пушкин был хорошо знаком с печатными работами реакционных историков, к которым он относился критически и с которыми он вел борьбу.

В своей работе Пушкин остановился и на происхождении яицкого казачества, и на его положении в XVIII веке, перед крестьянской войной, и указал на бесправное положение широких масс яицкого казачества в царствование Екатерины II. Такие выражения, как «самовольные налоги и нарушение старинных прав», «чиновники, посылаемые к ним для рассмотрения их жалоб, не могли или не хотели их удовлетворить», «казаки неоднократно возмущались» — свидетельствуют о том, что Пушкин пытался выяснить причины участия казаков в восстании под руководством Пугачева.

Пушкин справедливо пишет о борьбе между рядовыми казаками и старшиной, о поддержке и защите казацкой старшины правительством. Когда беднейшие казаки послали своих ходоков в столицу жаловаться на старшину, они «по повелению президента военной коллегии графа Чернышева схвачены в Петербурге, заключены в оковы и наказаны как бунтовщики»[1].

По цензурным условиям Пушкин не мог подробно остановиться на восстании яицких казаков в 1771 году, но отметил, что восстание хотя и было подавлено, и восстановлен наружный порядок, «но спокойствие было не надежно». «То ли ещё будет! — говорили прощенные мятежники: так ли мы тряхнем Москвою».

«Казаки все ещё были разделены на две стороны: согласную и несогласную... Тайные совещания происходили по степным уметам и отдаленным хуторам»[2].

Со второй главы и до конца своего произведения Пушкин повествует уже главным образом только о самом Пугачеве,

---

[1] А. С. Пушкин. П. С. С. в шести томах, т. V, 1936, стр, 316.
[2] Там же, стр. 316.

и повествует не холодно, не равнодушно, а живо, убедительно.

И не злодеем и зверем, жаждущим крови, рисует он его, а человеком смелым, способным, не теряющим самообладания в самые опасные и тяжелые минуты, «предприимчивым и деятельным мятежником», снискавшим любовь простого народа. Много ярких фактов из жизни и борьбы Пугачева сообщает Пушкин.

«Утром, — пишет он, — Пугачев показался перед крепостью.

Он ехал впереди своего войска. «Берегись, государь, — сказал ему старый казак, — неравно из пушки убьют».

«Старый ты человек, — отвечал самозванец, — разве пушки льются на царей?»[1].

Казак оберегал руководителя восстания, в то время как комендант Нижне-Озерной «Харлов бегал от одного солдата к другому и приказывал стрелять».

Другой факт. Когда армия восставших подошла к Оренбургу и начала обстрел города, Пугачев с тысячью отборных людей, «закравшись в погреба выжженого предместья, почти у самого вала и рогаток», открыл стрельбу по неприятелю. Не один раз во время осады Оренбурга Пугачев с небольшим отрядом приближался к оренбургским рогаткам.

Пушкин отмечает и высокое военное искусство, каким обладал Пугачев. Крепость Татищева, где находился Пугачев со своей армией, была укреплена по всем правилам военного искусства, что немало удивило подошедшего с войсками к крепости Голицына.

«Распоряжения Пугачева удивили князя Голицына, не ожидавшего от него таких сведений о военном искусстве»[2].

О размахе восстания, его мощи, незаурядном военном таланте Пугачева Пушкин говорит неоднократно.

Его поражало умение Пугачева выходить из самого, казалось бы, безвыходного положения. Немало царских генералов в период отступления восставших предполагало, что для подавления восстания нужно немного усилий. Отдельные отряды восставших крестьян подвергались жутким разгромам, сам Пугачев с непосредственно предводительствуемыми им отрядами также не один раз терпел поражения от правительственных войск, но буквально в несколько дней собирал

---

[1] А. С. Пушкин. П. С. С. в шести томах, т. V, 1936, стр. 336.
[2] Там же, стр. 368.

и сплачивал разбитые отряды, заново создавал крестьянскую армию и беспощадно громил угнетателей.

Узнав, что Пугачев снова разгромлен у Троицкой крепости генералом Декалонгом, Михельсон решил пойти к Варламову, навстречу разбитым и отступающим отрядам восставших. Утром 22 мая 1774 года он увидел «стройное войско... и принял его... за корпус генерал-поручика и кавалера Декалонга»[1].

Глубоким сочувствием поэта к Пугачеву дышит рассказ о взятии восставшими Казани: «Так бедный колодник, за год тому бежавший из Казани, отпраздновал своё возвращение»[2].

Не случайно приведены Пушкиным слова: «Разве я разбойник?», — с болью сказанные Пугачевым своим былым соратникам, затем вероломно напавшим и предавшим его из-за спасения своей жизни[3].

Пушкин дает много примеров высокой человечности Пугачева. Руководитель восстания не один раз (даже в периоды напряженнейшей борьбы) щадил дворян-офицеров, которые не потеряли человеческого облика, по-человечески относились к солдатам.

Как-то солдаты заступились за капитана Башарина, им Пугачев сказал: «Коли он до вас добр... то я его прощаю»[4].

Пушкин трогательно описывает сцену встречи в Казани Пугачева со своей семьей, арестованной по распоряжению правительства. «Самозванец, увидя их, сказывают, заплакал, но не изменил самому себе»[5].

Пугачев жил для народа, берег и уважал простых людей, но зато он презирал и ненавидел тех, кто обирал народ, унижал его достоинство. Расправляясь с угнетателями, уничтожая их богатства, восставшие не касались крестьянской собственности.

К угнетателям крестьян, казацкой бедноты, мелкого посадского люда Пугачев всегда был беспощадным. Особенно ненавидел Пугачев богатых дворян, он презирал их и издевался над ними, даже будучи их пленником.

Пугачева привезли в Симбирск. Панин, в присутствии своего штаба, начал допрос: «Кто ты таков? — спросил он

---

[1] А. С. Пушкин. П. С. С. в шести томах, т. V, 1936, стр. 384.
[2] Там же, стр. 397.
[3] Там же, стр. 413.
[4] Там же, стр. 350.
[5] Там же, стр. 397.

у самозванца. — **Емельян Иванов Пугачев**, ответил тот. — «Как же смел ты, вор, назваться государем? — продолжал Панин. — **Я не ворон** (возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно), **я вороненок, а ворон ещё летает...**

Панин, заметя, что дерзость Пугачева поразила народ, столпившийся около двора, ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клок бороды»[1].

В конце октября 1774 года Пугачева увезли в Москву, где «встречен он был многочисленным народом, недавно ожидавшим его с нетерпением...»[2].

На монетный двор, где сидел Пугачев, приходили люди, чтобы посмотреть на него. «Старые люди ещё рассказывают о его смелых ответах на вопросы проезжих господ»[3].

В другом месте Пушкин записал не менее интересный эпизод, относящийся тоже ко времени заключения Пугачева. На монетный двор как-то пришел симбирский помещик и, подойдя к Пугачеву, «стал осыпать его укоризнами». Помещик «был очень дурен лицом, к тому же и без носу. Пугачев, посмотрев на него, сказал: «Правда, много перевешал я вашей братии, но такой гнусной образины, признаюсь, не видывал»[4].

Все эти, даже отдельно взятые факты, говорят о том, что, несмотря на все цензурные преграды, Пушкин сумел нарисовать образ народного героя таким, каким он был и каким его помнил народ.

В том же плане Пушкин говорит о соратниках Пугачева. Хлопушу он наделяет эпитетами: «смелый каторжник», «славный каторжник», «смышленый каторжник», который, отправясь на уральские заводы, поднял на борьбу работных людей, организовал производство оружия, пересылая «Пугачеву пушки, ядра и порох, умножая свою шайку приписными крестьянами и башкирцами»[5].

Пушкин нарисовал яркую картину участия в восстании работных людей Урала, их классовую ненависть и борьбу с угнетателями. Глубоко изучив ход крестьянской войны, Пушкин распознал и союзников Пугачева. В «Пропущенной гла-

[1] А. С. Пушкин, П.С.С. в шести томах, т. V, 1936, стр. 415.

[2] Там же, стр. 416.

[3] Там же, стр. 416.

[4] А. С. Пушкин. Критика, История, Автобиография, т. V, М. 1933, стр. 779.

[5] А. С. Пушкин. П. С. С. в шести томах, т. V, стр. 333, 367, 370.

ве» из «Капитанской дочки» поэт рассказывает, как Гринев ночью, переправляясь через Волгу, увидел плот с тройной виселицей, плывущей по реке, на которой были повешены старый чуваш, русский заводской рабочий и крепостной крестьянин[1].

«Только в наши дни, — пишет Д. Благой, — исследователи с изумлением распознали, что в этом как будто бы случайном образе Пушкин пластично показал массовых союзников Пугачева — основные движущие силы крестьянской революции XVIII в».

«История Пугачева» дает и общую картину восстания, рассказывает о движении и боевых действиях всей крестьянской армии и ее отрядов, говорит об отдельных районах восстания, о непосредственном участии народных масс в крестьянской войне, о сочувствии народа к восставшим и к Пугачеву с первых же дней восстания.

Пугачев подошел с небольшим отрядом к Яицкому городку, комендант крепости побоялся вывести весь гарнизон против восставших потому, что «жители готовы были взбунтоваться»[2].

Во многих крепостях казаки и солдаты восторженно встречали Пугачева с хлебом-солью, вливались в его армию. «Пугачев усиливался: прошло две недели со дня, как явился он под Яицким городком с горстью бунтовщиков, и уже он имел до трех тысяч пехоты и конницы и более 20 пушек»[3].

Указы, умело написанные простыми, но живыми народными словами, действовали подобно искрам, попавшим в легко воспламеняющийся материал: народ восставал и шел с Пугачевым. «Первое возмутительное[4] воззвание Пугачева к яицким казакам есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более подействовало, что объявления, или публикации Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце периодов»[5].

Восстание распространяется на все Поволжье, всколыхнулись народные массы в центральных районах России. «С часу на час ожидали общего возмущения яицкого войска; башкирцы... начали нападать на русские селения и кучами

[1] А. С. Пушкин. П. С. С. в шести томах, т. IV, М. 1940, стр. 629.
[2] А. С. Пушкин. П. С. С. в шести томах, т. V, стр. 322.
[3] Там же, стр. 330.
[4] Агитационное.
[5] А. С. Пушкин, П. С. С. ... т. V, стр. 488.

присоединяться к войску бунтовщиков... Мордва, чуваши, черемисы перестали повиноваться русскому начальству. Господские крестьяне явно оказывали свою приверженность самозванцу, и вскоре не только Оренбургская, но и пограничные с нею губернии перешли в опасное колебание»[1].

В другом месте читаем: «С каждым днём силы Пугачева увеличивались: войско его состояло уже из двадцати пяти тысяч; ядром оного были яицкие казаки и солдаты... Около них скопилось неимоверное множество татар, башкирцев, калмыков, бунтующих крестьян»[2].

Вся эта разрозненная масса, объединенная ненавистью к угнетателям, помещикам, русским колонизаторам, несмотря на то, что была вооружена, по меткому выражению Пушкина, чем попало: «...кто копьем, кто пистолетом... Иным розданы были штыки, наткнутые на длинные палки; другие носили дубины; большая часть не имела никакого оружия»[3], шла вперед и побеждала регулярные, хорошо вооруженные императорские войска.

Слухи о восстании быстро расходились по всей стране. Во многих местах с нетерпением ожидали народного вождя.

Бибиков, назначенный Екатериной II главнокомандующим войсками, направленными на подавление крестьянского восстания, по пути в Казань проездом остановился в Москве и «нашел старую столицу в страхе и унынии... множество дворян бежало в Москву из губерний, уже разоряемых Пугачевым, или угрожаемых возмущением. Холопья, ими навезенные, распускали по площадям вести о вольности и об истреблении господ. Многочисленная московская чернь... с явным нетерпением ожидала Пугачева»[4].

Появление Пугачева в новых районах подымало на борьбу все более и более широкие массы крестьянства, угнетенные народы Поволжья.

Отступление Пугачева, его отход по правому берегу Волги, не только не охладил народ, не затушил бурю, а наоборот, с новой силой всколыхнул народные массы Симбирской, Пензенской, Саратовской и других провинций. Указы Пугачева били в цель.

---

[1] А. С. Пушкин. П. С. С., т. V, стр. 330.
[2] Там же, стр. 337.
[3] Там же, стр. 337.
[4] Там же, стр. 347.

Пушкин дал очень яркую характеристику движения Пугачева в этих районах: «Переправа Пугачева произвела общее смятение. Вся западная сторона Волги восстала и предалась самозванцу. Господские крестьяне взбунтовались... Воеводы бежали из городов, дворяне из поместий; чернь ловила тех и других и отовсюду приводила к Пугачеву. Пугачев объявил народу вольность, истребление дворянского рода, отпущение повинностей и безденежную раздачу соли». В другом месте: «Пугачев бежал; но бегство его казалось нашествием. Никогда успехи его не были ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с такой силой. Возмущение переходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции. Довольно было появления двух или трех злодеев, чтоб взбунтовать целые области»[1].

Наряду с описанием восстания и восставших Пушкин описывает мероприятия и действия правительства, отдельных правительственных начальников, усмирявших народ. Если бы не общие условия николаевского режима, не строжайшая и притом «высочайшая» цензура, то можно предположить, что из «Истории Пугачева» мы узнали бы и о Екатерине, и о её вельможах, и военачальниках гораздо больше, чем знаем сейчас. Но даже и то, что сказано Пушкиным, достаточно красноречиво говорит о слабости правительства. В отдельных высказываниях Пушкина о правительственных меропритиях нередко слышна ирония, иногда скрытая, иногда прямая, острая. В «Заметках к «Истории Пугачева» поэт писал: «Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должно признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к достижению своей цели.

Правительство со своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно»[2].

Тупого, бездарного оренбургского генерал-губернатора Рейнсдорпа Пушкин едко высмеял. Воззвания Рейнсдорпа были писаны «темным и запутанным слогом», неверные приметы о Пугачеве, сообщаемые в публикациях, вызывали только веселый смех у восставших, они «потом торжествовали, укоряя его (Рейнсдорпа—Н. Г.) в клевете».

К Пугачеву приводили группами помещиков, офицеров, к нему перебегали казаки из осажденного Оренбурга, и в

---

[1] А. С. Пушкин. П. С. С., т. V, стр. 400, 401.
[2] Там же, стр. 496.

лагере восставших никогда не ощущалось недостатка в «языке». Оренбургский же губернатор для того, чтобы достать и привести «языка» высылал «иногда до тысячи человек, и то нередко без успеха». Бессильный в борьбе с противником, потеряв голову, Рейнсдорп не предпринял ни одной разумной меры против Пугачева. «Вздумал он[1], по совету Тимашева, расставить капканы около вала, и как волков ловить мятежников, разъезжающих ночью близ города. Сами осажденные смеялись над сею военною хитростию»[2].

В самом Оренбурге хотя и было много военных сил, но по утверждению Пушкина «между военными начальниками не было ни единого, знавшего своё дело».

Не лучшие отзывы читаем мы в «Истории Пугачева» и о генерале Каре и о других военачальниках. «Должно сказать о том, что редкий из тогдашних начальников был в состоянии управиться с Пугачевым или с менее известными его сообщниками»[3].

Ненадежны были и солдаты — их сдерживала только палочная дисциплина. Но и она не помогала: при каждом удобном случае солдаты присоединялись к восставшим. «Солдаты... сражались неохотно, а казаки на самом месте сражения могли соединиться с мятежниками»[4]. Сам главнокомандующий Бибиков «сомневался в духе своего войска. В одном из полков (во Владимирском), оказалось, были приверженцы Пугачева»[5].

Пушкину было понятно моральное состояние царских солдат, понятно, что крестьяне, одетые в шинели, запуганные палочной дисциплиной, иначе поступать и не могли.

Пушкин создал выдающееся историческое произведение. Пушкин не был придворным историком. Он писал для народа, в народе находил свою великую творческую силу.

Пушкин в условиях того времени провел исключительно трудное и сложное историческое исследование. Провел не в кабинете, не априорно, а научно, на широкой основе фактов, собирая их, к сожалению, под бдительным оком Бенкендорфа и николаевских губернаторов, не только в Петербурге, но, главным образом, непосредственно на местах событий 1773—1775 годов, в народных низах.

---

[1] Рейнсдорп.
[2] А. С. Пушкин. П.С.С. ... т. V, стр. 351—352.
[3] Там же, стр. 398—399.
[4] Там же, стр. 334.
[5] Там же, стр. 361—362.

Пушкин с огромной художественной силой правдиво рисует восстание народных масс против самодержавия и крепостников. Он показывает остроту классовых противоречий, неизбежность крестьянских восстаний. Он пытается осмыслить народные революционные движения.

В этом огромная заслуга Пушкина. Его «История Пугачева» должна занять и занимает подобающее место в нашей русской историографии.

Крупнейшее из социальных движений XVIII в., во главе которого стоял Емельян Пугачев, первым своим историком имеет великого русского гения — Александра Пушкина.

И. Н. ТРЕГУБОВ
доцент, кандидат экономических наук

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ А. С. ПУШКИНА

„Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства".
(ПУШКИН).

Вопрос об экономических взглядах А. С. Пушкина впервые был поставлен профессором П. Щеголевым в 1930 г., в его статье «Пушкин — экономист»[1].

Рассмотрев критические замечания А. С. Пушкина на книгу экономиста М. Ф. Орлова «О государственном кредите», профессор П. Щеголев причислил Пушкина — великого поэта и мыслителя — к числу русских экономистов.

На наш взгляд А. С. Пушкин не является экономистом. Но как передовой человек своей эпохи, как величайший мыслитель он был эрудирован и в политической экономии, а по некоторым экономическим вопросам высказывал оригинальные суждения.

В данной статье мы намерены остановиться на экономических взглядах А. С. Пушкина, так как они составляют одну из сторон его мировоззрения.

А. С. Пушкин жил и творил свои бессмертные произведения в эпоху разложения феодально-крепостнического строя и становления капиталистического.

Первая половина XIX века характеризуется сравнительно быстрыми темпами развития русской промышленности, некоторыми улучшениями в земледелии, расширением торговых связей с заграницей.

Развивающиеся новые отрасли производства переходят от ручной техники к машинной.

Применение машин требует квалифицированных рабочих. Однако резервной армии квалифицированных рабочих, в которой нуждается развивающаяся промышленность, в крепостнической России не было. Крепостнические отношения были главной преградой промышленного развития России.

---

[1] Газета «Известия», 17 января 1930 года.

Правительство не могло не видеть, что жизнь требует коренных реформ, коренных изменений, но оно не могло на них решиться.

В правительственных канцеляриях разрабатывались лишь такие реформы, которые способствовали упрочению разлагающегося феодального общества. Но как только самодержавие убеждалось, что новые реформы могут привести к гибели феодально-крепостнической системы, оно судорожно цеплялось за отжившее старое, переходило к яростной реакции, пытаясь задушить в зародыше все новое, растущее, прогрессивное.

А. С. Пушкин понимал, что такая политика правительства неизбежно приведет к тому, что передовое дворянство выступит против крепостничества и поддерживающего его самодержавия.

Об этом писал А. В. Луначарский: «Для А. С. Пушкина было ясно, что в самый правящий класс история загоняет клин и может отбросить часть дворянства не только в оппозицию, но и даже в революцию против самодержавия».

Передовая, критически мыслящая часть дворянства, понимала, что корни изменений, происходящих в обществе, уходят в экономику, и пыталась найти ответы на вопросы, поставленные русской действительностью в политической экономии.

В первой половине XIX века в России пробуждается интерес к политической экономии.

Адмирал Н. С. Мордвинов в 1815 г. издал книгу «Некоторые соображения по предмету мануфактур в России», которая была вскоре дважды переиздана, что является показателем большого интереса со стороны передовых слоев русского общества к экономическим вопросам.

В этой книге Н. С. Мордвинов выступает ярым поборником промышленного развития России, видя в промышленности основу роста народного богатства и политической независимости от других народов.

В. И. Семевский в своей работе «Политические и общественные идеи декабристов» отмечает большой интерес декабристов к политической экономии.

Так, Пестель, два брата Муравьевы-Апостолы (Сергей и Матвей), С. Трубецкой, Илья Долгоруков, Федор Глинка, Никита Муравьев и братья Шиповы слушали в 1816 году курс политической экономии на квартире у проф. Германа, для чего сделали складчину.

Граф Ф. П. Толстой, привлекавшийся к следствию о тайном обществе, слушал публичные лекции проф. Германа по статистике и политической экономии. Бурцев, член Союза Благоденствия, говорит в своем показании, что «подобно многим гвардейским офицерам», в часы свободные от службы, он посещал профессоров Германа, Галича, Куницына, читавших лекции о политических науках.

Лекции по политической экономии проф. Куницына слушали Евгений Оболенский, А. В. Поджио и многие другие.

В связи с этим, мы хотим заметить, что утверждение проф. Ленинградского университета В. М. Штейна в его последней работе «Очерки развития русской общественно-экономической мысли XIX—XX веков» о том, что «политическую экономию насаждают сверху» — является совершенно неверным[1]. Такое утверждение принижает роль русского народа в развитии экономической науки.

Проф. В. М. Штейн пишет: «Увлечение политической экономией в придворных сферах передавалось и в аристократические круги, превращая ее в модную науку. Занятия политической экономией начинают приобретать характер известной принудительности»[2].

По Штейну получается, что инициаторами распространения экономических знаний в России являются самодержавие и придворные круги. В действительности же дело обстоит как раз наоборот.

Самодержавие, приглашая на русские кафедры иностранцев, задержало развитие отечественной науки вообще и политической экономии в частности. Вот почему внеакадемическая экономическая мысль, развивавшаяся в России независимо от самодержавия, вопреки ему, намного превзошла тот низкий уровень знаний, который преподносился слушателям иностранными профессорами с университетских кафедр.

Наивно, по меньшей мере, считать, что декабристы П. Пестель, Н. Тургенев, М. Орлов, Н. Муравьев и многие другие изучали политическую экономию по принуждению сверху или слепо подражая великим князьям и придворной камарилье.

В политической экономии передовые люди той эпохи — декабристы — видели могучее оружие в борьбе с самодер-

---

[1] См. Штейн В. М. «Очерки развития русской общественно-экономической мысли XIX — XX веков», изд. Лен. 1948 г., стр. 22.

[2] Там же.

жавием и крепостничеством, которые задерживали экономическое и культурное развитие России.

Следовательно, увлечение политической экономией передовой части дворянства — класса, к которому в силу рождения принадлежал А. С. Пушкин—не случайно, а закономерно.

Оно, это увлечение, обусловлено социально-экономической обстановкой тогдашней России, в которой шла борьба между двумя хозяйственными укладами, отживающим крепостническим и зарождающимся — капиталистическим, между реакционерами, которые во что бы то ни стало хотели сохранить существующий порядок вещей и прогрессивными деятелями, которые стремились уничтожить крепостничество вместе с поддерживающим его самодержавием.

Что касается придворных кругов, то там, действительно, увлечение политической экономией было просто модой, томимых бездельем людей. Об этом говорит Пушкин устами своего героя «Романа в письмах» Владимира:

«...Умозрительные и важные рассуждения, — сообщает Владимир, — принадлежат к 1818 году. В то время строгость нравов и политическая экономия были в моде... Это все переменилось. Французская кадриль заменила Адама Смита[1]».

Об увлечении политической экономией говорится в главном произведении Пушкина «Евгений Онегин». Герой романа Онегин:

Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита,
И был глубокий эконом...

Но передовые умы России не только читали Адама Смита. Они создали новые теории, в которых давали ответы на животрепещущие вопросы, волновавшие русское общество.

Одним из крупнейших мыслителей того времени был Николай Иванович Тургенев, который считал, что развитие политической экономии является одной из важнейших задач его жизни.

В письме к брату он писал: «Надобно Вам сказать, что всех более лекций занимает меня политическая экономия...» А в своем дневнике от 17 мая 1810 года Н. И. Тургенев записал, что «...эта наука (политическая экономия—И. Т.) будет главнейшим моим занятием в продолжении, думаю, всей моей жизни...»

---

[1] Пушкин, соч., т. 6, ч. I, стр. 255.

В 1818 году Н. И. Тургенев предпринимает поездку в свое родовое имение, в Симбирскую губернию.

Познакомившись во время поездки с жизнью крестьян, Тургенев с горечью отмечал в своем дневнике: «. . .я вижу в каком положении находится Россия. Где её благоденствие?»

В 1818 году Н. И. Тургенев выпускает в свет свою работу «Опыт теории налогов», которая имела в передовых кругах общества огромный успех. Автор книги был принят в число членов тайных обществ и вскоре стал одним из вожаков декабристов, несмотря на то, что взгляды его относительно самодержавия носили умеренный характер.

В своей работе Н. И. Тургенев излагал не абстрактные теоретические положения, а проблемы, имеющие жизненное значение для судеб России.

Н. И. Тургенев выступает в названной книге ярым противником крепостного права, требуя его упразднения. Он по-новому излагает очень важные для каждого государства вопросы налогового обложения, таможенной политики. Особенно интересны рассуждения Н. И. Тургенева о финансах. Исследователи развития экономической мысли в России отмечали, что работа Тургенева «Опыт теории налогов» заложила фундамент русской финансовой науки.

В конце 6-й главы Н. И. Тургенев предупреждал царских сановников: «. . .Всякое правительство, которое не будет понимать правил сей науки (политической экономии—И. Т.) или будет презирать оные, необходимо должно погибнуть от финансов»[1].

Следовательно, Тургенев хорошо понимал связь теоретических вопросов, разработанных им в своей книге, с живой действительностью. Более того, Н. И. Тургенев видел в теории средство преобразования действительности.

Экономические вопросы нашли свое развитие и в работах одного из виднейших вождей декабристов — П. И. Пестеля.

Современники Пестеля характеризуют его как выдающегося человека, «в сердце которого гнездились высокие и пылкие чувства патриотизма».

Первой экономической работой П. И. Пестеля является большая рукопись под заглавием «Практические начала политической экономии». В этой работе Пестель выступает сторонником развития России по капиталистическому пути.

Пестель, как и Тургенев, ненавидел рабство. Он высту-

[1] Н. И. Тургенев, «Опыт теории налогов», стр. 235.

пал за немедленное освобождение крестьян от крепостной зависимости.

Необходимость замены труда крепостных крестьян трудом свободных наемных рабочих Пестель доказывал исходя не из морально-этических соображений, а экономических.

Раб, — отмечал Пестель, — не заинтересован в том, чтобы хорошо выполнить свою работу, и вследствие этого, труд рабов менее производителен, чем труд свободных рабочих.

Пестель был сторонником промышленного развития России, так как страны развитые в промышленном отношении могут полнее удовлетворять нужды жителей. Экономическое развитие неизбежно влечет за собой развитие науки и искусств. «Эпоха процветания фабрик, — писал он, — была также и временем прогресса искусств и наук вообще»[1].

Хотя экономические взгляды крупнейших мыслителей XIX в. и не совпадали, но по главным вопросам ближайшего будущего развития России они носили тождественный характер.

Уничтожение крепостного права, промышленное развитие России — вот какие вопросы волновали умы патриотов первой половины XIX века.

А. С. Пушкин—гигант русской культуры—был очень близок к декабристам. Он был хорошо знаком с Н. И. Тургеневым, Пестелем, Орловым и др. декабристами.

В X главе «Евгения Онегина», сожженной Пушкиным, находятся строки, посвященные автору «Опыта теории налогов» Н. И. Тургеневу:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Восторженно Пушкин отзывался и о Пестеле: «Утро провел я с Пестелем—умный человек, во всем смысле этого слова... Один из самых оригинальных умов, которых я знаю».

Пушкин не только лично был близок к декабристам, но он стоял в основном на тех же самых идеологических позициях, что и декабристы.

---

[1] «Красный архив», т. 6, 1925 г., стр. 228.

Подобно многим декабристам, он интересовался политической экономией.

Еще в лицее Пушкин с большим вниманием вслушивался в «чистый, звучный и внятный голос» профессора политических наук А. П. Куницына. От Куницына Пушкин узнал об Адаме Смите и его экономическом учении.

Лучший друг Пушкина И. И. Пущин в своих воспоминаниях говорит: «Пушкин охотнее всех других классов занимался в классе Куницына...»[1].

С чувством глубокой благодарности вспоминал позднее великий поэт о своем любимом учителе:

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...

(«19 октября»).

Интерес к политической экономии, вызванный Куницыным у Пушкина, сохранился до последних дней его жизни.

О глубоких познаниях Пушкина в экономических вопросах говорят основоположники научного коммунизма, создатели классической политической экономии К. Маркс и Ф. Энгельс, которые пристально следили за общественным движением в России.

Фридрих Энгельс в письме к А. Ф. Даниэльсону от 29 — 30 октября 1891 г., отмечая ошибочные взгляды Смита, писал: «Когда мы изучаем таким образом реальные экономические отношения в различных странах и на различных ступенях цивилизации, то какими странно-ошибочными и недостаточными нам кажутся рационалистические обобщения XVIII века хотя бы, например, доброго старого Адама Смита, который принимал условия, господствовавшие в Эдинбурге и в окрестностях Шотландских графств, за нормальные для целой вселенной. Впрочем, Пушкин уже знал это, как и то,

...и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог,
И земли отдавал в залог»[2].

---

[1] И. И. Пущин. «Записки о Пушкине», М., 1937 г., стр. 49.

[2] Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями, изд. 1947 г., стр. 118—119.

Пушкин понимал, следовательно, что экономические отношения, т. е. производственные отношения людей не могут быть одинаковыми для различных исторических эпох. Великий русский поэт и мыслитель преодолел историческую ограниченность взглядов А. Смита и других мыслителей конца XVIII и начала XIX вв., которые общественный строй, «установившийся в их округе», объявляли вечным незыблемым строем, обязательным для всей вселенной.

Имеется ссылка на А. С. Пушкина и в одной из гениальных экономических работ Карла Маркса «К критике политической экономии». К. Маркс, рассматривая теорию денег Д. Рикардо, пишет: «Пушкин в своей поэме представляет отца своего героя не понимающим, что товар—деньги. Однако русские давно уже поняли, что деньги—товар, как это показывает не только ввоз зерна в Англию в 1832—1842 гг., но и вся история их торговли»[1].

Это замечание великого ученого показывает, что высокохудожественные произведения Пушкина проливают свет на экономические стороны жизни предреформенной России.

Пушкин не оставил нам работ, специально посвященных разработке экономических проблем. Однако из небольших заметок, оставленных им, мы видим, что он глубже разбирался в экономических вопросах, чем люди его эпохи, которые посвятили свою жизнь разработке экономических проблем.

Чрезвычайно большой интерес представляют заметки А. С. Пушкина сделанные им при чтении книги М. Ф. Орлова «О государственном кредите». Орлов принадлежал к числу деятелей тайных обществ. После разгрома декабристов Орлов был отстранен от дел, т. е. отделался очень легко по сравнению с другими участниками движения. Поселившись в своем имении, Орлов занялся изучением политической экономии и в 1833 году напечатал книгу о государственном кредите. Книга очень сильно пострадала от царской цензуры, и Орлов вынужден был вплетать в книгу рукописные листы, чтобы ознакомить полнее своих друзей со своими идеями. Книга М. Ф. Орлова начинается с определения кредита. «Кредит, — пишет он, — вообще не что иное, как изобретенный способ для удобнейшего обмена ценностей». Пушкин, по поводу этого определения, делает очень тонкое и весьма существенное замечание. «Конечно, — пишет Пушкин, — никто не изобретал

[1] К. Маркс. «К критике политической экономии», М. 1932 г., стр. 195.

кредита доверенности. Он проистекает сам собой как условие, как сношение. Он родился при первом меновом обороте»[1].

Следовательно, А. С. Пушкин отрицает, широко распространенный у буржуазных ученых Запада, взгляд об изобретении кредита. Он ясно указывает, что кредит возник сам собой, в результате развития торговых сношений. Таким образом, Пушкин. в вопросе о происхождении кредита понимал значительно больше, не только многих буржуазных экономистов Запада, но и некоторых своих соотечественников.

Если первая заметка Пушкина относится к происхождению кредита, то вторая — к его сущности. По мнению Орлова, частный кредит основан на доверенности. «В частном кредите, — пишет Орлов, — господствующая мысль есть возвращение капитала». А. С. Пушкин, возражая Орлову, пишет: «Возвращение капитала не есть, конечно, господствующая мысль при частном кредите, но умножение оного посредством процентов»[2].

Пушкин верно указывает, что цель банковского кредита состоит в увеличении капитала, посредством получения ссудного процента.

Большой интерес представляет заметка Пушкина о налоге.

«Сам по себе налог слеп и падает без разбора на все состояния», — повторяет почти дословно Пушкин определение Орлова. Но дальше следует возражение Орлову и физиократам, с экономическими взглядами которых Пушкин, следовательно, был хорошо знаком.

«Нет, налог может отозваться во всех состояниях, но обыкновенно падает на одно (отсель ошибка физиократов или налога на землю, падающего на земледелие и нечувствительного множеству других сословий)»[3]. Пушкин считает ошибочной теорию единого налога физиократов и указывает, что налог может отозваться во всех состояниях. К сожалению, на этом обрываются мысли Пушкина о кредите и налоге.

Небольшие замечания о кредите и налоге убедительно говорят о том, что великий русский поэт А. С. Пушкин не только правильно описывал экономические явления, но поразительно верно раскрывал их сущность. В кратких заметках о происхождении кредита, его сущности и налоге, которые, к сожалению, не получили своего дальнейшего раз-

[1] Полн. собр. соч. Пушкина. изд. 5-е, 1948 г., т. 6, кн. 1, стр. 363—364.
[2] Там же, стр. 364.
[3] Там же.

вития, ярко сказывается превосходство Пушкина над учеными экономистами, которые в тиши кабинетов занимались изучением экономических явлений, бессильные разобраться в их сущности.

Большое место в произведениях Пушкина уделяется выяснению причин крушения феодально-крепостнического строя. Во многих статьях, черновых набросках Пушкин констатирует обеднение русского дворянства, повсеместное обнищание крестьян, кризис всей старой системы хозяйства. Даже обеднение Москвы Пушкин рассматривает как доказательство обеднения русского дворянства.

В «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин пишет: «Обеднение Москвы есть доказательство обеднения русского дворянства, происшедшего от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротою, — так что правнук богача делается бедняком потому только, что дед его имел четверо сыновей, отец его — столько же... Он уже не может жить этим огромным домом, который не в состоянии он освещать, даже и отапливать.

Он продает его в казну или отдает за бесценок старым заимодавцам — и едет в свою деревушку, заложенную и перезаложенную, где живет в скуке и в нужде, мало заботясь о судьбе детей, которых на досуге рожает ему жена и которые будут совершенно нищими»[1].

Пушкин рисует присмиревшую Москву, в которой стоят запущенные и одичалые огромные барские дома. «На всех воротах, — сообщает Пушкин, — прибито объявление, что дом продается и отдается внаймы, и никто его не покупает и не нанимает. Улицы мертвы; редко по мостовой раздается стук кареты...»[2].

Пушкин не только констатировал повсеместно наблюдаемую им картину разорения дворянства, но пытался дать объяснение этому явлению. Исчерпывающего ответа на этот вопрос однако Пушкин дать не мог, так как в то время не было, да и не могло быть, подлинной науки об обществе и законах его развития.

Пушкин одной из важнейших причин обеднения дворянства считает раздробление дворянских имений при передаче их по наследству.

Среди других причин Пушкиным упоминаются неуменье,

---

[1] Пушкин. Соч., т. 6, кн. 1, стр. 514.
[2] Там же, стр. 224.

а часто и нежелание управлять своими имениями, расточительность дворянства, нерациональное использование рабочей силы и важнейших средств производства.

Так, в романе в стихах мы находим строки о жизни провинциального дворянства. Герой романа Онегин:

...в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.

В «Записках П. В. Нащокина» дается типичная картина жизни русского помещика первой половины XIX века:

«Отец мой, — говорит Нащокин, — жил барином. Порядок его разъездов даст понятие об его жизни. Собираясь куда-нибудь в дорогу, подымался он всем домом. Впереди на рослой испанской лошади ехал поляк Куликовский с волторною... За ним ехала одноколка отца моего; за одноколкою двуместная карета про случай дождя; под козлами находилось место любимого его шута, Ивана Степаныча. Вслед тянулись кареты, наполненные нами, нашими мадамами, учителями, няньками и проч. За ними ехала длинная решетчатая фура с дураками, арапами, карлами, всего 13 человек. Вслед за нею точно такая же фура с больными борзыми собаками. Потом следовал огромный ящик с роговою музыкою, буфет на 16-ти лошадях, наконец повозки с калмыцкими кибитками и разной мебелью (ибо отец мой останавливался всегда в поле). Посудите же, сколько при всем этом находилось народу, музыкантов, поваров, псарей и разной челяди»[1].

Пушкин в приведенном отрывке подчеркивает расточительность дворянского образа жизни, нерациональное использование главной производительной силы общества — людей, о чем свидетельствует огромный штат паразитической челяди, который удовлетворял прихоти барина. Непроизводительно также используется скот (только под перевозку буфета было занято 16 лошадей), сельскохозяйственный инвентарь. И все это «дикое барство» существовало за счет каторжного труда крепостных крестьян.

Некоторые либералы пытались доказать, что разорение дворянских имений повлечет за собой освобождение крестьян от крепостнической зависимости. В подтверждение этой ложной мысли они приводили аргументы, говорящие о том,

---

[1] Пушкин. Соч., т. 6, кн. 1, стр. 181—182.

что имения разорившихся дворян будут поступать в распоряжение правительства, которое не замедлит перевести крестьян из крепостных в свободные хлебопашцы.

Пушкин не разделяет этих теоретически неверных, а практически вредных взглядов. Предоставим ему слово:

«Но, говорят некоторые, раздробление имений способствует к освобождению крестьян: помещики, не получая достаточных доходов, принуждены заложить своих крестьян в Опекунский совет и, разорив их, приходят в невозможность платить проценты. Имение тогда поступает в ведомство правительства, которое может их обратить в вольные хлебопашцы или в экономические крестьяне. *Расчет ошибочный!*

Помещик, пришедший в крайность, поспешает продать своих крестьян, на что всегда найдет охотников, а долг дворянский связывает руки правительству и не допускает его освободить крестьян, ибо в таком случае дворянство справедливо почтет свой долг угашенным уничтожением залога»[1].

Следовательно, разорение дворянства, как справедливо считает Пушкин, непосредственно еще не означает освобождения крестьян от крепостной зависимости, так как разоряющиеся помещики продают крестьян «преуспевающим» помещикам и зарождающимся капиталистам. Переход крепостных крестьян от одного помещика к другому не делает их от этого свободными. Более того, Пушкин определенно указывает, что экономическое состояние крепостных у разоряющихся помещиков не улучшается, а ухудшается «и крепостной мелкопоместного владельца терпит более притеснений и несет более повинностей, нежели крестьянин богатого барина»[2].

Пушкин близко к сердцу принимал невыносимо тяжелое положение крепостных крестьян. Гневно звучит его лира:

Везде невежества губительный позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.

---

[1] Пушкин, Соч., т. 6, кн. 1, стр. 514—515. (Курсив наш. И. Т.).
[2] Там же, стр. 514.

Здесь тягостный ярем до гроба все влекут.
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти безчувственной злодея...

В сборнике «Рукою Пушкина» помещены до недавнего времени неопубликованные тексты, написанные А. С. Пушкиным. Среди этих текстов мы находим интересные выписки, которые говорят о том, как детально А. С. Пушкин интересовался положением крестьян. В этих выписках имеются цифровые данные о количестве земли, находящейся в распоряжении крестьян; о том, какое количество земли находится под селениями, огородами, скотными дворами, какую площадь занимают кустарники, болота; какая площадь засевается и какими культурами— обо всем этом Пушкин собрал цифровые данные, которые он намерен был использовать при написании «Истории села Горюхина». К сожалению, полностью свой замысел Пушкин не осуществил. Но многое, сделанное в этом направлении, говорит о том, с какой серьезностью Пушкин занимался изучением крестьянского вопроса — важнейшего вопроса той эпохи.

Пушкин отмечает в своих статьях и черновых набросках к ним разложение натурального хозяйства, развитие товарно-денежных отношений, замену отработочной и натуральной ренты—денежной, которая характерна для периода разложения феодализма и становления капитализма.

«Помещик, — писал Пушкин, — наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу... Злоупотреблений везде много; уголовные дела везде ужасны»[1].

Пушкин не только отмечает тяжелое положение крестьян, он отмечает, мы бы сказали, разложение крестьянства, превращение большинства крестьян в пролетариев и полупролетариев. Крепостной крестьянин, о котором сообщает Пушкин, это социальная фигура переходного периода: он уже не крепостной крестьянин в полном смысле этого слова но он еще и не пролетарий.

С одной стороны, такой крестьянин является крепостным; так как он находится в личной зависимости от помещика. Но, с другой стороны, он превращается в пролетария, в про-

[1] Пушкин. Соч. т. 6, кн. 1, стр. 241.

давца рабочей силы, чтобы иметь возможность существовать и платить оброк своему барину.

Приведенные факты говорят о том, что в недрах феодализма зарождаются капиталистические производственные отношения, которые, подобно кислоте, разъедают отживший феодальный строй. Конечно, Пушкин, не зная законов развития общества, не видел тогда в лице разоряющегося крестьянства новый восходящий класс — пролетариат, который призван навсегда покончить с эксплоатацией человека человеком и открыть новую эру в истории человечества.

Пушкин далек от того взгляда, что упадок феодализма, гибель дворянства — есть упадок всей России. Наоборот, Пушкин подчеркивает, что одновременно с упадком дворянства происходит бурное развитие промышленности, распространение науки и культуры.

«Москва, — пишет Пушкин, — утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством. С другой стороны, просвещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию Ломоносова»[1].

Пушкин содействовал развитию русской экономической науки, когда он приступил в 1836 г. к изданию журнала «Современник». Пушкин, как редактор и издатель «Современника», значительное место в журнале отводит экономическим вопросам. В отделе «Новые книги» всегда отмечались книги по экономическим вопросам. В числе книг, отмеченных «Современником», имеются: «Обозрение сельского хозяйства удельных имений в 1832, 1833 гг.», изданное департаментом уделов; сочинение Александра Путяты «Опытный помещик, или вернейший руководитель господ владельцев к увеличению доходов с недвижимых имений в три или четыре раза более обыкновенного».

Во второй книге «Современника» Пушкин напечатал подробный разбор «Статистического описания Нахичеванской провинции»; в третьей книге он поместил большую статью о «Государственной внешней торговле 1835 г.». Пушкин наметил напечатать в «Современнике» ряд других статей по

[1] Пушкин. Соч., т. 6, кн. 1 стр. 225—226.

экономическим вопросам, но преждевременная трагическая смерть лишила поэта возможности осуществить это намерение.

А. С. Пушкин интересовался общественным устройством, экономикой, и особенно положением трудящихся масс не только в России, но и в других странах.

Чрезвычайно большой интерес представляют его заметки об общественном устройстве капиталистических государств Западной Европы и Соединенных Штатов Сев. Америки.

В статье «О французской революции» Пушкин дает краткую, но очень содержательную историю возникновения, развития и гибели феодальных производственных отношений во Франции.

«Феодальное правление, — пишет Пушкин, — было основано на праве завоевания. Победители присвоили себе землю и собственность побежденных, обратили их самих в рабство и разделили все между собою. Предводители получили большие участки. Слабые прибегнули к покровительству сильнейших»[1].

Так Пушкин описывает процесс становления феодализма в Западной Европе. Он, в основном, верно охватывает характерные явления в жизни Западной Европы периода становления феодализма.

Далее Пушкин излагает сущность сложившегося феодального строя. «Каждый владелец, — пишет он, — управлял в своем участке по-своему, устанавливал свои законы, соблюдая свои выгоды, и старался окружить себя достаточным числом приверженцев, для удержания в повиновении своих вассалов или для отражения хищных соседей... Судопроизводство находилось в руках владельцев»[2].

Особенно большой интерес Пушкин проявил к проблемам переходного периода от феодализма к капитализму. Для Пушкина было ясно, что общественный строй России не может остаться без изменений.

Изучая буржуазный строй западных государств, Пушкин пришел к выводу, что положение трудящихся масс в этих странах не лучше положения крепостных крестьян в России.

«Прочтите, — писал Пушкин, — жалобы английских фабричных работников: волоса встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое хо-

---

[1] Пушкин. Соч., т. 6, стр. 205—206.

[2] Там же.

лодное варварство с одной стороны, с другой, какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет; дело идет о сукнах г-на Смитта или об иголках г-на Джаксона. И заметьте, что все это есть не злоупотребление, не преступление, но происходит в строгих пределах закона»[1].

Не утратили своей значимости и по сегодняшний день заметки Пушкина об американском образе жизни, которым так чванливо кичатся новоявленные претенденты на мировое господство — американские империалисты.

В сочинении «Джон Теннер», напечатанном в «Современнике», Пушкин писал: «С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих... С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (комфорт); ...рабство негров посреди образованности и свободы»[2].

В буржуазном обществе, основанном на частной собственности, действительно «все благородное и бескорыстное» попирается господствующими классами, главный смысл существования которых состоит в личном обогащении.

Большая заслуга Пушкина перед человечеством, которая не потеряла своего значения и приобрела еще большую актуальность в наши дни, состоит в том, что Пушкин дал меткую, убийственную характеристику буржуазной демократии — демократии по форме и тирании финансистов по существу.

Пушкин отмечает несправедливые решения американского конгресса, которые осуждаются передовыми, честными людьми. «Явная несправедливость, ябеда и бесчеловечие Американского Конгресса, — подчеркивает Пушкин, — осуждены с негодованием»[3].

---

[1] Пушкин, соч. т. 5, стр. 206.
[2] Пушкин. Соч., т. 6, кн. 1, стр. 206.
[3] Там же, стр. 207.

Друг Пушкина, поэт Вяземский, называл все буржуазные конгрессы «кузнецами оков народных»[1].

Буржуазная продажная пресса, не уставая, твердит, что американский образ жизни является лучшим в мире, который будто бы, обеспечивает преуспевание и благоденствие всем членам общества. Современные буржуазные экономисты умышленно замалчивают нищету и бесправие трудящихся масс в США.

Английский экономист Томас Мальтус пытался доказать, что нищета трудящихся масс объясняется тем обстоятельством, что производство предметов потребления отстает от прироста населения в обществе. Все события общественной жизни, которые вели к сокращению населения, Мальтус считал положительными, ибо они, по его мнению, вели к установлению соответствия между населением и предметами потребления.

Буржуазные экономисты современной империалистической Америки, вроде Вильяма Фогта, пытаются воскресить и развить, применительно к потребностям финансовой олигархии, эти сумасбродные, человеконенавистнические идеи.

В. Фогт корень зла видит не в экономической системе, существующей в США, а в чрезмерно быстром росте населения. Важнейшим средством к спасению человечества Фогт считает сокращение населения любыми средствами. Широкое распространение, по его мнению, должна получить «стерилизация».

Фогт понимает, что охотников следовать его советам найдется очень мало, поэтому он предлагает правительству установить премию, особенно для мужчин, «кто согласится на несложную операцию с целью стерилизации».

Рецепты, подобные фогтовскому, прописывают рабочему классу и другие буржуазные экономисты империалистической Америки.

Пушкин — мыслитель XIX века — стоит на голову выше современных буржуазных экономистов, для которых «вопрос заключается уже не в том, правильна или неправильна та

---

[1] В письме к Пушкину и А. И. Тургеневу поэт В. П. Вяземский писал: «Опять заведутся конгрессы, эти кузнецы оков народных». (Полное сбор. соч., изд. Акад. Наук СССР, т. XIII, стр. 13).

или другая теорема, а в том, полезна она для капитала или вредна, удобна или неудобна, согласуется с полицейскими соображениями или нет»[1].

Гений Пушкина увидел социальные контрасты в капиталистическом обществе в тот период, когда они были еще в зародышевом состоянии, когда они не достигли той остроты, которую мы видим в современной Америке.

Рассматривая экономические взгляды А. С. Пушкина, мы лишний раз убеждаемся в многогранности и широте взглядов одного из великих сынов Великого Русского Народа.

---

[1] К. Маркс. «Капитал», т. 1, изд. 1936 г., стр. 16.

П. БЕЙСОВ
доцент, кандидат филологических наук

ДЕЛО МОЗЕВСКОГО

(По архивным данным)

В сентябре 1826 года Николай I вернул А. С. Пушкина из ссылки в Петербург. С этого времени «освобожденный» Пушкин становится «свободным поднадзорным». Он опутывается бдительным надзором царя и его сподвижников—шефа жандармов Бенкендорфа, управляющего III отделением фон-Фока, а позднее — Мордвинова. За А. С. Пушкиным устанавливается тщательная агентурная слежка.

На протяжении одиннадцати лет своей жизни великий поэт находился под тайным надзором, нити которого сходились в руках венценосного жандарма.

Литература о Пушкине располагает большим количеством документальных данных, характеризующих отношение Николая I и III отделения к А. С. Пушкину. Они обобщены в работе М. К. Лемке «Муки великого поэта», который пишет: «Бенкендорф, Фок и Мордвинов—вот кто были приставлены к каждому его слову и шагу»[1]. Дополнительный материал приведен Б. Л. Модзалевским в книжке «Пушкин под тайным надзором», СПБ, 1922[2]. В этих работах даже не названо дело Мозевского, возникшее в то время, когда Николай I был занят следственным делом декабриста В. Ф. Раевского и делом об отрывке из элегии Пушкина «Андрей Шенье», известном в рукописной литературе под названием «14 декабря». Штабс-капитан Мозевский обвинялся в распространении «возмутительных произведений» декабриста В. Ф. Раевского.

Во время следствия возник вопрос и о распространении вольнолюбивых произведений А. С. Пушкина. Следствием руководил Николай I, вникая во все мелочи дела.

9 ноября 1827 года мичман Николай Дюмутье, «движимый ревностью чувств ко благу отечества и как верноподанный», написал из Симферополя, где находился, донос на штабс-капитана 37-го Егерского полка 3-го батальона

---

[1] Примечания см. в конце статьи.

Мозевского. В этом доносе на имя Бенкендорфа сообщалось о том, что Мозевский, занимая в городе Тирасполе караулы, «имел случай свести дружбу с арестованным и посаженным на гаубвахту майором Раевским. Не говоря о противозаконных действиях и различных пособиях, делаемых Раевскому, он имел еще от него в память дружбы разрушительные сочинения, — одно из таковых представить честь имею, — которые всеми силами старается рассевать между офицерами и частными людьми, а имея случай говорить о Раевском, с жаром оправдывая поведение его, обвиняет правительство в несправедливом и насильственном к нему притязании. Зная сколь опасны таковые действия на пылкие характеры и зыбкую нравственность молодых людей», Дюмутье и счел «своим священным долгом донести о таковых противузаконных поступках штабс-капитана Мозевского»[3].

К доносу были приложены стихи В. Ф. Раевского «Итак я здесь, за стражей я!» (т. е. «Послание друзьям в Кишинев»).

1 декабря 1827 года извет и стихотворение были в руках Бенкендорфа, а 2-го декабря у Николая, который в тот же день дал распоряжение об аресте Мозевского. Так возникло дело «О доносе мичмана Дюмутье на штабс-капитана Мозевского, рассевавшего между офицерами и частными людьми возмутительные сочинения майора Раевского».

Николай I и Бенкендорф имели все основания заинтересоваться этим делом: в нем шла речь о В. Ф. Раевском и Пушкине; следственное дело одного только что закончилось, а второго — было в разгаре.

Владимир Федосеевич Раевский известен как «первый декабрист», арестом которого начался разгром Южного общества декабристов. Раевский был близок к Пестелю. Он близко сошелся с Пушкиным, высланным весною 1820 года из Петербурга на юг России.

6 февраля 1822 года В. Ф. Раевский был арестован за систематическую политическую революционную пропаганду среди солдат и юнкеров и заключен в Тираспольскую крепость. Пушкин, случайно узнав о готовящемся аресте декабриста, предупредил его об этом. Раевский, благодаря этому предупреждению, успел уничтожить компрометирующие бумаги.

На следствии и суде «первый декабрист» вел себя стойко, говорил смело и резко. Он был обвинителем своих судей.

Александр I, пытаясь склонить Раевского на измену, обещал ему свободу и царскую милость, но декабрист отверг это предложение, преданное ему начальником штаба 2-й армии генералом Киселевым. «Вы предлагаете мне шпагу за предательство», — негодованием сказал Раевский Киселеву. Он не назвал ни одного имени и этим спас тайное общество декабристов от разгрома в 1822 году. «Тайна оставалась тайной и только 14 декабря 1825 года она объяснилась на Сенатской площади», — писал декабрист впоследствии. Раевский был приговорен к смертной казни. Во время пребывания в крепости и после вынесения смертного приговора им был написан ряд произведений, которые, благодаря друзьям Раевского и, в частности, Пушкину, а ему были адресованы некоторые из них, стали распространяться в рукописном виде, сделались достояние потайной литературы.

В истории русской общественной мысли и русско литературы потайная рукописная литература имела большое значение. Вольнолюбивые произведения, презревшие печать, заносились в заветные тетради, переходили из рук в руки и создавали поэтам заслуженную славу. О том, какое значение имели эти произведения писал Герцен, вспоминая это время.

«Литература у народа, не имеющего свободы, является единственной трибуной, с высоты которой он мог бы услышать крик своего негодования и собственного сознания. Ее влияние на устроенное таким образом общество приобретает размеры, каких в Западной Европе давно уже не существует. Революционные произведения Рылеева и Пушкина расходятся по рукам молодежи далеко за пределы столицы. Нет ни одной хорошо воспитанной барышни, которая не знала бы их наизусть, нет ни одного офицера, который бы не имел их у себя в походном ранце, или сына священника, который не переписал бы их по крайней мере в двенадцати экземплярах. В последнее время этот пыл поостыл, так как они уже отжили свое, зато все это поколение испытывало на себе живое и молодящее влияние вышеупомянутой поэзии»[4].

Революционные произведения Рылеева, Пушкина расходятся в рукописном виде по всей стране и оказывают на молодежь «живое и молодящее» влияние. Такое же влияние оказывали и произведения декабриста В. Ф. Раевского. Особой популярностью пользовалось его «Послание к друзьям», написанное в 1822 году, через семь месяцев после заключения в Тираспольскую крепость. Это произведение — один из

ярких памятников русской потаенной литературы. Искренность и сила чувства певца в темнице сочетается с страстным протестом против произвола и самовластья. Поэт верит в силу народа. Он верит также и в силу поэтического слова, в силу слова Пушкина. В «Послании к друзьям» дана законченная эстетическая программа общественного служения поэта. Это произведение, известное III отделению также и под названием «Рылеев в темнице», доставляло много хлопот как Бенкендорфу, так и Николаю I. Только что было закончено дело о распространении «зловредных сочинений» среди студентов Харьковского университета, которые распространяли, в частности, и произведение В. Ф. Раевского «К друзьям», как возникло дело по доносу Дюмутье, присланному из Симферополя. И опять по тому же поводу.

Приговоренный к смертной казни в 1822 году, Раевский продолжал сидеть в крепости и не столько защищался сколько нападал на своих судей. В крепости он вёл деятельную революционную работу. Несмотря на репрессии, произведения «Певца в темнице», написанные в Тираспольской крепости, распространялись по всей России. После 14 декабря Раевского по приказанию Николая I перевезли в Петербург и заключили в Петропавловскую крепость. К этому времени смертная казнь была заменена наказанием, предложенным генералом Сабанеевым, злейшим врагом декабриста—заточением в Соловецкий монастырь.

13 июля 1826 года, в день казни пяти декабристов, в Петропавловскую крепость явился дежурный генерал главного штаба и от имени Николая I предложил В. Ф. Раевскому на выбор: либо принять заточение в монастырь, — либо остаться при своем мнении, т. е. требовать нового рассмотрения дела. В последнем случае если он окажется виновным, то будет сурово наказан. Раевский подтвердил свое требование о пересмотре дела. «Первый декабрист» был направлен в крепость Замостье в царстве Польском. Его дело было передано великому князю Константину Павловичу. Комиссия при крепости Замостье нашла улики против обвиняемого мало убедительными и вынесла приговор: «Освободить майора Раевского из заключения с вознаграждением или без вознаграждения за службу, а ежели за тем остаются какие-либо подозрения, которых из дела не видно, то отправить в свое имение под надзор начальства». Приговор был утвержден Константином, но с ним не согласился Николай I, занимавший-

ся в это время делом харьковских студентов, распространяющих «зловредные» сочинения В. Ф. Раевского[5]. Дело было передано на пересмотр Михаилу, который пришел к выводу, что поведение подсудимого, образ мыслей и поступки «столь важны, что он по всем существующим постановлениям подлежал бы лишению жизни». В качестве милости он находит возможным, лишив Раевского «всех знаков отличия, звания дворянина, удалить его, как вредного в обществе человека, в Сибирь на поселение».

15 октября 1827 года Николай I утвердил это заключение. «Спокойно я выслушал мою конфирмацию перед польскою бригадою, — пишет В. Ф. Раевский, — скинул мой военный мундир и как поселенец отправлен в Сибирь под строгим надзором, на почтовых. В Иркутске уже знали и ожидали моего приезда. Я был встречен с любопытством, вниманием и, со стороны начальников, очень вежливо»[6]. Для декабриста начиналась новая жизнь, жизнь поселенца. Казнью пяти декабристов открывается николаевская эпоха, которая удачно названа Герценом «моровой полосой». Это было время, когда, по его же словам, «все передовое и энергическое вычеркнуто из жизни». Так был вычеркнут из жизни и Владимир Раевский. Но «гордое терпенье», «скорбный труд и дум высокое стремленье» «первого декабриста» не пропали даром. Голос «Певца в темнице» продолжал звучать и тревожить сердца людей и в эпоху «моровой полосы». В то время, когда В. Ф. Раевский только что был отправлен из крепости Замостье под строгим надзором в Сибирь и был еще далеко от места своего назначения, а шеф жандармов и Николай полагали, что окончательно сломили эту поистине неукротимую натуру и вычеркнули поэта-декабриста из жизни, поступил донос Дюмутье. Мы отметили выше с какой быстротой реагировали на это Бенкендорф и Николай. Одновременно с распоряжением об аресте было дано указание немедленно приступить к следствию. Первый допрос был произведен вице-адмиралом Грейгом, который 5 января 1828 года сообщал начальнику штаба подробности этого дела. По словам Дюмутье, Раевский и Мозевский были друзьями и последний, с успехом выполняя обещание, данное им заключенному декабристу, распространял его произведения, чем и стремился «приготовить волнение умов к будущему».

Однажды Мозевский, быв дежур-майором, вошел в комнату Дюмутье со словами: «Вот действие несправедливости

правительства». При этом он отдал мичману сочинение Раевского, сказав: «перепишите его, это стоит всякому иметь»[7]. Мозевский отрицал связь с Раевским. Он заявил, что стихи Раевского «Итак я здесь» (т. е. «Послание друзьям в Кишинев».—П. Б.) и два его «Протеста», обнаруженные при аресте у штабс-капитана, были взяты им в 1822 году «во время бытности его в карауле на гаубвахте, где содержался Раевский, без позволения его и с первого переписано ему, Мозевскому, поручиком Милюковым, который подлинник оставил у себя; сочинение сие и помянутые Протесты имел он, Мозевский, для поправления своего недостаточного воспитания».

Грейг приходит к выводу о том, что Раевский и Мозевский «имели между собой какую-то непозволительную связь». После этого дело Мозевского поступило к Бенкендорфу. 2 февраля 1828 года комендант Петропавловской крепости Сукин в докладной на имя шефа жандармов сообщает, что Мозевский, поступивший к нему 2 февраля для содержания в крепости, «принят и направлен в особый арестантский покой в Кронверкской куртине»[8]. Дело пошло убыстренными темпами и задерживалось только болезнью арестованного. При новом допросе Мозевский продолжал стоять на своем, утверждая, что стихи поэта-декабриста он имел «единственно для выговору словесности. . . Сущности же их по слабому уму и воспитанию объяснить не могу». Что касается «Протестов», то они взяты, якобы, без ведома автора, в то время, когда Мозевский был в карауле в 1822 году на гауптвахте, где содержался под арестом «Первый декабрист». «Протесты» были взяты любознательным дежур-майором «для того, что в оных были грамматические правила и протчие ученые и классические замечания, дабы с оного позаимствовать замечаниями полезными и тем поисправить недостаток своего воспитания»[9].

Выяснилось также, что произведения «Певца в темнице», кроме Дюмутье, переписал себе на квартире Мозевского поручик Антон Милюков, их читал, стоящий на карауле в крепости, подпоручик Айдаров.

Эти факты с очевидностью свидетельствуют о роли поэтических произведений «Первого декабриста», о путях распространения его произведений.

По приказанию Николая сосланному декабристу были посланы 25 мая 1828 года в Иркутск вопросные пункты. Указывая на то, что он не был в дружественных отношениях с

Мозевским, Раевский писал в ответ на эти вопросы: «За давностью времени припомнить не могу какие он от меня бумаги или стихи брал... Черновики мои, бумаги по переписке оных мог от меня иметь, но я хорошо не помню, давал я ему означенные бумаги или нет... Особой приязни ни с кем не имел, будучи слишком озабочен своим тогдашним положением»[10].

В действительности же Раевский проводил в крепости значительную революционную работу, направленную против «самовластительного злодея». Одним из подтверждений этого и является дело Мозевского. Анализ материалов, отобранных у Мозевского, свидетельствует о том, что Раевский занимался с ним по истории, политике, географии, астрономии и литературе. Мозевский был прав, утверждая, что заимствовал полезные правила для исправления недостатка воспитания. Но прав отчасти, не указывая, по естественной причине, того, что его учителем был Раевский, под диктовку которого был переписан один из его «Протестов», а затем были исправлены учителем же грамматические ошибки. Не мог сказать он и о том, что Раевский диктовал своему оргинальному ученику для усвоения правила, что большая буква ставится в начале каждой строчки стихов, выдержки из своего «Послания к друзьям», что он же давал определение политики, объяснение таких слов, как Республика, карбунар, Вашингтон, Франклин, рабство и многое другое. У Мозевского оказалась также и выдержка из стихотворения Гнедича «Перуанец к испанцу», которую Раевский использовал и в ланкастерской школе. Все это говорит о том, что в действительности между заключенным декабристом и Мозевским была «особая приязнь», что он в память дружбы, выполняя обещание, данное «Первому декабристу», готовил «волнение умов к будущему», распространяя его «Протест» и стихи.

Николая I и Бенкендорфа привлекли, однако, не только стихи Раевского, но и стихи Пушкина, обнаруженные у Мозевского. Когда происходило следствие по доносу Дюмутье, Николай уже имел определение суда, а затем и Сената о распространении отрывка из элегии «Андрей Шенье», озаглавленного в рукописи «14 декабря». Правительство Николая было убеждено, что эти стихи посвящены восстанию декабристов. Следствие было начато еще в августе 1826 года. За распространение этих стихов был схвачен прапорщик Молчанов, который дал эти стихи для списывания некоему канди-

дату прав Леопольдову. Молчанова арестовали, допрашивали, ничего сразу не добились, приказом 3 сентября исключили из гвардии и снова продолжали допросы. Требовали, чтобы он подтвердил авторство Пушкина. В конце концов он сказал, что знает, что «стихи действительно написаны Пушкиным»[11]. Поэт был вызван из Москвы для объяснения по требованию военно-судной комиссии, которой было передано следствие по этому делу. Был также схвачен штабс-капитан Алексеев, передавший стихи Молчанову. Военно-судная комиссия приговорила Алексеева к смертной казни. Приговор этот был смягчен: Алексеева выдержали месяц в крепости и перевели в армию. Леопольдова суд приговорил к лишению его личного дворянства и ссылке в кандалах на каторжные работы.

Пушкин от показаний воздержался до представления ему стихов. После их представления написал объяснение, указав, что это отрывок из его элегии «Андрей Шенье», напечатанной с пропуском этого места в собрании стихотворений, изданном в 1825 году. Это не удовлетворило Аудиториатский департамент, который признал необходимым потребовать у Пушкина объяснений через суд. Николай утвердил это определение. Пушкин в своем показании суду отрицал связь произведения с восстанием декабристов, а на требование дать объяснение почему произведение, непропущенное цензурой, стало ходить по рукам, 24 ноября 1827 года отвечал, — что он и «не думал делать из него тайну». После военно-судной комиссии дело перешло в Сенат, который определил: «Избавя Пушкина от суда и следствия, обязать подпискою, дабы впредь никаких своих творений без рассмотрения и пропуска цензуры не осмеливался выпускать в публику под опасением строгого по законам взыскания». Государственный совет, куда поступило это дело, этим не удовольствовался, а признал еще необходимым, чтобы « по неприличному выражению его в ответах на счет происшествия 14 декабря 1825 года и по духу самого сочинения, в октябре 1825 года напечатанного, поручено было иметь за ним на месте жительства секретный надзор»[12]. Это мнение Государственного совета было утверждено царем только 28 июля 1828 года. Такая задержка объясняется тем, что в это время заканчивалось следствие о тайном обществе братьев Критских. Когда на одном из заседаний кружка московских студентов в мае 1827 года зашла речь об учреждении тайного политического

общества, то один из участников, студент Михаил Критский, предложил избрать в председатели общества А. С. Пушкина[13]. Почти одновременно возникло и велось до августа 1827 года дело о студентах Харьковского университета за распространение «зловредных» сочинений, среди которых основное место занимали произведения А. С. Пушкина и В. Ф. Раевского. Весьма ценно показание одного из привлеченных студентов, заявившего, что «вольных сочинений Пушкина или выданных под его именем, у редкого студента не находится»[14]. Закончилось следствие по указанным делам, в которых фигурировало имя Пушкина, — пришел донос Дюмутье. В бумагах, отобранных у Мозевского, были обнаружены вольные сочинения Пушкина и «Послание к друзьям в Кишинев» В. Ф. Раевского, которое имело прямое отношение к Пушкину. Это произведение уже было известно III отделению: оно распространялось среди студентов Харьковского университета. Везде у всех на устах было имя Пушкина, оно стало олицетворением непреклонности, политическим знаменем, борющихся против самовластья. С особой силой звучали призывные слова «Певца в темнице» — Владимира Раевского, с которыми он обратился к «Певцу Кавказа» «из мрачных сводов заключенья», в своем «Послании к друзьям»:

Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как явный заговор,
Как преступление на плаху,
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шопотом роптать.
Пора, друзья, пора воззвать
Из мрака век полночной славы
Царя-народа, дух и нравы
И те священны времена,
Когда гремело наше вече,
И сокрушало издалече
Царям кичливым рамена[15].

Николай и III отделение не могли не знать, что эти строки адресованы «Певцу Кавказа» — Пушкину.

В отобранных у Мозевского бумагах находились также стихи «К временщику», «Ода на свободу», «Деревня», «Па-

ситесь, добрые народы». На вопрос о том, «от кого достались эти стихи и для чего оные у себя имели?» — Мозевский объявил, что «Деревню» он взял у Дюмутье «взамену стихов Раевского», а что касается «Оды на свободу» и «К временщику», то «сии сочинения я видел у прапорщика Толмачева 3-го, 37 Егерского полка 3 батальона в тетрадках, привезенных им из кадетского корпуса, где он воспитывался. Поименованные сочинения писаны в тетрадку его рукой, которые стихи я велел выписать из означенной тетради и для себя баталионному писарю 37 Егерского полка 3 батальона Даниле Коцину». Эти стихи были переписаны также поручиком Козиным, штабс-капитаном Бавицким. Переписал их для себя и подпоручик 35 Егерского полка Рюмин.

Свое показание Мозевский заканчивает словами: «На какой счет сии стихи то мне неизвестно. Я же сии стихи имел не для чего иного как для выговору отечественной словесности, в которой я по бедному моему воспитанию имел весьма мало сведений». Поручик Рюмин при допросе заявил, что насколько он помнит Мозевский давал писарю переписывать для себя «Оду на вольность», «Ермак» Дмитриева и Баркова. При ответе поручик приложил стихотворение «Ермак», переписанное рукой Мозевского. Что касается писаря, то он показал, что действительно переписывал для Мозевского стихи, но «не заключающие в себе никакой важности, и сколько могу припомнить оные были: «Ермак» сочинение Дмитриева и описание веселой жизни какого-то буяна соседа, неизвестного мне сочинителя»[16]. Ни «Деревни» ни «Оды на свободу» писарь не называет. Прапорщик 37 Егерского полка Толмачев был допрошен 2 марта 1828 года. Он должен был объяснить какие стихи были привезены им при выпуске из 1 Кадетского корпуса, какие были даны для переписки штабс-капитану Мозевскому и еще кому из офицеров были даны стихи для переписки. Толмачев был выпущен офицером из 1 Кадетского корпуса в 1823 году. Приехав в полк, он привез с собой разные стихи, выписанные во время пребывания в корпусе из книг тамошней библиотеки. Он брал также стихи и у своих товарищей. «Между этими стихами, — показывает Толмачев, — имел несчастие выписать и стихи сочинения Пушкина, которых, не зная цены по своей неопытности и молодости и после давал без всякой цели с прочими стихами господину штабс-капитану Мозевскому выписывать. Но в 1824 году, узнав оных худую цель

тогда же сжег таковые и теперь у себя никаких подобных не имею. И по давности времени сколько могу упомнить, то смысл оных был: кончина французского короля Людовика XVI. Вообще же оные заключали некоторое рассуждение о правлении. После и прежде дачи оных г-ну штабс-капитану Мозевскому я никому оных не давал»[17].

Стихи Рылеева Толмачев даже не называет. Причина понятна.

Внимание Николая, через руки которого проходил весь этот материал, привлекли стихи «Паситесь, добрые народы». От Мозевского было затребовано объяснение: кем стихи писаны, кем сочинены и для какого предмета? Сии стихи, — отвечал он, — я слышал из уст 37 Егерского полка от подпоручика Малиновского в 1817 году, который умер в 1821 г. Стихи же сии я писал своей рукой, когда еще учился писать, которые помнится мне, что говорил Малиновский, что оные сочинены каким-то Пушкиным»[18]. Стихотворение, о котором идет речь, находится в бумагах Мозевского — в папке вещественных доказательств. Привожу его.

Паситесь, добрые народы.
Вас не разбудит чести клич.
На что стадам дары свободы,
Их надобно резать или стричь.
В потомство из рода в род
Ярмо с гремушками иль бич!

Утверждение Мозевского о том, что эти стихи он слышал в 1817 году, явно не соответствует действительности: они приведены А. С. Пушкиным в письме к А. И. Тургеневу 1 декабря 1823 года. Цитируя выдержки из своей оды «На смерть Наполеона» он писал: «Впрочем это мой последний либеральный бред; я закаялся, и написал на днях подражание басни умеренного Демокрита». После этих слов Пушкин приводит текст стихотворения «Свободы сеятель»[19]. Письмо к Тургеневу быстро пошло по рукам, а вместе с ним и стихотворение. Впервые оно было напечатано в «Полярной звезде» на 1856 год, в разделе «Неизданные стихотворения А. С. Пушкина». Но задолго до этого оно было широко известно русскому обществу. Так, в одном из первых донесений из Москвы только что назначенного агента Бенкендорфа — полковника жандармского полка И. П. Бибикова — нахо-

дим следующее: «Присоединяю здесь стихи, которые ходят даже в провинции и которые служат доказательством того, что есть еще много людей зложелательных:

Паситесь, русские народы,
Для вас не внятен славы кличь
Не нужны вам дары свободы, —
Вас надо резать — или стричь[20].

Имя Пушкина, как автора этих строк, еще не названо в этом донесении, датированном 8 марта 1826 г. В 1827 году в бумагах Мозевского, как было сказано выше, также обнаружены эти стихи, но в несколько иной редакции. В этом нет ничего удивительного, если мы укажем на то, что в действительности и было две редакции этого произведения. Кроме текста из письма А. Тургенева, эти же строки, но в несколько иной редакции, встречаются в черновой тетради Пушкина 1823 г. Это произведение близко по теме ответному посланию Пушкина на послания декабриста В. Ф. Раевского из Тираспольской крепости.

М. А. Цявловский, установивший, что послание Пушкина «Ты прав, мой друг, напрасно я презрел», было адресовано «Первому декабристу», утверждает, что Пушкин, в ответ на призывы «Певца в темнице», пишет строфы (начиная с шестой), полные глубокого пессимизма. Заключительная строфа уже намечает тему стихотворения «Свободы сеятель пустынный», которое таким образом по своему происхождению является последним ответом поэта на обращение к нему не смирившегося и в тюрьме поэта-декабриста»[21].

Почти к такому же выводу приходит и Ирина Медведева, впервые опубликовавшая сводные тексты пушкинских произведений, прочитанные ею с С. М. Бонди, для нового академического издания. Тема «разочарования» у Пушкина в его послании к Раевскому «заменяется проблемой отношения к людям и политической борьбе. В наброске послания — тема конфликта поэта и толпы. Толпа — это «избранники молвы», «ничтожный блеск» которых обманул вдохновенного проповедника «правды и свободы», говорившего с ними «языком души». В последних строфах послания — зерно темы «политической басни», «Свободы сеятель пустынный»[22]. Таким образом, оба исследователя сходятся на том, что «Свободы сеятель» является откликом Пушкина на послания поэта-декабриста. Разрабатывая эту тему в другом черновом

произведении, близком по теме к посланию В. Ф. Раевскому, мы находим интересующие нас строки:

Вы правы, мудрые народы!
К чему спасенья вольный клич?
Стадам не нужен дар свободы,
Их надо резать или стричь,
Наследство их из рода в роды,
Ярмо с гремушками да бич[23].

Стихи эти проникнуты глубокой горечью.

Пушкин глубоко переживал разгром Кишиневского отделения общества декабристов и арест его активного деятеля В. Ф. Раевского. Для него уже в то время была ясна обреченность борьбы декабристов, не опиравшихся на реальные силы в борьбе с самовластьем. Эти события и обусловили направленность «Свободы сеятеля». С другой стороны, в этом произведении нашли также отражение настроения Пушкина, вызванные разгромом освободительного движения на Западе, в частности, в Испании и Италии, которое поэт изучал весьма внимательно и живо откликался на события в своих письмах и произведениях («Сказали раз царю», «Вещали книжники, тревожились цари», письмо Гнедичу 4 декабря 1820 г. и т. д.).

«Свободы сеятель» стало достоянием тайной рукописной литературы и здесь приобрело иное общественное звучание. Первая часть его, в которой выражено разочарование «Свободы сеятеля», отброшена (что мы видели в тексте Бибикова и Мозевского). В силу этого заключительная строфа воспринималась как самостоятельное произведение. Произведение «Свободы сеятель» переосмыслялось и приурачивалось к русскому обществу. В нем усиливался сарказм, бичевание пассивности общества. Произведение играло революционизирующую роль. Это подтверждается тем, что Бибиков приводит «Паситесь, русские народы» в своем донесении, говоря о «бунтовщических стихотворениях, которые разносят пламя восстания во все сословия» и в подтверждение существования «людей зложелательных», а Николай и III отделение приобщают это произведение во время следствия над Мозевским к таким произведениям, как «К временщику», «Ода на вольность», «Деревня», «Послание к друзьям».

Пушкину не пришлось давать объяснения по поводу этого отрывка. Удачный ответ Мозевского, сославшегося на

Малиновского, умершего в 1821 году, прекращал следствие по этому вопросу. Тем более, что у Николая не было данных приписать его Пушкину: произведение было не подписано, а ссылка на умершего Малиновского, данная к тому же в уклончивой форме, не давала возможности вовлекать и это дело в следствие о произведении «14 декабря». Дело Мозевского еще раз подтверждает то, что уже известно нам из писем и показаний декабристов: огромное революционное, воспитательное значение пушкинской поэзии. Новым было только, пожалуй, то, что это влияние не ослабевало, а ширилось. Одновременно вырисовывалось и значение поэзии декабриста В. Ф. Раевского, воззвавшего к Пушкину из стен глухой темницы. Они были разлучены. Один уже несколько лет дышал «темничною заразой», был «жертвой зверской власти», а другой был «свободен», но их произведения выполняли одну и ту же роль. Николай и Бенкендорф бессильны были помешать этому.

Дело о Пушкине, так затянувшееся, и о Мозевском было решено почти в одно время.

28 июля 1828 года Николай, наконец, утвердил мнение Государственного совета. От Пушкина была отобрана подписка, что он ничего не будет печатать без одобрения цензуры. Одновременно было дано указание главнокомандующему в Петербурге и Кронштадте графу Толстому об учреждении тайного надзора за поэтом.

Не пройдет и двух месяцев как Пушкин напишет в «Предчувствии»:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливой бедою
Угрожает снова мне...

По требованию Петербургского митрополита началось дело о «Гаврилиаде».

Что касается Мозевского, то его дальнейшая судьба такова. В июне 1828 г. граф Толстой в докладной записке на имя Бенкендорфа предложил отправить штабс-капитана «на службу в Кавказский корпус». Шеф жандармов не мог решить этого вопроса самостоятельно, поскольку делом занимался сам венценосный жандарм. В июле Николай приказал

оставить Мозевского «еще на 3 месяца в крепости... в наказание».

По истечении этого срока Николай собственноручно написал на рапорте: «Отправить в полк, где и служить за прапорщика. 19 октября, 1828 г.»[24].

Не был забыт и Владимир Раевский. Николай приказал запросить о нем Иркутского губернатора. В связи с этим была прислана такая справка о ссыльном декабристе: «Поселенец Раевской помещен в Иркутский округ, Идинской волости в селении Олонках, в 80 верстах от города. Ведет жизнь весьма уединенную, избегает всяких связей и знакомств, и кажется слишком поражен своим положением. Зимою занимается, сколько известно, книгами, летом огородом, который он завел и ботаникой. Поведения чрезвычайно скромного и по слухам имел намерение утруждать государя цесаревича исходатайствовать милость государя императора о позволении вступить рядовым в полк действующей армии»[25]. Читая эти строки, капрал на престоле, повидимому, был доволен. Пройдет только два года и имя декабриста Раевского опять напомнит ему, что поэт не вычеркнут из жизни, что он живет и борется[26].

Так расправлялись Николай и Бенкендорф с проявлением живой мысли. Они загнали в «каторжные норы», физически уничтожили цвет русской мысли, литературы. Как пауки они непрерывно плели ту, по удачному выражению П. Е. Щеголева, бесконечную серую пелену вокруг великого русского поэта, которая развертывалась во все течение его жизни и не рассеялась даже с его смертью[27].

Тяжелая рука Николая легла на русскую литературу. Россия тягостно молчала. Но в жизнь вступало новое поколение общественных деятелей. Сбывались пророческие слова великого русского гения:

> Не пропадет ваш скорбный труд
> И дум высокое стремленье.

ПРИМЕЧАНИЯ. М. К. Лемке, «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.», СПБ, 1908 г., стр. 465.

2. В этой же работе приведена библиография по данному вопросу. Есть материалы также в «Литературном наследстве», № 16/18 (1934 г.).
3. ЦАР. III отд., 1 ЭКСП, № 417. 1827 г., 135 лл.
4. Герцен, «К развитию революционных идей в России», изд. В. М. Саблина, стр. 87.
5. М. Цявловский, «Эпигоны декабристов», «Голос минувшего», 1917 г., № 7—8, стр. 76.
6. «Русская старина», 1902, март, стр. 601.
7. ЦАР, № 417, л. 12.
8. Там же, л. 71.
9. Там же, л. 21.
10. Там же, л. 110.
11. М. К. Лемке, «Николаевские жандармы и литература 1825—1855 гг.», СПБ, 1908, стр. 479, см. также Н. Л. Бродский, «Пушкин после ссылки», «Лит. учеба», 1937, № 1, стр. 29.
12. Там же, стр. 479—480.
13. М. Цявловский «Эпигоны декабристов». «Голос минувшего», 1917, № 7—8, стр. 101, см. также М. Лемке, «Тайное общество братьев Критских», «Былое», 1906, июнь.
14. Там же, стр. 100.
15. Там же, стр. 89, см. также П. Бейсов, «Поэт-декабрист В. Ф. Раевский (к 75-летию со дня смерти)», «Литературный Ульяновск», кн. 1-я, 1947, стр. 131. Здесь опубликован вариант «Послания друзьям в Кишинев».
16. ЦАР, № 417, л. 101. Речь идет об «Опасном соседе» В. Пушкина, получившем широкую известность в рукописных списках. Поэма написана примерно в марте 1811 года, в период наиболее острой полемики со «старовером» Шишковым и «Беседой любителей Российской словесности», открытой 14 марта 1811 года. В поэме полемические выпады против шишковистов переплетаются с изображением быта Москвы первого десятилетия XIX века.
17. Там же, л. 93.
18. Там же, л 16. Этот материал приведен в заметке — П. Бейсов, «Новое о распространении стихотворения Пушкина «Свободы сеятель», «Сибирские огни», 1938, № 5—6, стр. 144—145.
19. «Русский архив», 1866, стр. 655—656.
20. Б. Л. Модзалевский, «Пушкин под тайным надзором», СПБ, 1922, стр. 10. Надо полагать, что Бибиков не выписывал стихи из стихотворения Пушкина, как это утверждает автор данного исследования, а они были взяты в том виде, в каком бытовали в рукописной литературе.
21. М. А. Цявловский, «Стихотворения Пушкина, обращенные к В. Ф. Раевскому», «Пушкин. Временник», № 6, стр. 50.
22. И. Медведева, «Элегия 1820-х г. г. и «Демон», «Пушкин. Временник», № 6, стр. 56.
23. Ирина Медведева, «Два стихотворения Пушкина», «Лит. газета», 1937, № 8 (715).
24. ЦАР, № 417, л. 116.
25. Там же, л. 126.
26. См. П. Бейсов, «Тайное общество братьев Раевских», «Литературный альманах», кн. 2-я, Курское обл. издательство, 1940, стр. 270.
27. П. Е. Щеголев, «Пушкин», СПБ, 1912, стр. 227.

А. ГОРЕЦКИЙ.

А. С. ПУШКИН И БИБЛИОГРАФИЯ*)

Одному своему русскому корреспонденту Ф. Энгельс писал: «Когда мы изучаем... реальные экономические отношения в различных странах и на различных ступенях цивилизации, то какими странно ошибочными и недостаточными кажутся нам рационалистические обобщения XVIII века — хотя бы, например, доброго старого Адама Смита, который принял условия, господствовавшие в Эдинбурге и окрестных шотландских графствах, за нормальные для целой вселенной. *Ваш Пушкин уже знал это...*»[1].

Эти замечательные слова Ф. Энгельса ярко говорят об исключительной широте пушкинского кругозора. Многогранность пушкинского творчества, широта его умственных интересов, разносторонность его дарования носили характер подлинной энциклопедичности.

А. С. Пушкин, не будучи ни профессионалом-библиографом, ни специалистом-рецензентом, в своей творческой деятельности уделил место этим отраслям книговедения. Начиная с первых лет литературно-критической работы и кончая последними днями своей жизни, он интересовался и занимался библиографией.

Выдающийся русский библиограф В. С. Сопиков указал в свое время, что библиограф должен быть разносторонне образованным и просвещенным человеком, знать книгу и любить ее, быть ориентированным в ряде отраслей человеческого знания. Вот таким и был А. С. Пушкин. Жизнь поэта, его переписка, творческая и журнальная деятельность, наконец, состав его личной библиотеки — отчетливое и убеждающее свидетельство этого.

Творческая деятельность Пушкина в том числе и его библиографические занятия падают на 20—30-е годы прошлого столетия.

Это было время, когда свирепствовала реакция, но ничто не могло задушить ни общественного движения, ни литературы, ни прогрессивной периодики, ни библиографии. Послед-

*) Главы из работы под этим названием.

няя играла видную роль в тогдашней общественной жизни и представлена была, главным образом, в критико-библиографических отделах ряда журналов.

В. Г. Белинский в 1836 г., имея в виду значение библиографии в журналах, писал, что «библиография есть один из важнейших, необходимейших и полезнейших отделов журнала»[2].

В развитии и совершенствовании журнальной библиографии тридцатых годов определенное место принадлежит А. С. Пушкину. Пушкин, вернувшись после ссылки в столицу, в конце 20-х гг. усиливает борьбу с засильем реакционной булгаринской клики в литературе, о которой А. М. Горький в «Истории русской литературы» говорит: «...в литературе командует тройка оголтелых реакционеров — Греч, Булгарин, Сенковский. ...Нужно помнить, что вся реакционная журналистика того времени находилась в руках доносчика и шпиона Булгарина..., а во главе цензуры стоял жандарм Бенкендорф, мучитель Пушкина...». Естественно, что в это время борьба с монополией «Северной Пчелы», с булгаринской кликой в критике и литературе была боевой задачей журнально-публицистической, общественно-литературной деятельности Пушкина, определявшей направленность и его библиографических интересов, и занятий как в то время, так и позднее.

Борьба Пушкина с реакционным триумвиратом нашла свое выражение в ряде его статей, рецензий, заметок и в первую очередь в статьях «О записках Видока», «Торжество дружбы», «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» и др. и, несомненно, имела большое общественное значение. Большое значение имела также его борьба с дворянским космополитизмом. Пушкин, в творчестве которого отразился национально-патриотический подъем русского народа, вызванный войной 1812 года, которую поэт считал «величайшим событием новейшей истории», бичевал и клеймил безродных «переметчиков». Великий русский национальный поэт гневно писал о «переметчиках»: «для коих: где хорошо, там и родина, для коих все равно: бегать ли им под орлом французским, или русским языком позорить все русское — были бы только сыты...» («Торжество дружбы», 1831 г.).

Пушкин принимал деятельное участие в «Литературной Газете» и выступал в ней со своими статьями и рецензиями, а также позднее издавал журнал «Современник» и руководил в нем библиографическим отделом «Новые Книги».

Пушкин не примирился до конца жизни с крепостнической действительностью и постоянно был активным сторонником вмешательства литературы в жизнь, ее участия в тогдашней общественной борьбе, борясь за передовую идейность литературы своего времени.

Пушкин считал, что «народность в писателе есть достоинство... Все должно творить в этой России и в этом русском языке». Уже в это время Пушкин утверждал, что «не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности, литература наша далеко вперед не подвинется», — писал поэт в своей заметке «Д'Аламбер сказал однажды...».

Эти реальные общественные и литературные интересы Пушкина обусловили развитие плодотворной его деятельности в области критики, журнальной работы и библиографии. Во всей этой многогранной деятельности родоначальника русской художественной литературы прекрасно подтвердились замечательные слова В. Белинского, называвшего Пушкина не только выразителем своего времени, эпохи, но и мирообъемлющим гением, а также и глубоко проникновенное определение Горького, что «Пушкин у нас — начало всех начал». В этих действенных общественно-политических и общественно-литературных интересах Пушкина коренилась основа и его библиографических интересов и успешность его библиографической деятельности.

Любовь Пушкина к книге, к чтению сопровождала его с самых ранних детских лет и до последних дней жизни.

Уже самые ранние исследователи жизни и творчества Пушкина (1846. Белинский, 1855. А. Дружинин, 1873. П. Анненков и др.) утверждают, на основании произведений и писем поэта, любовь его к книге.

В день дуэли с Дантесом, 27 января 1837 года, поэт в письме к детской писательнице и переводчице А. Ишимовой, которую Пушкин намеревался пригласить для работы в «Современнике», писал: «...Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах, и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!..»*.

Книги из отцовской библиотеки поэта, явившиеся «искрой, внезапно оживившей Пушкина» в детском возрасте, сопутствуют ему на всем протяжении его короткой жизни: книги,

---

* «Русская история для детей», составленная А. Ишимовой.

чтение — восполняют недостатки лицейского образования, они же стимулируют его первые творческие опыты в области поэзии, драмы, критики; поддерживают и укрепляют поэта, сосланного на юг; расширяют и углубляют образовательный и познавательский кругозор поэта, привлекая его внимание к различным вопросам современной ему жизни и развивая его серьезные интересы к художественной литературе и истории прежде всего.

Как немногие из современников, Пушкин сумел быстро и широко овладеть культурным наследством, что сказалось и в его поэзии, начиная с ранних стихотворений, и в прозе. Произведения поэта—убедительное свидетельство огромной и всесторонней начитанности, показатель универсальности и многогранности умственных его интересов.

Отечественная наука и литература, мировая литература, история, география, политическая экономия, юриспруденция и др. отрасли знания, основные библиографические труды того времени — все это входило в круг читательских интересов Пушкина.

Библиофильскую струю в жизни поэта следует понимать в самом положительном смысле. Пушкин был чужд простому коллекционированию книг, наоборот, он считал, что «чтение — вот лучшее учение», он использовал книги, для того, чтобы стать просвещенным и образованным человеком.

А. Дружинин в своей работе «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений»[4], говорит о том, что: «Поэт читал много, читал с наслаждением, выписывая запасы книг из Петербурга и нетерпеливо поджидал их прихода»... «Он задумывался над прочитанным, делал отметки на страницах, выписывал в особые тетради то, что ему особенно нравилось...»

Письма поэта к Л. С. Пушкину, А. А. Бестужеву, П. А. Вяземскому, К. Ф. Рылееву, А. Дельвигу и др., ряд произведений поэта и материалы работы над ними, состав его личной сохранившейся библиотеки подтверждают справедливость этого.

Однако, Пушкин не стремился обогатить только себя; он, уважая читателя, по образному выражению одного из критиков, «становился в постоянные посредники между читающей публикой и всем тем, что его самого занимало».

В. Сопиков в «Предъуведомлении» к своему «Опыту российской библиографии» говорит, что «истинный библиограф» должен быть также и любителем книг: «библиофил, любитель

книг, библиограф, библиоман и библиотаф, на сие название, кажется, имеют одинакое право»[5].

Это замечание основоположника новой русской библиографии вполне применимо к гениальному поэту.

Наличие библиографических интересов, а не только одного библиофильства, у Пушкина иллюстрируется составом, сохранившейся далеко не в полном виде, его личной библиотеки*.

П. Анненков в «Материалах о Пушкине» (1873), имея в виду деятельность поэта в Михайловском (1825), отмечает, что «Библиотека его уже росла по часам: каждую почту присылали ему книги из Петербурга. Надо заметить, что Пушкин читал почти всегда с пером в руках: страницы русских альманахов и разных других брошюр были покрыты его заметками, теперь, к сожалению, не существующими»[6].

В книжном собрании, принадлежавшем поэту, были важнейшие библиографические издания (Бакмейстера, Сопикова, «Росписи» Калайдовича-Строева, Смирдина-Анастасевича). Подбор книг не носил узкого характера по своему содержанию. Художественная литература и история занимают более половины (свыше 800) по количеству книг. Много книг по философии, о путешествиях, по языкознанию. Беднее других представлены книги по естествознанию и медицине и всего около 20 книг по богословию. Универсальность библиотеки Пушкина дополнялась наличием сорока пяти названий периодической печати (журналов и газет) на русском и иностранных языках. Заметки на страницах книг, лаконичные, но существенные, оценки прочитанных книг в письмах, постоянные заботы о пополнении своей библиотеки и, связанный с этим, интерес к другим книжным собраниям (к библиотеке в Тригорском, к библиотеке родственников жены — Загряжских в Ярополье), нашедший свой отклик в письмах к жене,** свидетельствуют, что Пушкин любил свою библиотеку, любил книгу.

---

* См., Библиографическое описание и каталог библиотеки в работе Б. Модзалевского («Пушкин и его совр.», 1910, вып. IX—X) и исследование Л. Модзалевского. Библиотека Пушкина, новые материалы. «Лит. наследство», 1934, 16—18.

**В 1833 г. Пушкин, между прочим, писал жене: «. . .Я нашел в доме старую библиотеку, и Наталья Ивановна позволила мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три. . .»[7].

В другом письме к жене, он, сообщая ей свое времяпровождение, замечает, что «вечером езжу в Тригорское, роюсь в старых книгах»[8].

Поэтическим свидетельством библиографических интересов молодого Пушкина было большое (в 430 строк) послание «Городок», впервые напечатанное в «Российском Музеуме» в июле 1815 г. В литературном отношении пушкинское послание не является продолжением, а тем более подражанием традиции XVIII века, когда «Послания» писались с обязательным перечнем и характеристикой любимых писателей. У Пушкина в перечне литературных имен, часто скрытых под разными кличками, даны не только любимые (уважаемые) литераторы, но и авторы недостойных величия русской литературы произведений.

Пушкинские клички авторов, оценка их творений предельно лаконичны, резки, образны и убедительны.

В литературно-библиографическом отношении перед нами «Обозрение в стихах» лицеиста Пушкина, любящего читать, много уже прочитавшего из произведений отечественной и мировой литературы:

Один я не скучаю,
И часто целый свет
С восторгом забываю.
Друзья мне — мертвецы,
Парнасские жрецы,
Над полкою простою
Под тонкою тафтою
Со мной они живут...

В данном послании — стихотворном обозрении — Пушкин разбирается в качестве известных ему произведений, умеет их кратко, но существенно характеризовать: он владеет мастерством оценочного критерия и в своих оценках прав и справедлив. (Оценка Вольтера—«Фернейский злой крикун...», Крылова, рукописной литературы и др.).

Существенно то, что он характеризует и оценивает не только произведения, появившиеся в печати, но и рукописную литературу, произведения, которые в печать не попадали. Пушкин отмечает источник получения их и значение в жизни литературы:

Я спрятал потаенну
Сафьянную тетрадь.
Сей свиток драгоценный,
Веками сбереженный,
От члена русских сил,

Двоюродного брата,
Драгунского солдата
Я даром получил...

* * *

Нетрудно отгадать;
Так, это сочиненьи,
Презревшие печать.
Хвала вам, чада славы,
Враги парнасских уз!..

Пушкин не только характеризует отдельных литераторов, но отмечает, например, превосходство русских баснописцев над Лафонтеном:

Ты здесь — и Дмитрев нежный,
Твой вымысел любя,
Нашел приют надежный
С Крыловым близ тебя. —
Но вот наперсник милый
Психеи златокрылой!
О добрый Лафонтен,
С тобой он смел сразиться
Коль можешь ты дивиться,
Дивись: ты побежден!..

«Обозрение в стихах» — одно из самых ранних произведений поэта. Несомненно, оно включает авторские имена, известные молодому Пушкину, прочитанные им произведения, но, очевидно, не содержит даже всех известных ему литературных образцов. Это произведение Пушкина ценно тем, что подтверждает любовь поэта к чтению, его начитанность уже в ранние годы жизни, наглядно говорит нам о его литературно-библиографических интересах, оформившихся в это время в интересную и новую форму библиографических материалов, в «Обозрение в стихах».

Библиографические интересы Пушкина явление не эпизодическое, а тем более не случайное. Эти интересы свойственны ему в течение всей жизненной деятельности. Расширяя его творческий диапазон, обогащая общественно-политический и художественный кругозор, они находят свое раскрытие в библиографических занятиях, падающих, главным образом, на конец 20-х годов и на 30-е годы.

Библиографические занятия и их результаты можно проследить по сотрудничеству Пушкина в журналах, в борьбе

за издание своего собственного журнала и по работе в нем, в деятельном подготовительном труде над своими, главным образом, историческими произведениями (накопление материалов, работа в библиотеке, архивах), наконец, в поэтических произведениях.

Полнее всего библиографическая деятельность Пушкина проявилась в «Литературной Газете», издававшейся А. Дельвигом в 1830 году. Предельной высоты и наибольших результатов она достигает в «Современнике» в 1836 г. Пушкин находил время для сотрудничества в журналах, выступая на их страницах не только со своими произведениями в поэзии и прозе, но и с литературно-критическими, полемическими статьями, сатирами, очерками, направленными против отрицательных явлений в литературе и, прежде всего, против булгаринского засилия в литературе. Пушкин считал, что библиографические известия Греча и Булгарина не могут «установить какого-нибудь мнения в публике, не может почесться уложением вкуса...»[9].

Наряду с этим он писал рецензии, всегда отчетливые в своей направленности и совершенные по стилю и языку. Журнальные работы Пушкина представляют значительный интерес и необходимы при изучении его литературного творчества, для истории нашей критики, журналистики и библиографии.

Журнальное наследие (включая и ряд библиографических работ, опубликованных или предназначенных для опубликования в журналах) составляет более трети всех его сочинений. Значение его признавалось уже некоторыми из современников поэта, так в 1832 г. А. И. Тургенев в присланном Пушкину литературном альбоме сделал надпись: «Пушкину —журналисту». Всестороннее изучение пушкинского многогранного наследия в наше время привело к серьезному изучению и его журнальных работ, как необходимого звена при изучении пушкинского творчества.

Участие Пушкина в некоторых журналах того времени («Сыне Отечества», «Московском Телеграфе») не удовлетворяло его, как не удовлетворяло участие в возникшем в 1835 году, близком ему и его друзьям, «Московском Наблюдателе».

Пушкин стремился еще с 1824 года иметь свой периодический орган, который он мог бы использовать как средство

воздействия на общество, в борьбе с булгаринским триумвиратом и для защиты литературных прав своих и друзей.

Имея в виду характер предполагаемого журнала, Пушкин писал П. Катенину в 1826 г.:

«Вместо альманаха не затеять ли нам журнала... Голос истинной критики необходим у нас...»[10].

В письме к Плетневу (13.1.1831) Пушкин замечает, что: «...в России пишет один Булгарин...» и тут же выражает желание писать еженедельные литературные обозрения, но печалится, что для этого нет нужных условий у него, хотя и заключает эту мысль словами: «Впрочем посмотрим...»[11].

Несомненно, что своими обозрениями Пушкин стремился бить и по литературной монополии Булгарина.

Реальный библиографический интерес и забота о будущем библиографическом отделе газеты, которую предполагал издавать Пушкин, выражены в письме к И. В. Киреевскому (11.VII.1832). Поэт, желая взять в газете разбор новых книг, обращается с просьбой к И. В. Киреевскому, брату его и к Языкову: «Не оставьте меня, братие! Если вы возьмете на себя труд, прочитав какую-нибудь книгу, набросать об ней несколько слов в мою суму, то господь Вас не оставит... Напишите мне несколько слов... касательно предлогаемой газеты. Прошу у Вас советов и помощи...»[12].

Мысль о своем журнале и о необходимости дать отпор «щелкоперам» — булгаринскому триумвирату и о невозможности деловых связей с ним встречается в письмах к Н. Языкову (1834 г.) и П. Нащокину (1835 г.).

Но добиться разрешения на издание журнала или газеты Пушкину было нелегко*. Желание издавать журнал или газету в этих условиях перерастало в борьбу за издание прогрессивного журнала. На этот путь и стал Пушкин**.

В борьбе за свой журнал у Пушкина были перерывы, вызванные надеждами на основание «Московского Вестни-

---

* В письме к Н. Н. Пушкиной (21. IX. 1835) он писал: «...царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит бог, не могу...»[13].

** В письме к П. А. Вяземскому (3.IX.1831) Пушкин писал: «...Ты пишешь о журнале: да, чорта с два! Кто нам разрешит журнал? Фон-Фок умер, того и гляди поступит на его место Н. И. Греч. Хороши мы будем! О газете политической нечего и думать, но журнал ежемесячный, или четыремесячный, третейской можно бы нам попробовать, — одна беда: без мод он не пойдет, а с модами стать нам наряду с Шаликовым, Полевым и проч. — совестно...»[14].

ка» (1827), работой в «Литературной Газете» А. Дельвига (в 1830 г.), но своего намерения поэт не оставляет вплоть до начала издания им «Современника» в 1836 году.

В «Записке», представленной в 1831 г. в III отделение (Бенкендорфу) в связи с хлопотами по разрешению издавать газету «Дневник», в которой должен был быть также и отдел библиографии, Пушкин открыто и смело настаивал на необходимости «для восстановления равновесия в литературе» (имелось в виду монопольное владение периодикой булгаринского триумвирата) иметь независимый от триумвирата журнал. Здесь же Пушкин высказал мысли о праве журналиста-рецензента на мнение о книге и на роль читательской массы в оценке ее:

«Всякий журналист имеет право говорить мнение свое о нововышедшей книге, столь строго как угодно ему... Законом требовать от журналиста благосклонности или даже беспристрастия и нелицеприятия было бы невозможно и несправедливо. Автору осужденной книги остается ожидать решения читающей публики или искать управы и защиты в другом журнале. . .»[15]. В этой «Записке» Пушкин обобщил опыт своей работы в «Литературной Газете» и опыт борьбы газеты с булгаринским засилием в литературе.

Еще в конце 1829 года созрела мысль о новом периодическом органе. Ее разделял, не только добивавшийся в течение нескольких лет своего журнала Пушкин, но и ряд других писателей и критиков, представлявших собою лучшую часть тогдашней русской литературы*.

В период усиления реакционного курса николаевского режима и усилившейся карательной деятельности, особенно гнетущей для периодической печати цензуры и III отделения, утвердилась мысль об издании «Литературной Газеты».

А. С. Пушкин принимал деятельное участие в основании и в работе всех отделов «Литературной Газеты», включая и библиографический. Он стал подлинной «душой газеты».

Тяжесть издания и выпуска газеты ложилась на Пушкина, хотя официальным издателем-редактором и был поэт А. Дельвиг, но он, по верному определению своего двоюродного брата А. И. Дельвига, «менее всего годился в журналисты. . .»[16].

---

* Жуковский, Крылов, Баратынский, Плетнев, Дельвиг, Вяземский, Гнедич и др.

При выходе в свет первых номеров газеты Дельвига не было в Петербурге и единственным редактором был Пушкин, которому помогал Сомов. Если к этому добавить, что А. Дельвиг не отличался ни издательскими, ни редакторско-организационными способностями, то существование отделов «Библиографии» и «Смеси» (где тоже помещались библиографические материалы) обязано инициативе и труду А. С. Пушкина.

Пушкин считал, что «Литературная Газета» должна стать полем творческой деятельности для «писателей, не могших по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов...». В силу своих возможностей газета придерживалась этого.

«Литературная Газета» своими критическими и особенно полемическими статьями боролась с реакционной группой Булгарина—Греча, боролась за передовую общественную и литературную мысль.

Пушкин считал, что в «Литературной Газете» «...отражается русская литература» (из письма к Плетневу). Он печатал в ней свои художественные произведения, и развернул свою критико-библиографическую деятельность. Эти пушкинские материалы важны не только в критико-биографическом отношении, но и в плане развертывания первого этапа библиографической деятельности Пушкина. В первом номере газеты, вышедшем в свет 1 января 1830 года, наряду с отрывками из VIII главы «Евгения Онегина», была напечатана рецензия Пушкина о переводе романа Б. Констана «Адольф», а во втором номере, в отделе «Библиография», появилась первая пушкинская рецензия на перевод Н. Гнедичем «Илиады» Гомера. Вслед за ними последовали рецензии на «Историю русского народа» Н. Полевого, на роман Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 г.» и др. Всего Пушкин поместил в газете восемь рецензий, не считая статей и заметок.

Закрытие «Литературной Газеты» было для Пушкина неожиданным и поэтому много подготовлявшихся им материалов (полемических статей, критических очерков, отзывов) осталось нереализованным.

После закрытия «Литературной Газеты» Пушкин проектировал издание своей литературной и политической газеты «Дневник», с возглавляемым им библиографическим отде-

лом. Это желание не осуществилось и только в 1836 г. Пушкин стал издавать «Современник».

«Литературная газета» — орган пушкинской группы писателей и критиков — была первой жертвой правительственного террора. За первой жертвой последовали другие. В последующие годы были запрещены журналы «Европеец», «Московский Телеграф», «Телескоп». Особенно тяжелым для русской прогрессивной мысли и периодики был 1836 год. В этом году было запрещено издавать новые журналы. Издававшиеся журналы отличались своей бесцветностью и влачили жалкое существование. Н. Гоголь в этом же году в «Современнике» справедливо заметил, что: «может быть, давно у нас не было так резко заметно отсутствия журнальной деятельности и живого современного движения, как в последние два года...»[17].

Лучшие люди России того времени делали все возможное в этих условиях, чтобы поддержать жизнь прогрессивной, передовой мысли и найти для нее выход в соответствующем «живому современному движению» печатном органе.

В 1835 году Пушкин совместно с В. Одоевским разработали программу ежемесячника «Современный Летописец политики, наук и литературы». Это издание не осуществилось. Этот ежемесячник должен был стать универсальным журналом-обозрением.

В конце 1835 года Пушкин снова обратился через Бенкендорфа с прошением, в котором указывал: «Я желал бы в следующем 1836 году издать четыре тома статей чисто литературных, исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности... Издание такого «Обозрения» доставило бы мне вновь независимость, а вместе и способ продолжать труды мною начатые...»[18]. Журнал должен был состоять не только из литературных... исторических, ученых статей, но и из разборов произведений и авторов отечественной и иностранной литературы.

В январе 1836 года Пушкину было разрешено издавать журнал с условием, чтобы «сочинение проходило, по установленному порядку, через цензурный комитет».

Цензор Никитенко по этому поводу в своем дневнике (20 янв. 1836 г.) записал: «...Пушкину разрешено издавать журнал, в роде «Эдинбургского трехмесячного обозрения»: он будет называться «Современником». Цензором нового жур-

нала попечитель назначил Крылова, самого трусливого, а, следовательно, и самого строгого из нашей братии...»[19].

Журнал «Современник», сыгравший заметную роль в истории нашей журналистики, а позднее и в движении революционных демократов, как легальный орган передовой общественной мысли, своим возникновением обязан гениальному русскому поэту А. С. Пушкину.

Год начала выхода в свет «Современника» был для его основателя годом насыщенным творческими и научными занятиями и событиями в семейной жизни.

Подготовленные поэтом первые две книги журнала печатались вне личного наблюдения его и только за подготовкой и выходом в свет третьей книги он сам следил и наблюдал, что сказалось и на содержании ее. Можно сказать, что в смысле содержания, разнообразия и характера библиографических работ Пушкина, помещенных в нем — это лучший номер «Современника».

Став издателем журнала, Пушкин, сам находившийся и до этого под сугубым цензурным присмотром, должен был часто иметь общение с цензурным комитетом. Это обстоятельство в еще большей степени раскрыло ему тяжелое положение русской периодической печати, зависимой и угнетаемой разными категориями цензоров:

«...очищать русскую литературу есть чистить нужники и зависеть от полиции... Чорт их побери! У меня кровь в желчь превращается...»[20], возмущенно писал поэт Н. Н. Пушкиной в письме от 6 мая 1836 года из Москвы.

Тем с большей любовью относится Пушкин к журнальной деятельности и к своему детищу «Современнику».

В письме к Нащокину поэт писал:«...Второй № «Современника» очень хорош, и ты скажешь мне за него спасибо. Я сам начинаю его любить, и вероятно займусь им деятельно»[21].

Появление «Современника» приветствовал Белинский. «Современник» есть явление важное и любопытное, — писал Белинский, — сколько по знаменитости имени его издателя, столько и от надежд, возлагаемых на него одною частию публики, и страха, ощущаемого от него другого частию публики...»[22].

Пушкин, создавая свой журнал, понимал огромное общественное значение литературы, ее воспитательную роль, силу в деле просвещения. Он хотел лучшими силами тогдаш-

ней литературы и критики (Гоголь, Одоевский, Тютчев, Давыдов, Вяземский) противодействовать монополии в литературе агентуры самодержавия — (Булгарина, Греча и Сенковского). Это нашло свое подтверждение в извещении «От редакции», помещенном в т. IV «Современника» за 1836 год: «Современник», по духу своей критики, по многим именам сотрудников, в нем участвующих, по неизменному образу мнений о предметах, подлежащих его суду, будет продолжением «Литературной Газеты»...»

Программа «Современника», представленная Пушкиным в СПБ цензурный комитет, лаконично намечала, что «Журнал под названием «Современник» выходит каждые три месяца по одному тому», и что «в нем будут помещаться стихотворения всякого роду, повести, статьи о нравах и тому подобное.... критики замечательных книг русских и иностранных; наконец, статьи, касающиеся вообще искусств и наук...»[23].

Несмотря на многие неблагоприятные обстоятельства (общеполитическое положение страны, цензура, засилие булгаринской клики), журнал сохранил верность видвинутым программой положениям.

На жестокое цензурное угнетение и преследование журнала указал цензор Никитенко, записавший в своем дневнике: «Пушкина жестоко жмет цензура. Он жаловался на Крылова (цензор журнала,—А. Г.) и просил себе другого цензора... Ему назначили Гаевского... Гаевский до того напуган гауптвахтой, на которой просидел восемь дней, что теперь сомневается, можно ли пропускать в печать известия, в роде того, что такой-то король скончался...»[24].

Начиная с первой книжки, уделялось значительное внимание критико-библиографической части журнала. Так, в первом томе «Современника» напечатаны два разбора (литературного и научного характера) и открыт библиографический отдел — «Новые Книги». Во всех последующих номерах встречаются подобные же материалы. В журнале отводилось также место научным статьям (три статьи Козловского, В. Золотницкого, А. Емичева), мемуарной литературе и путешествиям, что подчеркивало универсальность пушкинского журнала.

В «Современнике» преобладающее место занимали пушкинские произведения и его критико-библиографические статьи. В журнале были напечатаны значительные произве-

дения Пушкина, а также восемь критических статей. Были напечатаны также предисловия, послесловия, информационные, полемические заметки и девять рецензий. Кроме того, шесть рецензий были предназначены для этого же журнала, но не были напечатаны. Особенно показателен третий том журнала, в котором напечатано три статьи Пушкина и четыре его рецензии*. Пушкин ввел в «Современнике» текущую библиографическую регистрацию книг. Пушкинский журнал был единственным в те времена журналом, который с момента своего возникновения и до конца уделял свои страницы известиям о новых книгах, и тем самым последовательно и систематически реализовал идею о библиографической текущей регистрации книг.

Текущая регистрация новых книг, систематически печатающаяся в «Современнике», обогащалась периодически помещаемыми обзорами, разборами и рецензиями вне отдела «Новые Книги». По своему содержанию библиографические материалы «Современника» подчеркивали направленность журнала, интересы Пушкина, как издателя-редактора, наконец, его интерес к научным материалам (обзор кн. Козловского и статьи по экономике) и историческим вопросам, рецензия на «Ключ» Строева, разбор статьи об «Истории Пугачевского бунта», рецензия «Джон Теннер».

В. Белинский, имея в виду первый том «Современника», заметил, что: «Журнал есть не наука и не ученость, но, так сказать, фактор науки и учености, посредник между наукою и учеными. Как бы ни велика была журнальная статья, но она никогда не изложит полной системы какого-нибудь знания: она может представить только результаты этой системы, чтобы обратить на нее внимание ученых...

Вот почему такое важное место, такое необходимое условие достоинства и существования журнала составляет критика и библиография, ученая и литературная...»[25].

Пушкин, издавая «Современник», привлекая материалы науки и художественной литературы, хотел сделать свой жур-

---

* Статьи: «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности», «Вольтер», «Об истории Пугачевского бунта», (разбор статьи); рецензии: «Фракийские элегии, стихотворения В. Теплякова», «Джон Теннер», «Об обязанностях человека» Сильвио Пеллико, «Словарь о святых, прославленных в российской церкви...».

пал «посредником» между актуальной, интересной, полезной мыслью авторов и читающим русским обществом. Еще в 1831 г. в письме к П. А. Плетневу поэт писал: «...Мне кажется, что если все мы будем в кучке, то литература не может не согреться и чего-нибудь да не произвести: альманаха, журнала, чего доброго? и газеты!...»[26].

С другой стороны, В. Белинский, которому принадлежит честь и первенство создания в послепушкинский период лучшего критико-библиографического отдела в журнале «Современник», высказал в своей статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» мысль, что «Современник» (его времени) не будет гнаться за полнотой библиографических обзоров «ибо о книгах ничтожных даже отрицательно, по нашему мнению, не стоит труда ни писать, ни читать...»[27].

Такого же мнения за десять лет перед этим придерживался и Пушкин, реализуя его в своем «Современнике». «Зачем упоминать о книгах, которые не стоят никакого внимания?», — спрашивает Пушкин в «Письме к издателю», помещенном в третьем томе журнала[28]. В послесловии к библиографическому отделу в первом томе также сказано: «Вот книги, вышедшие в продолжении первой четверти сего года. О большей части их мы ничего не говорили, потому что о них решительно ничего нельзя сказать...»[29].

В отношении библиографической регистрации, полноты известий о новых книгах, Пушкин, следуя опыту библиографов — своих предшественников, стремящихся к полноте русского репертуара книжной продукции, считал нужным отмечать и отрицательные и пустые по содержанию книги, делая при этом свои выводы о состоянии книжного издательства, о культурном уровне издателей и давая читателям картину состояния книжного рынка его времени.

Стремясь к полноте информации читателей о новых книгах, снабжая некоторые новые издания дополнительными материалами (статьями, обзорами, разборами), помещенными в журнале, Пушкин был убежденным противником «сухих библиографических известий». Еще в 1830 г., в период первоначального развития его библиографической деятельности, связанной с работой в «Литературной Газете», в статье «О литературной критике», он писал: «...Критика в наших журналах... ограничивается сухими библиографическими известиями...»[30].

Здесь же он выражал свою неудовлетворенность тем, что произведения нашей литературы «...как ни редки, но являются, живут и умирают, не оцененные по достоинству...».

Спустя некоторое время (в 1831 г.) Пушкин писал П. А. Вяземскому:

«...То, что ты говоришь о Рославлеве, сущая правда; мне смешно читать рецензии наших журналов, кто начинает с Гомера, кто с Моисея, кто с Вальтер-Скотта; пишут книги о романе, которого ты оценил в трех строчках совершенно полно, но к которым можно прибавить еще три строчки: что положения, хотя и натянутые, занимательны; что разговоры, хотя и ложные, живы, и что все можно прочесть с удовольствием (итого 3 строчки с 1/2)...»[31].

Здесь Пушкин дает обобщенное, оценочное мнение о характерном рецензировании в журналах и проводит мысль о рецензии, лаконично оценивающей содержание книги.

Наконец, Пушкин еще раз касается интересовавшего его вопроса о содержательности и живости изложения журнального материала в письме к И. И. Киреевскому (1832): «До сих пор наши журналы были сухи и ничтожны или дельны да сухи; кажется «Европеец» первый соединит дельность с заманчивостью...»[32].

В этом же письме Пушкин по существу дал обзор первых двух книг журнала, издаваемого Киреевским, обратив внимание и на то, что статьей Киреевского о Годунове и о «Наложнице» «дождались мы истинной критики...».

Пушкин придавал существенное значение библиографии в журнале и сам вел отдел «Новые Книги», неустанно заботясь о полноте известий о вновь выходящих книгах, разнообразя его («Общий итог книг», аннотации, рецензии, звездочки). Пушкин издавал журнал и руководил его библиографическим отделом всего один год, а более непосредственно и серьезно имел возможность заняться им, начиная с третьего тома.

Все же и за этот короткий срок Пушкин успел многое сделать для журналистики и литературы.

Имея в виду первый том «Современника», В. Белинский справедливо заметил, что «самые интересные статьи—это «О движении журнальной литературы 1834 и 1835 гг.» и «Новые Книги»: в них видны дух и направление нового журнала...»[33].

Третий том «Современника» убедительно подтверждает эти слова В. Белинского.

Каково же содержание библиографического отдела «Современника» — «Новые Книги» во всех четырех его томах? В порядке текущей библиографической регистрации перечислено 215 названий книг. Такое количество нельзя считать исчерпывающим, но так как большинство книг издавалось в Москве и Петербурге, а они в основном и учитывались отделом, можно говорить о достигнутой в нем известной полноте. Учтенные книги распадаются на семнадцать разделов, причем более половины падает на книги художественной литературы и истории, четверть всех книг представляет разные области науки. Из восемнадцати рецензий, помещенных в разных томах журнала, половина написана Пушкиным, восемь — Гоголем, принимавшим участие в первых томах и одна рецензия неизвестного автора. Двадцать восемь книг отмечены звездочкой. Большая часть этих книг падает на историю (13) и литературу (8).

Богат и ценен библиографический опыт в первом томе журнала. Перечисляемые здесь шестьдесят названий книг, вышедших в январе-апреле 1836 года, сопровождаются четырьмя аннотациями и восемью рецензиями, в том числе двумя пушкинскими. Здесь оформляется пушкинский метод рекомендации книги— «звездочка» (их четыре всего). Рекомендательной тенденции не лишены некоторые из помещенных в томе рецензий. Такова концовка рецензии к книге «Походные записки Артиллериста с 1812 по 1816 г.»: «. . .Ее (книгу — А. Г.) прочтут те, которые читают только для развлечения и те, которые из книг извлекают новое богатство для ума. . .»[34].

Здесь же дана сноска, очевидно Гоголем, который заменял отсутствовавшего в этот момент Пушкина, о том, что «Книги, означенные звездочками, будут впоследствии разобраны».

Гоголь, очевидно, не понял роль «звездочек» и использовал черновик списка «Новые Книги», о чем говорит объяснение Пушкина в третьем томе: «. . . В списке вышедшим книгам звездочкою означены были у издателя те, которые показались ему замечательными, или которые намерен он был прочитать (предварительно — А. Г.), но он не предполагал отдавать о всех их отчет публике. . .»[35].

Но самым важным является послесловие, напечатанное в конце отдела первого тома, по всей вероятности, принадлежащее перу Пушкина. В послесловии дан краткий, но содержательный «общий итог книг за первую четверть года». Это —

шаг вперед по сравнению с реализацией идеи текущей библиографической регистрации. «Послесловие» — смелое, направленное против официальной (охранительной) печати, библиографическое обобщение с явно выраженным критическим отношение к тогдашней книжной продукции. «Капитальных и больших Исторических сочинений нет ни в переводах, ни в оригиналах. На Статистику и Экономию одни намеки. Даже в значениях практических, не вторгающихся в быт литературный, заметно то же мелководье»,—утверждает автор[36].

Так, открыто и правдиво Пушкин-библиограф оценил уровень и содержание книжной печатной продукции царско-самодержавной России Николая I. Пушкин первый применил на практике опыт библиографических обобщений. Этот опыт был закреплен теоретически В. Р. Зотовым, писателем-журналистом и редактором «Литературной Газеты» в 1847—48 гг. в статье: «Очерк библиографии истории русской словесности в 1847 г.»*.

Разнообразный по содержанию второй том журнала, насыщенный критическими материалами, в библиографической части представлен бледно. В отделе «Новые Книги» дан перечень 43 названий книг без аннотаций и рецензий. Большая часть регистрируемых новых книг (22 из 43) принадлежит по своему содержанию к научно-популярным изданиям, а по литературе только три книги достойны внимания: О Ломоносове, комедия «Ревизор» Гоголя и стихотворения Бенедиктова. Из них только о «Ревизоре» есть статья.

Обещание, данное Пушкиным в письме к Нащокину, «заняться деятельно «Современником», сказалось на третьем томе журнала, вышедшем в начале октября. О разнообразии и ценности материалов этого номера мы имели уже возможность говорить, дополним только, что из 68 названий новых книг девять отмечены звездочками, а критика и библиография представлена семью статьями и рецензиями Пушкина.

Еще больше отмеченных звездочками книг в четвертом томе «Современника»: их одиннадцать из сорока четырех названий. Кроме того, напечатаны две рецензии поэта (на «Записки Дуровой» и «Ключ» П. Строева).

«Звездочки» служили Пушкину приемом библиографической рекомендации. Книги, прорецензированные или аннотированные в оделе «Новые Книги», звездочек не имеют

* «Литературная газета», 1848, № 4 и 6.

Исключение представляет книга С. Шевырева «История поэзии». В перечне новых книг, опубликованных в первом томе, она отмечена звездочкой. Возможно, что Пушкин в момент составления чернового списка новых книг для первого тома, еще не прочитал этой книги, но имел в виду познакомиться с трудом Шевырева и поэтому отметил его звездочкой*. Не отмечена звездочкой (во втором томе) комедия Н. Гоголя «Ревизор». Нельзя допустить мысли, что Пушкин в своей рекомендации прошел бы мимо этого произведения. Еще в своей рецензии на «Вечера на хуторе близ Диканьки», опубликованной в отделе «Новые Книги» в 1 томе «Современника», он дал примечание, содержащее явный элемент такой рекомендации: «На днях будет представлена на здешнем театре комедия «Ревизор». Такая рекомендация осуществлена. В том же втором томе напечатана статья П. Вяземского, посвященная этой комедии. Следовательно, потребность в звездочке, естественно, отпала. В перечне книг третьего тома сочинение Пеллико «Мои темницы» отмечено звездочкой и в том же томе есть рецензия Пушкина на другое сочинение этого автора («Об обязанностях человека»), в котором поэт уделил внимание и первой книге, но поскольку «Мои темницы» специально не прорецензированы—они отмечены звездочкой.

Наконец, примечание о «звездочках» дано на первой странице отдела «Новые Книги», в первом томе журнала, и сопровождает книгу М. Погодина «Исторические афоризмы», не имеющую звездочки, но прорецензированную Н. Гоголем. Следовательно, данный прием носит общий, применительно к отделу, характер. Он выделяет в отделе «Новые Книги» известную категорию книг («замечательных» по выражению Пушкина), является формой библиографической рекомендации.

Заботу Пушкина о библиографировании в «Современнике» подтверждает запись, хранящаяся в Онегинском собрании автографов Пушкина. Она составлена еще до выхода в свет первого тома журнала и представляет собой лаконичный и далеко не полностью раскрытый список статей и отзывов, намеченных для опубликования в «Современнике». Эти материалы названы — «Опыты библиографические». В списке двадцать названий, из которых пять отмечены крестиком. Судя по опубликованным материалам (напр., статья о рецен-

* Пушкин написал пространный конспект рецензии на эту книгу.

зии Броневского на «Историю Пугачева», рецензия на «Походные записки» И. Радожицкого), а также по черновым наброскам (к статье о календаре) можно предположить, что материалы, уже подготовленные или находящиеся в стадии собирания или обработки, отмечались «крестиком». Так зарождалась эта новая форма библиографической рекомендадации.

Пушкин создал в своем журнале библиографический отдел. Текущая библиографическая регистрация включала книги по многим отраслям знания. Аннотации и рецензии библиографического отдела, обзоры, предисловия, послесловия и др. были подчинены общей задаче журнала, стремящегося активно воздействовать на общественное мнение.

В результате творческой инициативы и напряженного труда Пушкина и его ближайших сотрудников по журналу, «Современник» оформился как новый тип русского журнала. Обобщая опыт журналов, предшественников «Современника», Пушкин создал боевой, серьезный, универсальный журнал с постоянно действующим библиографическим отделом в нем. Приглашая В. Белинского, Пушкин намеревался, повидимому, перевести журнал на новые рельсы,—придать ему более актуальный, действенный, боевой характер. А. Луначарский писал: «...Что вышло бы из Пушкина как дальнейшего блистательного редактора «Современника», как дальнейшего работника на поприще литературного реализма, исследования новых пластов населения, — гадать трудно. Я продолжаю думать, что, проживи Пушкин более или менее толстовскую, по долговечности, жизнь, он мог бы еще перейти многие мосты, по которым другие, более молодые дворяне шли навстречу дальнейшему развитию революционных сил страны. . .»[37].

Опыт издания в течение одного года своего журнала значительно развил журнальную деятельность Пушкина, его критические и библиографические занятия, обогащенные работой над историческими трудами (История Петра Великого, История Пугачева).

На границе перехода к революционно-демократической журналистике оборвался жизненный путь поэта, закончился и журнальный путь его.

Новая редакция «Современника» в первой книге за 1837 г. отметила тяжесть утраты: «Россия потеряла Пушкина в ту минуту, когда гений его, созревши в опытах жизни, раз-

мышлением и наукою, готовился действовать полною силой, — потеря невозвратная и ничем невознаградимая...».

После смерти Пушкина «Современник» перешел в ведение П. А. Плетнева, человека чуждого новым веяниям жизни. Библиографический отдел, потеряв в лице Пушкина своего основателя и руководителя, деградировал, превращаясь в носителя «сухих библиографических известий», против которых так боролся Пушкин. Понадобилось десять лет, чтобы с переходом журнала к Белинскому и Некрасову он оживился и стал органом прогрессивной действенной мысли, а библиографический отдел — одним из лучших отделов тогдашней периодики.

В заключение раздела нашей работы, раскрывающей библиографическую деятельность Пушкина в «Современнике», хотелось бы отметить, что редко кто из писавших о поэте не касался его работы в «Современнике». Об этом читаем мы, начиная с ценных работ В. Белинского и первой, обогащенной богатым для своего времени фактическим материалом, биографии П. Анненкова и вплоть до последних биографических трудов наших советских исследователей Н. Бродского и Л. Гроссмана. Несколько статей, специально посвящены пушкинскому «Современнику» (В. Евгеньев-Максимов, Д. Максимов, А. Степанов). Исследование шло по линии изучения самого журнала и роли его в истории нашей журналистики. Издательская и редакторская деятельность Пушкина до сих пор не изучена, есть только некоторые фрагменты к ее изучению. Тем более вне объекта исследовательских интересов была библиографическая деятельность Пушкина вообще, а работа, связанная с журналом «Современник», освещена частично. Своей работой мы делаем попытку поставить этот вопрос и наметить известные пути к его разрешению, оперируя фактическим материалом отдела «Новые Книги» за 1836 г., перепиской поэта, литературой по данному вопросу.

Для более широкого представления о библиографических интересах и занятиях А. С. Пушкина остановимся на библиографических приемах в работе над историческими произведениями и приведем некоторые факты, характеризующие его отношение к библиографии.

В последние годы жизни Пушкин серьезно, вдумчиво и с любовью работает над историей Петра Первого. В связи с этим он занимается в архивах, библиотеках, в том числе и в библиотеке Вольтера; одновременно заканчивает «Историю

Пугачева». Свои занятия над историческими темами Пушкин сочетает с обращением к библиографии, пользуясь ею, оперирует ее методами (приемами) для накапливания нужных для труда материалов, использует с той же целью библиографические списки и каталоги, ведет сам записи, составляет вспомогательный указатель к своему труду о Пугачеве. Во всем этом сказалось, зародившееся еще в начале творческого пути, понимание поэтом роли и значения библиографии и в частности в области исследовательской, научной работы.

В 1831 году в обращении к Николаю Пушкин просил «дозволения заняться историческими изысканиями в наших Государственных архивах и библиотеках» и тут же указывал на свое желание написать историю Петра Первого. Поэт был зачислен в Иностранную коллегию «с позволением рыться в старых архивах для написания истории Петра Первого»[38].

Пушкин занялся собиранием и изучением материалов, необходимых ему для исторического труда. Естественно, что его заинтересовала, хранящаяся в Эрмитаже, библиотека Вольтера, поскольку в ней были подлинные материалы, которыми пользовался французский писатель-мыслитель в работе над этой же темой. В начале 1832 года в заявлении Бенкендорфу Пушкин, в связи с этим, писал: «осмеливаюсь вновь беспокоить Вас покорнейшею просьбою: о дозволении мне рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловым для составления его Истории Петра Великого...»[39].

Судя по письму Бенкендорфа, 29 февраля того же года такое разрешение было дано и поэт приступил к ознакомлению с теми материалами о России Петровской эпохи, которые хранились в богатом семитысячном книжном собрании библиотеки Вольтера.

В своей работе Пушкин пользовался указателем к сочинениям Вольтера и имел при себе записную книжку, в которой сделал точные записи нескольких книг Вольтера, указав их шифр и местонахождение. В литературе высказано предположение, что эти записи — начало какого-то каталога библиотеки Вольтера*.

Интерес, проявляемый Пушкиным к Вольтеру, которого поэт знал хорошо, начинается с «Городка». К нему обратился он и

* Д. Якубович. Пушкин в библиотеке Вольтера, «Литературное наследство», 1934 г., № 16—18.

в последний год жизни, написав статью в связи с выходом в свет в Париже «Неизданной переписки Вольтера с президентом де Броссом». Это дает возможность предположить, что знакомство с личной библиотекой Вольтера вышло за рамки изучения материалов к исторической теме и распространилось на произведения самого Вольтера. Несколько лет ушло у Пушкина на первый подготовительный этап труда о Петре. Накоплен был огромный материал. В. А. Жуковский в примечании к описанию последних минут поэта заметил, что «если напечатать все найденное в рукописях Пушкина, то, конечно, составится два хороших тома или пять, если присоединить к литературным отрывкам все материалы, приготовленные для Истории Петра Великого». Множество выписок, ссылок — весь черновой материал говорит об исследовательской добросовестности Пушкина, приступавшего к написанию исторического труда. В одном из писем к М. Погодину в 1834 году он, между прочим, писал: «К Петру приступаю со страхом и трепетом, как вы к исторической кафедре»[40].

Не только отношение к теме, но и, в известной степени, метод работы над ней раскрыт в дневниковой записи Д. Е. Келлера, посетившего поэта в конце декабря 1836 года: «Александр Сергеевич на вопрос мой: скоро ли будем иметь удовольствие прочесть его произведение о Петре, отвечал: «Я до сих пор ничего еще не написал. Занимался единственно собиранием материалов. Хочу составить себе идею обо всем труде, потом напишу историю Петра в год или в течение полугода и стану исправлять по документам...»

Способ работы Пушкина — убедительная иллюстрация широко применяемого им приема описания документов «de visa», приема так необходимого в библиографической работе. Пушкин делал свод только тем летописям, документам, указам, запискам, которые имел в руках, ничего не прибавляя от себя.

Пушкин стремился не только к использованию возможно большего количества документов, как необходимых материалов, но и к исчерпывающему знакомству с литературой данной эпохи — прием, тоже необходимый в библиографической работе.

В письме к М. А. Корфу, написанном за несколько месяцев до смерти, благодаря М. А. Корфа за присланный на девяти листах библиографический список книг о Петре, преимущественно иностранных, Пушкин пишет: «Вчерашняя посылка

твоя мне драгоценна во всех отношениях и останется у меня памятником... Прочитав эту номенклатуру, я испугался и устыдился: большая часть цитованных книг мне неизвестна.

Употреблю всевозможные старания, дабы их достать. Какое поле — эта новейшая Русская история!..»[41].

Пушкин, невпример многим своим современникам, снабдил свой труд о Пугачеве («История Пугачева») вспомогательным указателем, в котором, в алфавитном порядке, дал личные имена и географические названия, встречающиеся в труде (всего 259 названий).

Вспомогательные указатели, появившиеся в России во второй половине XVII века (в «Оглавлении книг, кто их сложил») и получившие сравнительно широкое применение во второй половине XVIII века (журнал Бакмейстера и др.), в пушкинское время составлялись крайне редко*.

Наличие в сочинении Пушкина такого указателя подчеркивает признание с его стороны необходимости такого вида библиографического указателя, являвшегося в последующее время обязательной частью каждого серьезного труда и издания.

* * *

Есть и другие факты, характеризующие библиографическую деятельность Пушкина.

Так, известный книгопродавец И. Т. Лисенков вспоминает: «Пушкин посещения делал к Лисенкову довольно часто, когда издавал журнал «Современник»: ему нужно было знать о новых книгах для помещения боевого разбора о них в его журнале. . .»[42].

Не менее характерно письмо историка Н. Г. Устрялова к поэту в октябре 1836 года:

«Милостивый государь Александр Сергеевич,

Приятнейшим долгом считаю препроводить к вам прилагаемую безделку**. Впрочем как она написана по частному случаю и в продажу не поступит, то благоволите прейти об ней молчанием в Современнике[43].

Пушкин удовлетворил желание автора.

---

* В выпущенной в 1828 г. Смирдиным «Росписи российским книгам...», составленной В. Анастасевичем (очевидно, это издание и сохранилось в личной библиотеке поэта), было приложено два вспомогательных указателя (авторов, переводчиков и оглавлений). Наличие этого труда сообщило изданию исключительную ценность, а имя составителя было поставлено рядом с В. Сопиковым.

** Имеется в виду диссертация на степень доктора философии Устрялова «О системе прагматической Русской истории».

Как известно, в 1835 году в России впервые стал издаваться А. А. Плюшаром «Энциклопедический Словарь»*. В письмах Пушкина и в его дневниковых записях мы находим небезинтересный материал, проливающий свет на отношение его к этому изданию. В число издателей приглашался и Пушкин. В письме к В. Ф. Одоевскому (16/III-1834) он писал: «...Дело идет о Конверсационс Лексиконе: я это пронюхал... нынешний вечер имеет свою гадкую и любопытную сторону. Я буду у Г(реча)... Поедем; что за беда? Ведь это будет мирская сходка всей республики. Всего насмотримся и и наслышимся — а в воровскую шайку не вступим...»[44].

Новое большое начинание привлекает поэта, но организующая роль Греча, одного из представителей реакционного триумвирата, отталкивает, а отсюда—решение «в воровскую шайку не вступать». На следующий день после литературного совещания у Греча Пушкин записал в дневнике: «Вчера было совещание литературное у Греча об издании русского Конверсационс Лексикона. Нас было человек со сто, большею частию неизвестных мне русских великих людей... Я подсмотрел много шарлатанства и очень мало толку... Не говорю уже о чести. Охота лезть в омут, где полощутся Булгарин, Полевой и Свиньин. — Гаевский подписался, но с условием. Князь Одоевский и я последовали его примеру...».

Понимая значение издания русского «Энциклопедического Словаря», желая в нем работать, Пушкин, естественно, не мог согласиться работать с Булгариным. Участие Булгарина определяло характер нового издания, и поэтому Пушкин и Одоевский обуславливали свое участие в нем. Еще резче оценку «Лексикону» дал Пушкин в записи «Дневника» за 2 апреля: «...Кн. Одоевский, д-р Гаевский, Зайцевский и я выключены из числа издателей Конверсационс Лексикона. Прочие были обижены нашей оговоркою, но честный человек, говорит Одоевский, может быть однажды обманут, но в другой раз обманут только дурака. Этот лексикон будет ничто иное, как «Северная Пчела» и «Библиотека для чтения» в новом порядке и объеме...»[45].

В. Одоевский все же принял участие в Плюшаровском

---

* Другие названия этого издания: «Энциклопедический Лексикон», «Конверсационс Лексикон». В сохранившейся части личной библиотеки поэта имеются первые четыре тома «Лексикона» 1835 года, частично разрезан IV том (см. Библиотека А. С. Пушкина, Библиографическое описание Б. Модзалевского, стр. 119, под № 439).

«Словаре», но вынужден был через некоторое время отказаться, заявив при этом: «Я соглашусь принять участие в сем деле тогда только, когда состав редакции будет соответствовать достоинству издания».

Считая последние тома* «Лексикона» — «невероятными», он заметил, что они: «в конец убили сие издание, на которое потрачено напрасно столько трудов людьми добросовестными и столько невозвратимой доверенности публики»...[46].

Наконец, необходимо остановиться и на взаимоотношениях Пушкина и видного библиографа акад. П. Строева.

П. М. Строев много содействовал разработке и развитию отечественной библиографии. В 1815 году, будучи студентом, он издавал журнал «Современный Наблюдатель Российской Словесности», в котором поместил положительный и подробный разбор «Опыта Российской библиографии» В. Сопикова. Три года спустя двадцатидвухлетний Строев составил «Подробное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в библиотеке Волоколамского монастыря», которое, по замечанию В. М. Ундольского, было «первым ученым описанием по современным требованиям библиографии», а сам Строев считал его первым опытом своих библиографических трудов.

В 1824 г., сделав предложение Н. М. Карамзину составить Алфавитный указатель («Ключ») к его истории и, получив согласие, П. Строев начал работу над «Ключом». Составление «Указателя» почти закончил он в 1828 г. Впоследствии, вспоминая свою работу над «Ключом», он писал: «Сей тяжелый, чрезмерно-утомительный труд, сия мелкая, но неоценен но важная критика, сводящая воедино раздельные мнения и суждения историка... Сей труд и сия критика едва было не истощили мое терпение в течение трехгодичных беспрерывных занятий ими»[47]. («Арх. эксп.», 1, 18—20).

Закончив свой труд, Строев познакомил с ним Пушкина, который высоко оценил его в письме к П. Вяземскому (Ш. 1830). «...Строев написал tables des matiéres Истории Карамзина, книгу нам необходимую. Ее надобно напечатать: поговори Блудову и об этом...»[48].

Книга Строева была напечатана в 1836 г. Она, по словам пушкинской рецензии, написанной после ее выхода в свет и помещенной в четвертом томе «Современника», явилась трудом, облегчившим «до невероятной степени изучение Русской истории». Совершенно очевидно, что видный деятель русской

* Издание прекратилось в 1841 г., на 17 томе.

библиографии и историк П. Строев не случайно считал своим долгом познакомить Пушкина со своим капитальным трудом еще до выхода его в свет.

* * *

Пушкин организовывал библиографическую работу (отдел «Новые Книги») и выступал с рецензиями. Сохранились конспекты, наброски его рецензий. Он пользовался библиографическими заметками, ссылками, элементами библиографического комментария, составил вспомогательный указатель имен и географических названий к своей исторической работе о Пугачеве, послуживший основой для разработки в наше время более обстоятельного «Алфавитного указателя», приложенного к девятому тому сочинений поэта в издании Академии Наук СССР.

В лаконичной рецензии на двухтомный библиографический труд «Ключ к Истории Государства Российского Н. М. Карамзина 2 ч. М.» Пушкин высоко оценил роль вспомогательного указателя — «необходимого дополнения» к историческому труду. «Издав сии два тома,—писал он,—г. Строев оказал более пользы Русской истории, нежели все наши историки с высшими взглядами, вместе взятые. . .»[49].

Следовательно, в своей библиографической практике Пушкин пользовался несколькими видами библиографии. Основное внимание он уделял информации, отзыву, разбору, оценке, достойных внимания читателя книг и др. печатных произведений. Отсюда его внимание к рецензированию произведений печати.

К пушкинским рецензиям вполне приложимо суждение Ломоносова, резко выступавшего против поверхностной критики «наглых рецензентов», которые судят о книгах, едва зная их заглавия. Ломоносов требовал от рецензента компетентности и добросовестности. «Но кто уже раз берется за то, должен вполне ознакомиться и противопоставить им действительные возражения и основательные доводы, прежде нежели он присвоит себе право осуждать другого»[50], — писал Ломоносов в своей «Диссертации о должности журналиста». (1754 г.)

Кроме законченных рецензий, элементы их мы встречаем в ряде произведений поэта.

Имея это в виду и учитывая пушкинскую манеру рецензирования, Киреевский в 1830 году писал отцу: «Большая часть статей в ней («Литературной Газете» А. Г.) будет писана

Пушкиным, который открыл средство в критике в простом извещении о книге быть таким же необыкновенным, таким же поэтом, как в стихах...»[51].

В своей статье о литературной критике, помещенной в «Литературной Газете» (1830 год, I том, № 3) Пушкин писал: «Критика в наших журналах или ограничивается сухими библиографическими известиями, сатирическими замечаниями, более или менее остроумными, общими дружескими похвалами, или просто превращается в домашнюю переписку издателя с сотрудниками, с корректором и проч.»[52].

Насколько Пушкин был против «сухих библиографических известий» и «общих похвал» покажет анализ его библиографических материалов.

Еще ярче его отрицательное отношение к журнальной критике, которая останавливала свое внимание на произведениях, имеющих видимое достоинство, и проходила мимо ряда книг, о которых она могла сказать много поучительного и полезного. В письме поэта к А. Ф. Воейкову (1831 г.) есть такие строки: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня... Ради бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на неприличие его выражений, на дурной тон и пр. Пора, пора нам осмеять les précieuses ridicules нашей словесности, людей, толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и все это слогом камердинера профессора Тредьяковского».[53].

В письме к Погодину (1830 г.) по поводу его трагедии «Марфа Посадница» Пушкин писал: «...нашел... Марфу. И прочел ее два раза духом.

...Я все-таки при том же мнении: Марфа имеет европейское, высокое достоинство. Я разберу ее как можно пространнее. Это будет для меня изучение и наслаждение... Не посылаю вам замечаний (частных), потому что некогда вам будет переменять то, что требует перемены. До другого издания. Покаместь скажу Вам, что анти-драматическим показалось мне только одно место... Вот главная критика моя. Остальное надобно будет хвалить при звоне Ивана великого, что и выполнит со всеусердием ваш покорнейший понамарь»[54].

Пришлось привести довольно большую цитату, но она хорошо определяет отношение Пушкина к критико-библиографической работе. В этих строках дана сжатая информацион-

ная оценка произведения. К более подробному разбору «Марфы Посадницы» он вернулся позже.

Пушкинские критико-библиографические статьи отличаются простотой и ясностью изложения. Это же он рекомендовал и другим, например, Киреевскому: «...насилу-то дождались мы истинной критики. Но избегайте ученых терминов; и старайтесь их переводить, то-есть, перефразировать: это будет и приятно неучам и полезно нашему младенчествующему языку...» (Из письма к Киреевскому от 4. II. 1832 г.»[53].

В критических и полемических работах Пушкина мы встречаем разные виды библиографической работы.

Обращаемся к наиболее простому виду пользования библиографией — к библиографической ссылке, которая по Л. Г. Фомину служит документальным доказательством подлинности приводимых указаний и облегчением в отыскивании названных материалов для более детального ознакомления, самостоятельной проработки и пр. Нужно заметить, что к библиографической ссылке Пушкин обращался редко и количество их в его критических статьях невелико. К этому роду библиографической работы он прибегает уже в первых своих журнальных статьях*.

В значительной части этот род библиографии касается периодических изданий и выносится автором в примечания, находящиеся внизу статьи.

В библиографическом обозначении Пушкин не указывает года выхода цитируемого журнала, иногда нет страниц, таким образом, библиографическое обозначение дается сжатым, упрощенным**.

Большей частью ссылки сопровождаются не только цитированием некоторых абзацев, но к ним дается комментарий автора.

Отрицательное отношение Пушкина к подаче «сухих библиографических известий» сказалось и на пользовании им библиографическими ссылками. Так, например, вслед за цитацией источника*** дана краткая положительная оценка работы издателя или такая аннотация к названному источнику: «Недавно в одном из наших журналов изъявили сомнение: точно ли «Разговор у княгини Халдиной», напеча-

---

* См. ст 1824 г. — Письмо к издателю «Сына Отечества» и 1825 г. — «О госпоже Сталь и о г. А. М(ухано)ве».

** «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. Крылова», «Карелия, или заточение Марфы Иоанновны Романовой».

*** «Карелия, или заточение Марфы Иоанновны Романовой».

танный в 3-м № «Литературной Газеты», есть сочинение Фонвизина».[56].

В одной библиографической ссылке из статьи «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» для большей ясности трактовки вопроса в статье Греча, вслед за цитируемым источником указываются издатели Греч и Булгарин*.

Наконец, при обращении к иностранному источнику (см. Предисловие к «Песням западных славян»)**, последний цитирован на языке оригинала. Примечание, даваемое в тексте, сопровождается указанием, облегчающим розыск источника: книга вышла в Париже, в конце 1827 г.

Небольшое предисловие к «Песням западных славян» является в то же время библиографической заметкой, поскольку информирует читателя не только о содержании, но, давая выдержку от издателя, раскрывает собирателя (Мериме), сообщает о нем кратенькую характеристику, имеющую информационное значение.

В рассматриваемых библиографических ссылках Пушкин не придерживался каких-либо унифицированных приемов пользования этим видом библиографии. Так, в статье «Торжество дружбы, или оправданный Александр Анфимович Орлов», мы встречаемся с библиографическими ссылками и в тексте и внизу страницы (в последнем случае дело идет о грамматике Греча и указывается даже типография). В некоторых ссылках рядом с источником указываются и страницы цитируемого материала.

Единичны случаи сокращенного названия периодического издания.

Отсутствие твердых приемов пользования этого рода библиографией следует объяснить зачаточным состоянием библиографической теории и небольшим количеством практических справочников библиографического характера, а равно и тем обстоятельством, что Пушкина интересует, главным образом, изложение содержания, а не цитация (библиографически точная и ясная) источников.

Даваемая им упрощенная библиографическая ссылка облегчает нахождение нужного материала, а в некоторых случаях подтверждает мнения и выводы автора.

Указывая на обращение А. С. Пушкина к разным видам библиографической работы, нельзя пройти мимо его крити-

---

* Библиографическая ссылка у Пушкина: «См. № 27 Сын Отечества, издаваемого гг. Гречем и Булгариным».

** Пушкин — критик, сб., стр. 346. 1934.

ческих заметок на полях книг, статей, сделанных им в 1826 — 1829 и 1836 гг. . .* Они дают не только ряд суждений, мыслей, взглядов, характерных для Пушкина — критика, но они же дают и ряд кратких (иногда выраженных одним — двумя словами) информационных оценок, носящих характер рецензирования. Приведем несколько иллюстраций. В своих заметках на полях статьи П. А. Вяземского «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» против текста автора статьи, где он указывает на заслуги Озерова, сравнивая их с заслугами Карамзина, Пушкин пишет: «Большая разница. Карамзин — великий писатель во всем смысле этого слова, а Озеров — очень посредственный. Озеров сделал шаг вперед в слоге, но искусство чуть ли не отступило. Геркулесовского в нем нет ничего»[57].

Несколько раз Пушкин обращает внимание Вяземского на необходимость большей ясности, простоты в изложении («Более методы, ясности»); «Да говори просто: ты довольно умен для этого», указывает на необходимость пересмотра подлинника («Я не читал подлинника, пересмотри. . .»).

Не ограничиваясь замечаниями на полях статьи, Пушкин в конце дает еще и общее замечание о статье, которая представляется нам краткой, но законченной рецензией всей статьи: «Часть критическая вообще слаба, слишком слаба. Слог имеет твои недостатки, не имея твоих достоинств. Лучше написать совсем новую статью, чем передавать печати это сбивчивое и неверное изображение. Озерова я не люблю не от зависти (сего гнусного чувства, как говорят), но из любви к искусству. Ты сам признаешь, что слог его нехорош, а я не вижу в нем и тени драматического искусства. Слава Озерова уже вянет, а лет через десять, при появлении истинной критики, совсем исчезнет. Озерова перевели, перевод есть оселок драматического писателя; посмотри же, что из него вышло во французской прозе».

А вот лаконические, меткие пушкинские оценки в его замечаниях на полях «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова: «Весьма дурные стихи». «Вяло». «Прекрасно». «Вот

---

* «См. заметки Пушкина на полях: 1) Статьи кн. П. А. Вяземского «О жизни и сочинениях В. А. Озерова». (Пушкин, ГИХЛ. Соч., т. VI, стр. 447—454), 2) «Опыты в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова (ibid, стр. 454—484): 3) Ст. М. П. Погодина «Об участии Годунова в убиении царевича Дмитрия» (ibid, стр. 485—495) и 4) Письма кн. П. А. Вяземского к С. С. Уварову по поводу книги Устрялова «О системе прагматической русской истории» (ibid, стр. 495—496).

стихи прелестные, собственно Батюшкова — вся строфа прекрасна». «Лишний стих». «Неудачный оборот и дурные стихи». «Одна из лучших элегий Батюшкова» («Выздоровление» А. Г.). «Неудачное подражание Millevoye». «Что за детские стихи!». «Какая дрянь», «Конец прекрасен. Но плана никакого нет, цели не видно — все вообще холодно, растянуто, ничего не доказывает и пр.».

В заметках на полях письма П. А. Вяземского к С. С. Уварову по поводу книги Устрялова «О системе прагматической русской истории» существенно финальное замечание Пушкина в отношении Полевого, особенно учитывая его рецензию на книгу Полевого по истории России: «О Полевом не худо было бы напомнить и пространнее... Не, должно забыть, что он сделан членом-корреспондентом нашей Академии за свою шарлатанскую книгу, писанную без смысла, изысканий и безо всякой совести...».

Как пример использования элементов библиографического комментария можно привести несколько статей Пушкина.

Так, в статье «Торжество дружбы, или оправданный А. А. Орлов» указываются номера журналов, где публиковались статьи Н. И. Надеждина и Н. И. Греча с разбором сочинений Булгарина и А. Орлова.

В статье «Вольтер», написанной в связи с выходом в Париже в 1836 г. переписки французского писателя с историком и философом де Броссом, в примечании к утверждению, что де Бросс «известен многими учеными сочинениями», Пушкин перечисляет названия нескольких его сочинений. В рецензии на сочинение М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» в примечании есть указание о характере издания «Московского Вестника» в 1830 г. В рецензии на поэму Ф. Глинки «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой», тоже в примечании указано, что содержание поэмы изложено в № 6 «Литературной Газеты».

Пушкин относился с глубоким вниманием и придавал серьезное значение разбору книг, рецензиям. Это видно из опубликованного в «Современнике» (кн. III за 1836 г.) его разбора рецензии Броневского на «Историю Пугачевского бунта» Пушкина.

Вначале Пушкин указывает, что он «почел за долг прочитать его (разбор Броневского.—А. Г.) со вниманием, надеясь воспользоваться замечаниями неизвестного критика», но несколько далее, сказав об ошибке, трех важных опечатках со стороны рецензента, Пушкин заключает, что «Статья вообще,

показалась мне произведением человека, имеющего мало сведений о предмете, мною описанном»[58].

Узнав, что Броневский является автором «Истории войска Донского», (т. е. исторической работы. — А. Г.), Пушкин перечитывает рецензию и считает нужным написать возражения.

В своей рецензии — разборе Броневского Пушкин дает объяснения к отдельным абзацам Броневского:

«Будем следовать за каждым шагом нашего рецензента».

В объяснениях своих Пушкин указывает на некоторые моменты, которые говорят и о требованиях его к рецензии, рецензенту.

Например, Пушкин указывает, что «Рецензент мой, укоряя меня в несообразностях, не показывает, в чем оные состоят». Или: «Рецензенту, наскоро набрасывающему беглые замечания на книгу, бегло прочитанную, очень извинительно ошибаться; но автору, посвятившему два года на составление ста шестидесяти осьми страничек, такое небрежение и легкомыслие были бы непростительны...».

Во второй части своего разбора рецензии Броневского Пушкин обращается к нему, как историку, давая рецензию уже книге Броневского «История войска Донского», указывая «на некоторые вымыслы (к сожалению, не поэтические), на некоторые недосмотры и явные несообразности» и заключает ее выводом, что «он в своих исторических занятиях искал только невинного развлечения. Это лучшее оправдание недостаткам его книги»[59].

К рецензии Пушкин обращается с начала своей деятельности. Еще в заметке, написанной в 1815 г. («Мои мысли о Шаховском»), относящейся к лицейскому периоду жизни Пушкина, мы находим элементы рецензирования.

Спустя десять лет в «Московском Телеграфе» (1825 г., № 12) была помещена первая журнальная статья Пушкина, его отповедь критику книги де Сталь «Десять лет изгнания», появившейся в 1820 году.

Здесь снова мы отмечаем не только библиографическую ссылку на периодическое издание, но и наличие элементов рецензии: краткую, но существенную и яркую по своей выразительности информационную оценку книги:

«...Взгляд быстрый и проницательный, замечания разительные по своей новости и истине, благодарность и доброжелательство, водившие пером сочинительницы, — все приносит честь уму и чувствам необыкновенной женщины...»[60].

Такая положительная оценка книги давалась с учетом

симпатии поэта к писательнице «резко противопоставившей себя Наполеоновской диктатуре и подвергшейся гонению со стороны Наполеона».

Кроме оценки книги де Сталь Пушкин, полемизируя с рецензентом этой книги А. М. Мухановым — адъютантом финляндского генерал-губернатора, дает к отдельным положениям его рецензии свои беглые оценочные замечания, а в конце статьи дает и общую оценку ей, как «журнальной статейки не весьма острой и весьма неприличной».

Эта статья Пушкина представляется мне неразвернутым конспектом критической статьи (сведения о писательнице, ссылки на ее произведения).

Таким образом, написанная Пушкиным в 1827 году первая рецензия*, предназначавшаяся для «Московского Вестника», не явилась внезапным обращением поэта к библиографии. Она является обобщением и развитием тех элементов рецензирования, которые имелись в заметке лицейского периода и в первой его журнальной статье.

Эта, сохранившаяся в рукописи, первая рецензия не окончена и, быть может, в силу этого обстоятельства в ней отсутствуют обычные в рецензиях сведения о рецензируемой книге (перед изложением текста). Нужно отметить, что эта рецензия явилась откликом поэта на библиографический обзор первенца московских альманахов («Северная Лира»). Уже в ней проявляется внимание Пушкина ко всему выходящему в свет и прежде всего в области художественной литературы и имеющему то или иное историко-литературное значение.

В 1830 году, в № 2 «Литературной Газеты», в отделе библиографии была помещена вторая по времени и первая напечатанная рецензия Пушкина на перевод «Илиады» Гомера — Гнедичем.

Тексту рецензии предпосланы сведения о книге, обычно сообщаемые рецензентом.

Эта рецензия связана с высказываниями поэта о значении перевода, которые можно найти в специальных стихотворениях и эпиграмме, в письмах к Гнедичу (1825 г.) «Это будет первый классический, европейский подвиг в нашем отечестве»[61], к Плетневу (1826) «Гнедич не умрет прежде совершения Илиады...»[52] и вторично в письме к Гнедичу (1829) «Все благомыслящие люди чувствовали важность сего пере-

* На альманах «Северная Лира».

вода и ожидали оного с нетерпением»[63]. Наконец, в статье 1830 г. «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» поэт указывает, что наша словесность может выставить перед Европой, наравне с другими, и «перевод Илиады».

В том же году в письме к Гнедичу Пушкин сожалеет, что «Незнание греческого языка мешает мне приступить к полному разбору Иллиады вашей. Он не нужен для вашей славы, но был бы нужен для России...»[64].

Пушкина не удовлетворяла краткая рецензия. Он считал перевод «Илиады» достойным обстоятельной рецензии, которая послужила бы для широкого ознакомления с книгой. Здесь нужно подчеркнуть одно из требований Пушкина к рецензенту — для глубины рецензирования нужно знать книгу на языке оригинала.

Установив особенности первых рецензий (ненапечатанной и напечатанной), отметим также особенности и других рецензий А. С. Пушкина.

В рецензии на книгу Ф. Н. Глинки «Карелия» примечательна краткая оценка творчества предшественников поэта (Ломоносова, Державина, Батюшкова и др.) и публикация нескольких пространных отрывков из книги. Последнее вызвано было, очевидно, тем, что в «Литературной Газете» было дано вкратце содержание поэмы Глинки.

Рецензия на альманах 1830 г. «Денница» сводится к оценке—обзору ряда положений Киреевского, давшего в альманахе статью «Обозрение русской словесности 1829 г.».

Пушкин дважды откликается на издание повести «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Первый отклик-оценку находим в письме к А. Ф. Воейкову (конец августа 1831 г.): «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. ...Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов...»[65].

На второе издание Пушкин написал, и в «Современнике» за 1836 год поместил рецензию, где, указывая отдельные недостатки и давая общую высокую оценку, отмечает дальнейший рост писателя.

В 1835 году Пушкин написал рецензию на «Три повести» Н. Ф. Павлова, вышедшие в том же году и получившие высокую оценку ряда журналов («Молва», «Московский Наблю-

датель», «Телескоп») и литераторов (Гоголь, Тютчев, Вяземский). «Три повести» имели значительный успех у читателей. Николай I запретил их перепечатку.

«Три повести» захватили Пушкина: «Я начал их читать и до тех пор не оставил пока не кончил. Они читаются с большим удовольствием». (Из воспоминаний Л. Керн)[66]. Его не могла удовлетворить похвальная, но поверхностная статья Шевырева в «Московском Наблюдателе» и он пишет свою рецензию. В ней Пушкин указал на некоторые особенности повестей «Имянины», «Ятаган», на характер слога и описаний писателя а затем дал общую характеристику: «...г. Павлов первый у нас написал истинно занимательные рассказы. Книга его принадлежит к числу тех, от которых, по выражению одной дамы, забываешь итти обедать»[67].

Пушкин указал в своей рецензии на те существенные особенности, которых нехватало в статье Шевырева и на что указал в своей статье, написанной в следующем, 1836 году, Белинский.

К числу рецензий мы относим статью «Вольтер», написанную во второй половине 1836 года по поводу выхода в Париже переписки Вольтера с историком де Броссом.

Эта обстоятельная рецензия снабжена библиографическим обозначением (на французском языке), дана суть темы переписки в историческом ее разрезе. Интересно отметить, что, в порядке библиографической ссылки, есть указания на сочинения де Бросса, вплоть до последних. Оценки отдельных писем с цитатами даны лаконично в тексте. Наконец, сообщаются неизвестные стихи Вольтера и дается краткая их оценка.

Некоторую детализацию в изложении истории переписки нужно, как нам кажется, отнести за счет большого интереса Пушкина к Вольтеру.

Сюда же относим и вторую статью, помещенную в «Литературной Газете», 1830 г., в №№ 4 и 12, «История русского народа» сочинение Николая Полевого, том 1-й». В этой статье, носящей характер рецензии (краткое библиографическое обозначение, разбор книги, суммарные оценки, вскрывающие недостатки автора книги и предисловия), Пушкин прорецензировал не только содержание тома, но и предисловие в связи с историческим трудом Карамзина.

Своеобразием этой единственной статьи-рецензии, оценивающей книгу по истории, является, кроме обычных метких

оценок, ее полемичность («История» Полевого была во многом полемична по отношению к предшественникам, в первую очередь к Карамзину»)[68] и информационная оценка, как первой строки посвящения («Г-ну Нибуру, первому историку нашего века»), так и предисловия.

«За посвящением следует предисловие, — писал Пушкин. Вступление в оное писано темным, изысканным слогом и своими противоречиями и многословием напоминает философическую статью о русской истории, напечатанную в «Московском Телеграфе» и разобранную с такой оригинальной веселостью в «Славянине».

Самой обширной рецензией Пушкина является его рецензия на французский перевод «Записок Джона Теннера», помещенная в «Современнике», т. III, за 1836 год.

Прежде чем дать краткое изложение содержания «Записок», подкрепляя их цитатами, Пушкин дает отвратительный облик Американских Штатов, ярко рисуя настоящее лицо буржуазной «демократии» и гневно обличает нравы американских рабовладельцев: «С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами».

Вместе с тем поэт выясняет отношение Американских Штатов к индейским племенам: «Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся; и пространные степи, необозримые реки, на которых сетьми и стрелами добывали они себе пищу, обратятся в обработанные поля, усеянные деревнями, и в торговые гавани, где задымятся пироскафы и разовьется флаг американский»[69].

Пушкин далее указывает, что читатели знакомы с нравами северо-американских индейцев... «по описанию знаменитых

романистов. Но Шатобриан и Купер... закрасили истину красками своего воображения».

В рецензии Пушкин дает лаконическую общую оценку: «Эти «Записки» драгоценны во всех отношениях».

Примечательна концовка этой рецензии. В ней Пушкин сообщает современное положение автора записок, — в которых простодушные и бесстрастные показания свидетельствовали перед светом о средствах, применяемых Американскими Штатами в XIX веке для распространения своего владычества среди индийских племен, — автора, делающегося настоящим янки и ведущим тяжбу с мачехой о нескольких неграх, оставленных ему по наследству, и, к тому же весьма выгодно продавшему свои «Записки».

На 1836 год падают также и наиболее лаконические рецензии А. С. Пушкина. К ним относятся: рецензия на комедию М. Н. Загоскина «Недовольные», на «Записки Чухина» Ф. Булгарина. Это не только краткая рецензия, но и весьма остроумная, заключительная оценка этой последней попытки Булгарина написать роман. Она не расходится с оценкой В. Белинского.

Наконец, рецензия на записки дебютанта в литературе Н. А. Дуровой, о которых Пушкин написал заметку в «Современнике», а в письме к В. А. Дурову (27.III.1836 г.) сообщал: «Сей час прочел переписанные Записки: прелесть! живо, оригинально, слог прекрасный. Успех несомнителен»[70]. Приводим эту рецензию, как образец краткости, простоты, ясности рецензируемого материала: «Кавалерист-девица, происшествие в России, в 2 ч. Издал Иван Бутовский. СПБ. При подписке 1 ч. выдается, а на 2 билет». Под сим заглавием вышел в свет первый том записок Н. А. Дуровой. Читатели «Современника» видели уже отрывки из этой книги. Они оценили без сомнения прелесть этого искреннего и небрежного рассказа, столь далекого от авторских притязаний, и простоту, с которой пылкая героиня описывает самые необыкновенные происшествия. В сем первом томе описаны детские лета, первая молодость и первые походы Надежды Андреевны. Ожидаем появления последнего тома, дабы подробнее разобрать книгу, замечательную по всем отношениям»[71].

Это образец не простого рецензирования, а оценка рецензента-художника, каким был А. С. Пушкин (см. также рецензии на «Записки Чухина», «Фракийские элегии» и др.).

Свое понимание научного значения библиографии Пушкин засвидетельствовал в рецензии на двухтомный «Ключ» к «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина. «... Г. Строев облегчил до невероятной степени изучение русской истории...»[72].

Эта рецензия может считаться тоже образцовой лаконичной рецензией с отчетливым обобщающим выводом — оценкой всего библиографического труда Г. Строева.

* * *

Пушкин был рецензентом-художником. Поэтому элементы сжатой до предельности, но яркой в своем художественном описании оценки на произведения ряда художников слова, мы находим также во многих поэтических произведениях Пушкина.

Так, в первом произведении «К другу-стихотворцу» (1814) есть оценка «Телемахиды»:

..Под сенью мирною Минервиной эгиды
Сокрыт другой отец второй «Телемахиды».
Страшися участи бессмысленных певцов,
Нас убивающих громадою стихов!
Потомков поздних дань поэтам справедлива;
На Пинде лавры есть, но есть там и крапива...

В эпиграмме, написанной осенью того же года «Арист нам обещал трагедию такую» Пушкин дал такую оценку плохого драматурга:

Арист нам обещал трагедию такую,
Что все от жалости в театре заревут,
Что слезы зрителей рекою потекут.
Мы ждали драму золотую.
И что же? дождались — и, нечего сказать,
Достоинству ее нельзя убавить весу:
Ну, право, удалось Аристу написать
Прежалостну пиесу...

В «Городке» (1815 г.), перечисляя любимых писателей, Пушкин во главе их поставил Вольтера, давая ему такую лаконическую оценку:

Фернейский злой крикун,
Поэт в поэтах первый,
Ты здесь, седой шалун!
Он Фебом был воспитан,

Издетства стал пиит;
Всех больше перечитан,
Всех менее томит;
... Скажу ль? ... Отец Кандида —
Он все; везде велик
Единственный старик!

В дальнейшем изложении Пушкин, перемешивая свои коротенькие характеристики — оценки русских писателей с французскими дает оценку баснописца Лафонтена:

И ты, певец любезный,
Поэзией прелестной
Сердца привлекший в плен,
Ты здесь, лентяй беспечный,
Мудрец простосердечный,
Ванюша Лафонтен!

Выпукло-художественной является и оценка сатир князя Д. П. Горчакова:

О, князь, наперсник муз,
Люблю твои забавы;
Люблю твой колкий стих
В посланиях твоих,
В сатире — знанье света
И слога чистоту,
И в резвости куплета
Игриву остроту...

* * *

Наряду с несколькими еще оценками других поэтов (Батюшкова, Крылова) в конце произведения есть оценочный отклик на порнографические оды Баркова (имя его идет под характерной кличкой «Свистова»):

А я сижу смиренно
В мечтаньях углубленный,
Не слушая ее.
На рифмы удалого
Так некогда Свистова
В столице я внимал,
Когда свои творенья
Он с жаром мне читал.
Ах! видно бог пытал
Тогда мое терпенье!..

Оценочный элемент «Телемахиды» Тредьяковского мы снова находим в первом программном выступлении Пушкина, связанном с Арзамасом, в стихотворении 1816 г. «К Жуковскому»:

Пред ним растерзанный стонает Тилимах;
Железное перо скрыпит в его перстах,
И тянет за собой гекзаметры сухие,
Спондеи жесткие и дактилы тугие.
Ретивый музою прославленный певец,
Гордись — ты Мевия надутый образец!

* * *

В поэме «Граф Нулин» есть оценка сентиментального романа:

Любовь Элизы и Армана,
Иль переписка двух семей —
Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей...

С интересующими нас элементами рецензирования мы встречаемся и в «Евгений Онегине».

Так, в главе III есть оценка романа Ричардсона «Грандисон»:

И бесподобный Грандисон,
Который нам наводит сон...

А вот оценка Байрона-романтика в той же главе:

Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир
Или задумчивый Вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачный,
Иль вечный жид, или Корсар,
Или таинственный Сбогар.
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм...

В V главе романа Пушкин бросает такую краткую, но глубоко правдивую, образную оценку произведения Вяземского «Первый снег»:

Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег:
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях...

Наконец, стихи из VII главы «Евгения Онегина», в качестве оценки произведения французского писателя Бенжамена Констана «Адольф», Пушкин приводит в своей заметке характера рецензии о переводе этого романа в «Литературной Газете» в 1830 г., в № 1: «Адольф» принадлежит к числу двух или трех романов,

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтаньям преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Бенжамен Констан первый вывел на сцену сей характер...»

* * *

Пушкин был художником-рецензентом, библиографические работы которого лишены формалистского академизма, проникнуты целеустремленной тематичностью, они развивали и популяризировали библиографические идеи лучших библиографов того времени и отражали в себе конкретные элементы литературной борьбы своего времени.

Шестнадцатилетний Пушкин в одном из своих наиболее ранних стихотворных произведений дал новую и интересную для своего времени форму библиографических материалов — обозрение в стихах («Городок»). Так, рано зародившийся библиографический интерес Пушкин пронес через всю свою творческую жизнь, воплощая его в разные виды библиографической работы, сочетая эту работу с растущим и крепну-

щим талантом в области художественной литературы и других сфер, где так ярко и убедительно проявится пушкинский гений. Библиографическая деятельность Пушкина свидетельствует о его большой работоспособности, полезной инициативности, исключительной добросовестности. Она является еще одним доказательством того, что настоящей любовью к народу, к передовой литературе и ее творцам, верой в творческие возможности молодых дарований были пронизаны не только его художественные произведения, письма, статьи, но и заметки, рецензии, составляющие небольшое, но достойное памяти великого поэта наследие в области русской библиографии.

Пушкин не только был деятельным сторонником сообщения читателям известий о новых книгах, но сам аннотировал и рецензировал их, учитывая, как и во всей своей журнальной работе, необходимость борьбы с реакционным триумвиратом, с его засилием в литературе, критике и общественно-литературной жизни.

Пушкин не только продолжил развитие рекомендательной библиографии, начало которой было положено в XVIII веке, но и сочетал свои рекомендательные приемы с элементами критической библиографии, установил прием рекомендации—«звездочки» (в отд. «Новые Книги» журнала «Современник»). Свои рекомендательные задачи Пушкин осуществлял не только в рецензиях и заметках, но иногда даже в сносках, примечаниях* и в некоторых редакционных предисловиях и послесловиях**.

Признавая значение учетной регистрации книжной продукции, упрачивая и развивая в своих библиографических материалах элементы критической и рекомендательной библиографии, Пушкин своим обобщающим критико-политическим суммированием и оценкой книжной продукции стал новатором в развитии русской библиографии, прежде всего, журнальной.

Вводя в «Современник» текущую библиографическую регистрацию, Пушкин не ограничивал задачи библиографического отдела своего журнала перечнем и рассмотрением только «ученых книг» и «сухими библиографическими известиями», а вносил в свои «реестры» книги по многим отрас-

* Рецензия на «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя, на «Карелию» Ф. Глинки и др.

** См. «Записки Н. Дуровой», «Примечание к повести Гоголя «Нос» и др.

лям знания. Инициатива Пушкина в организации библиографического отдела и руководства им в «Современнике», его забота об издании «Ключа» П. Строева к «Истории» Карамзина, положительная рецензия на этот значительный библиографический труд, понимание того, что столь обширный вспомогательный указатель не является простой механической работой, использование библиотечных и архивных материалов, а также библиографических списков литературы, личное ведение записи книжной литературы в работе над историческими темами (работа в библиотеке Вольтера, в архивах, список Корфа о литературе Петровской эпохи), интерес к изданию в России первого Энциклопедического Словаря и составление им самим вспомогательного указателя к Истории Пугачева — все это выявляет прочность и серьезность библиографических интересов Пушкина, его глубокое понимание и признание научного значения библиографии и ее воспитательной роли в общественной жизни.

Существенным видом библиографической работы Пушкина была рецензия. Пушкин уделял основное внимание содержанию рецензируемого произведения. Его рецензии свидетельствуют, что он вполне знаком с современными ему приемами библиографического описания печатных изданий. Невпример многим своим современникам, он пользуется цитированием тех источников, откуда брал необходимые ему материалы.

По справедливой оценке современников (напр., И. Киреевского) Пушкин был художником и в своей рецензентской яркой деятельности. Он придал библиографии прогрессивный, общественно-политический характер.

В этом смысле пушкинские начинания в журнальной библиографии не умирают в последующем развитии прогрессивной библиографии. Об этом свидетельствует состояние библиографического отдела «Современника» в период В. Белинского (1847—1848), Н. Чернышевского и Н. Добролюбова (с середины 50-х гг. до 1861 г.).

В этом плане можно считать библиографический отдел «Современника» предшествующим этапом в формировании библиографии революционных демократов, а библиографическую деятельность Пушкина вообще—преддверием и первыми значительными шагами русской библиографии, проявившей себя впоследствии в печатных органах великих крити-

ков-демократов (В. Белинский, Н. Чернышевский, Н. Некрасов, М. Салтыков-Щедрин).

Преждевременная гибель поэта не дала возможности реализовать его планы библиографической деятельности, но все же то, что он сделал было для своего времени значительным, а для отечественной библиографии вполне достаточным, чтобы имя Пушкина прочно вошло в историю русской библиографии.

Многогранная одаренность А. С. Пушкина, поэтический гений его проявился во многих областях величественного здания русской культуры: в литературе, критике, исторической науке, издательском деле, в журналистике и в отечественной библиографии.

Здесь Пушкин не только продолжил и узаконил своим трудом лучшие идеи и методы, выдвинутые и обоснованные видными деятелями библиографии своего времени, но развил их, внес свое новое, оригинальное и тем самым способствовал развитию русской библиографии XIX века.

ИСТОЧНИКИ ЦИТИРОВАНИЯ

1. К. Маркс, Ф. Энгельс — Об искусстве, стр. 325, 1937.
2. В. Г. Белинский — Собрание сочинений в трех томах, ОГИЗ, т. I, стр. 268, 1948 (в дальнейшем ссылки на это издание делаются кратко: Белинский, т... стр...).
3. Пушкин — Полное собрание сочинений. Переписка, т. 16, Изд. Ак. наук СССР, стр. 226, 1949 (в дальнейшем ссылки на это издание делаются кратко: Пушкин, Переписка, т... стр...)
4. А. Дружинин — «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений», «Отечеств. Записки», т. 130, отд. III—IV, стр. 73, 1855.
5. В. Сопиков — «Опыт российской библиографии». Предуведомление, стр. V, 1813.
6. П. Анненков — «Материалы о Пушкине», стр. 160, 1873.
7. Пушкин — Переписка, т. 15, стр. 74, 1948.
8. Пушкин — Переписка, т. 16, стр. 52, 1949.
9. Пушкин — Переписка, т. 13, стр. 178, 1937.
10. Пушкин — Переписка, т. 13, стр. 261, 1937.
11. Пушкин — Переписка, т. 14, стр. 143, 1941.
12. Пушкин — Переписка, т. 15, стр. 26, 1948.
13. Пушкин — Переписка, т. 16, стр. 48, 1949.
14. Пушкин — Переписка, т. 14, стр. 220, 1941.

15. Пушкин — Переписка, т. 14, стр. 254, 1941.
16. А. И. Дельвиг — «Мои воспоминания», т. 1, стр. 99, 1913.
17. В. Евгеньев-Максимов — «Современник» в 40—50 гг. («Современник» Пушкина, Д. Максимов, стр. 373). 1934.
18. Пушкин — Переписка, т. 16. стр. 69—70, 1949.
19. А. Никитенко — Записки и Дневник, т. 1, стр. 271, изд. 2, 1904.
20. Пушкин — Переписка, т. 16, стр. 113, 1949.
21. Пушкин — Переписка, т. 16, стр. 121, 1949.
22. Белинский — Соч., т. 1, стр. 279, 1948.
23. Пушкин — Полное собрание сочинений в шести томах, ОГИЗ. Изд. пятое, т. 6, кн. 1, стр. 449, 1948. (В дальнейшем ссылки на это издание делаются кратко: Пушкин, Соч., изд..., т..., 19. . . г.
24. А. Никитенко — Записки и Дневник, т. 1, стр. 273, изд. 2-е 1904.
25. Белинский — Соч., т. 1, стр. 282, 1948.
26. Пушкин — Переписка, т. 14, стр. 161, 1941.
27. Белинский — Соч., т. III, стр. 682, 1948.
28. Пушкин — Соч., изд. второе, т. 5, стр. 231—232, 1934.
29. «Современник» — 1836, т. 1, стр. 319.
30. Пушкин — Соч., изд. второе, т. 5, стр. 65, 1934.
31. Пушкин — Переписка, т. 14, стр. 220—221, 1941.
32. Пушкин — Переписка, т. 15, стр. 9, 1948.
33. Белинский — Соч., т. 1, стр. 281, 1948.
34. «Современник» — 1836, т. 1, стр. 296—319.
35. «Современник» — 1836, т. III.
36. «Современник» — 1836, т. 1, стр. 319.
37. Пушкин — Соч., изд. четвертое, т. 1, стр. 60, 1936.
38. Пушкин — Переписка, т. 14, стр. 284, 1941.
39. Пушкин — Переписка, т. 15, стр. 14, 1948.
40. Пушкин — Переписка, т. 15, стр. 124, 1948.
41. Пушкин — Переписка, т. 16, стр. 168, 1949.
42. «Ивана Тимофеевича Лисенкова воспоминания в прошедшем времени о книгопродавцах и авторах». См. «Материалы для истории русской книжной торговли» СПБ, стр. 67—68, 1879.
43. Пушкин — Переписка, т. 16, стр. 178, 1949.
44. Пушкин — Переписка, т. 15, стр. 116, 1948.
45. Пушкин — Соч., изд. пятое, т. 6, кн. 1, стр. 416, 1948.
46. Сакулин — Из истории русского идеализма. В. Ф. Одоевский, т. 1, ч. 2, стр. 414—415. Прим. 2, 1913.
47. Н. Барсуков — Жизнь и труды П. М. Строева, СПБ, стр. 298, 300, 1878.
48. Пушкин — Переписка, т. 14, стр. 74, 1941.
49. Пушкин — Соч., изд. второе, т. 5, стр. 225, 1934.
50. Н. Здобнов — История русской библиографии, т. 1, стр. 49, 1944.
51. Пушкин — Критик, сб., стр. XLI, 1934.
52. Пушкин — Критик, сб., стр. 181, 1934.

53. Пушкин — Переписка, т. 2, изд. Акад. Наук, стр. 309, 1908.
54. Пушкин — Переписка, т. 14, стр. 128, 1941.
55. Пушкин — Переписка, т. 15, стр. 9, 1948.
56. Пушкин — Соч., изд. второе, т. 5, стр. 67—68, 1934.
57. Пушкин — Соч., изд. пятое, т. 6, кн. 1, стр. 453, 1948.
58. Пушкин — Соч., изд. второе, т. 5, стр. 456, 1934.
59. Пушкин — Соч., изд. второе, т. 5, стр. 471, 475, 1934.
60. Пушкин — Соч., изд. второе, т. 5, стр. 12, 1934.
61. Пушкин — Переписка, т. 13, стр. 145, 1937.
62. Пушкин — Переписка, т. 13. стр. 264, 1937.
63. Пушкин — Переписка, т. 2, изд. Акад. Наук, стр. 152, 1908.
64. Пушкин — Переписка, т. 14, стр. 56, 1941.
65. Пушкин — Переписка, т. 2, изд. Акад. Наук, стр. 309, 1908.
66. А. П. Керн — Воспоминания, стр. 346, 1929.
67. Пушкин — Соч., изд. второе, т. 5, стр. 275, 1934.
68. Пушкин — Сочинения, 1936, стр. 912 (примечание).
69. Пушкин — Соч.. второе изд., т. 5, стр. 186—187, 1934.
70. Пушкин — Переписка, т. 16, стр. 99, 1949.
71. Пушкин — Соч., второе изд., т. 5, стр. 225, 1934.
72: Пушкин — Соч., второе изд., т. 5, стр. 225—226, 1934.

И. КОБЕР

ЭТЮДЫ О ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА

I. ПИМЕН И БОРИС

Все творчество великого русского национального поэта было подчинено благородной патриотическй цели—созданию глубоко оригинальной, национально-самобытной, правдивой; реалистической, народной литературы. Непримиримый враг эпигонства, рабской подражательности всякого рода, Пушкин в каждом роде и виде литературного творчества проявил исключительную оригинальность и пламенный патриотизм в органическом сочетании со свободолюбием, с горячим сочувствием к угнетенному народу. Патриотизм, реализм, народность — неотъемлемые качества всех его великих произведений.

В драматургии эти основные качества пушкинского творчества наиболее ярко выражены в трагедии «Борис Годунов».

Создавая эту трагедию, Пушкин стремился разрешить важную глубоко патриотическую задачу — заложить основы русского реалистического театра, вытеснить с русской сцены бессодержательные французские водевили и холодные, рационалистические, приспособленные к интересам дворянской аристократии пьесы классицизма. Пушкин неоднократно утверждал, что России нужен не придворный театр Корнеля и Расина, а глубоко народный, реалистический театр. Поэтому в трагедии «Борис Годунов» Пушкин до конца разрушает все условности классицизма и прежде всего знаменитые три единства.

Изображая эпоху народных восстаний, Пушкин стремится воспроизвести эту эпоху во всей ее сложности, провозглашает основной принцип реализма — правдивое изображение жизни. Стремясь осуществить этот принцип, поэт упор-

но работает над летописями, изучает все доступные ему исторические документы. К изучению прошлого Пушкин подходит с точки зрения передовых идеалов своего времени. Идея решающей роли народа в исторических событиях стала прочным его завоеванием. Это дало возможность Пушкину стать несравненно выше историков того времени и показать решающую роль народа в период так называемого «смутного времени». Показывая в историческом прошлом противоречия между народом и царской самодержавной властью, обличая самодержавие, поэт имел в виду настоящее и будущее, проводил идею неизбежности крушения самодержавной власти, чуждой и враждебной народу.

Все эти общие вопросы идейного и литературно-исторического значения трагедии в основном выяснены в нашем советском литературоведении и на них, пожалуй, не стоит останавливаться более подробно.

Нас в данном случае привлекают отдельные конкретные вопросы, которые, нам кажется, не нашли должного разрешения. В этом плане хочется прежде всего остановиться на образе Пимена. Считается общепризнанным, что образ Пимена является одним из самых ярких образов, созданных гением Пушкина. В чем же его привлекательность и обаяние? Оказывается, только в том, что Пушкину удалось воспроизвести в этом образе черты древнего летописца. Вот как трактуется этот образ в учебнике Поспелова, Шаблиовского и Зерчанинова: «В этом образе Пушкин воспроизвел типические черты древнего летописца. Он «долго жил и многим насладился», но, в конце концов, «уразумел ничтожность мирских сует» и поступил в монастырь, где посвятил себя летописному делу». («Русская литература», стр. 286).

Если бы в образе Пимена Пушкин изобразил только человека, который «долго жил и многим насладился», а потом ушел в монастырь, то вряд ли он привлекал бы наше внимание более чем через сто лет после своего художественного воплощения. Неверно также и то, что Пимена не трогает «мирская суета», тщету которой он уразумел, уйдя в монастырь. Дело обстоит как раз наоборот: в монастыре на старости лет Пимен живет «мирскою суетою». Он обличает Бориса перед грядущими поколениями. В его обличающей летописи своеобразно, со свойственной монаху религиозной окраской отражается народное недовольство правлением Бориса.

Прогневили мы бога, согрешили;
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли.

О том, что летопись Пимена не бесстрастна, что она исполнена с большой обличительной силой, хорошо говорит Григорий:

Борис! Борис! Все пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О гибели несчастного младенца—
А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет:
И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от божьего суда.

В трагедии Пушкина Пимен является единственным положительным образом, резко противопоставленным всем остальным. Он противопоставлен как человек исключительно высокого чувства долга, неподкупности и самоотречения. На старости лет Пимен живет интересами Родины, работает для ее блага до последнего удара сердца. Очевидно, сила и обаятельность образа Пимена в том, что Пушкин, изображая древнего летописца, отразил в нем некоторые замечательные черты русского патриота, бесконечно дорогие сердцу поэта. Конечно, Пушкин стремился к максимальной исторической точности в воспроизведении древнего летописца, отсюда много преходящих черт в образе Пимена, свойственных определенной эпохе. Этой преходящей чертой является прежде всего религиозность Пимена. Будучи сам атеистом, Пушкин обладал огромным чутьем к правде. Он прекрасно понимал, что патриот того времени, как правило, был религиозным человеком. Но значение образа Пимена не в его религиозности и связанных с ней преходящих чертах, свойственных определенной эпохе. Пушкин, как великий художник, тем и велик, что он умел схватывать основные, коренные качества людей, характерные не для одной эпохи.

Пимен — монах, но монах особенный. Он беззаветно служит родине. Конечно, он, как глубоко религиозный человек, смотрит на служение родине, как на долг, завещенный от бога. Разумеется, это преходящая сторона в образе Пимена. Нам, нашей эпохе свойственно другое идейное обоснование служения родине.

В молодости Пимен не был монахом. Он служил родине мечом. Свойственны ему были и все другие, «мирские» стра-

сти: стремление к почестям, славе, роскоши; ведома была ему «и женская лукавая любовь». Григорий с восторгом и завистью говорит о молодости Пимена:

Как весело провел свою ты младость!
Ты воевал под башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,
Ты видел двор и роскошь Иоанна!

Такова молодость Пимена. Храбро драться с врагами за родину, защищать ее рубежи с востока и запада, — в самом деле, завидная судьба. И в старости, уже в монастыре, Пимен не может забыть бурных лет своей молодости:

Мой старый сон не тих и не безгрешен,
Мне чудятся то шумные пиры,
То ратный стан, то схватки боевые,
Безумные потехи юных лет.

Но годы шли, слабели физические силы, боевая служба становилась не по силам Пимену. Улеглись, остыли свойственные молодости страсти. Осталась и усилилась одна, самая благородная и святая — беспредельная горячая любовь к родине, к своему народу. Уйдя в монастырь, Пимен усердно служит родине пером так же, как раньше служил ей мечом. В этом служении родине — смысл и счастье его жизни:

На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною.
Давно ль оно неслось событий полно,
Волнуяся, как море-окиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно...

Пимен одинок, нет возле него родных и близких, но в старости он не чувствует горького одиночества. Он чувствует себя сыном бессмертного народа, которому он бескорыстно служит. Вдохновенен и радостен его труд, согретый любовью к народу. Пимен чувствует, что недолго продлится его жизнь, и спешит закончить свой правдивый рассказ о виденных событиях, сослужить свою последнюю службу народу:

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу...

Поэтому всю ночь до рассвета горит лампада в его келье, всю ночь до рассвета работает неутомимый старец. Правдив его труд. Но ни от кого не ожидает он награды и поощрения.

Пимен необычайно скромен, как и подобает быть русскому патриоту. Нет в нем ни зависти к сильным мира сего, ни жажды славы. Единственная награда его — сознание выполненного долга перед родиной. Народ узнает правду о прошлых событиях; с благодарностью вспомнит он о человеке, самоотверженно трудившемся для его блага, но имени летописца не узнает никогда.

Горячая любовь к народу, высокое чувство долга перед родиной, самоотверженность, скромность, украшающая человека, — лучшие качества русского патриота воплощены Пушкиным в образе Пимена.

Образ Пимена будет менее наглядным и убедительным, если не сравнить его с главным действующим лицом трагедии, царем Борисом. В изображении Пушкина по своим душевным, моральным качествам он является полной противоположностью Пимену. Главное стремление Бориса — это жажда власти, жажда возвышения себя и своего рода. Будучи человеком огромной воли и гибкого ума, Борис неуклонно идет к своей цели, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Свое стремление к власти он маскирует смирением, лицемерно отказывается от царского венца, морщится, «что пьяница перед чаркою вина», заставляет себя упрашивать, чтобы поднять свой авторитет в глазах народа. Но хитрость и лицемерие не могут скрыть его сущности. В конце концов Борис становится тираном, который не щадит никого ради укрепления своей власти. «Зять палача и сам в душе палач» обнаруживает себя целиком.

Но Пушкин, следуя реалистическому методу, не односторонне изображает Бориса, он показывает ряд его положительных качеств. Борис умный государственный деятель, у него огромный опыт государственного управления. В предсмертном совете Борис старается передать сыну этот опыт:

Советника, во-первых, избери
Надежного, холодных зрелых лет,
Любимого народом, — а в боярах
Почтенного породой или славой —
Хоть Шуйского. Для войска ныне нужен
Искусный вождь: Басманова пошли,
И с твердостью снеси боярский ропот.
Ты с малых лет сидел со мною в Думе,

Ты знаешь ход державного правленья;
Не изменяй теченья дел. Привычка—
Душа держав. Я ныне должен был
Восстановить опалы, казни—можешь
Их отменить; тебя благославят.
Как твоего благославляли дядю,
Когда престол он Грозного приял.
Со временем и понемногу снова
Затягивай державные бразды.

Хитрый, расчетливый политический делец сказывается в Борисе до последней минуты. Приблизь к себе Шуйского и тем самым обезглавишь боярскую оппозицию, а в остальном поступай так же, как сам Борис.

Борис хороший семьянин, верный муж, трогательно заботливый и любящий отец. С радостью наблюдает он за успешной учебой сына, с радостью замечает, что в научных познаниях сын превосходит отца. Борис нежно любит свою дочь, старается устроить ее личное счастье, он глубоко потрясен, когда не удается устроить замужество дочери. Любовь к родным доходит у Бориса до самоотвержения. После смертельного приступа болезни во время приема послов Борис чувствует, что жить ему осталось только несколько минут. Он, по-своему, является глубоко религиозным человеком. Как же распорядиться ему последними минутами жизни? Исповедаться ли и тем самым очистить душу или дать наставление сыну? Любовь к сыну оказывается в нем сильнее страха религиозного человека перед божьим судом. Борис умирает, так сказать, нераскаянным, но успевает дать сыну необходимый совет. Эти и подобные черты, несомненно, возвышают Бориса. Но в нем нет основного качества, необходимого для всякого человека, а для государственного мужа в особенности: нет у него безграничной пименовской любви к родине. У Бориса на первом плане личные интересы, удовлетворение непомерного честолюбия, а интересы родины на втором. А без этого основного качества все остальные не имеют цены. Именно поэтому Борис не может заслужить доверия и любви народа. Народ видит в нем узурпатора, видит в нем причину своих бедствий, верит поэтому всевозможным слухам, распространяемым боярами о Борисе, — и ложным и действительным. Наряду с этой, Пушкин указывает и другую важную причину народного недовольства правлением Бориса. Борис проводит поли-

тику усиления крепостного права. Эта политика озлобляет народ и вызывает своеобразное недовольство бояр вотчинников:

Вот Юрьев день задумал уничтожить.
Не властны мы в поместьях своих.
Не смей согнать ленивца! Рад не рад,
Корми его; не смей переманить
Работника! Не то, в Приказ Холопей.
Ну, слыхано ль хоть при царе Иване
Такое зло? А легче ли народу?
Спроси его. Попробуй самозванец
Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдет потеха.

Пушкин с необычайной для того времени прозорливостью видел действительные причины народного возмущения правлением Бориса и первых успехов самозванца. Недоверие народа колеблет трон Бориса, делает неустойчивой его власть. Опалы и казни не укрепляют его положения, как это было при Грозном, а наоборот, только озлобляет народ и бояр. Страсть к власти, к личному возвышению заглушает в Борисе лучшие человеческие качества. Удовлетворение непомерного честолюбия не принесло пользы государству и не сделало его счастливым человеком. Наоборот, Борис трагически мечется на троне в царских палатах:

Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет в моей душе. Не так ли
Мы смолоду влюбляемся и алчем
Утех любви, но только утолим
Сердечный глад мгновенным обладаньем,
Уж охладев, скучаем и томимся.
Напрасно мне кудесники сулят,
Дни долгие, дни власти безмятежной —
Ни власть, ни жизнь меня не веселят;
Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет...

Мрачное настроение в связи с недоверием народа усугубляется внутренними душевными противоречиями. Перед самим собой Борис не может найти государственного оправдания совершенным преступлениям при восхождении на трон, отсюда душевный разлад, мучения совести:

Ах! Чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... Едина разве совесть.
Так, здравая она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою,
Но если в ней единое пятно,
Единое случайно завелося,
Тогда—беда! Как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком, стучит в ушах упрек,
И все тошнит и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда. Ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Под тяжестью растущих затруднений в управлении государством и трагического душевного разлада гибнет Борис. Шапка Мономаха действительно оказалась для него слишком тяжелой. Своей тяжестью она раздавила умного, но нечестного царя.

Изображая Бориса, Пушкин в художественной форме проводил идею, что не цари, а народ является решающей силой в важнейших исторических событиях. Ясно также и то, что, изображая Бориса, Пушкин метил в царскую власть вообще, подчеркивая, что цари для достижения и укрепления своей власти не гнушаются итти на самые жуткие, коварные злодейства.

Честный, горячо любящий родину, работающий для ее блага до последней минуты, скромный и величественный в своей скромности Пимен, а с другой стороны. — сверкающий царским венцом и бармами Мономаха, внутренне жалкий, мятущийся на троне одинокий Борис. В чем идейный смысл этого столь яркого контраста? Вот вопрос, который прежде всего привлекает наше внимание. Не честолюбие, не внешне высокое, блестящее положение, а честное служение родине должно составлять смысл жизни человека. В этом идейный смысл противопоставления Пимена всем основным героям трагедии. Кто умеет выше всего ставить не свои узко личные интересы, а интересы родины, государства, тот в беззаветном служении народу находит и самое высокое личное счастье и моральное удовлетворение. Глубокий патриотизм формирует внутренне цельного человека высокой моральной чистоты и честности. Вот эта сторона идейного содержания трагедии была и остается глубоко актуальной и правдивой,

несмотря на отдельные неточности или неправильности в воспроизведении того или иного исторического деятеля.

Великий русский поэт, горячий патриот своей родины, видел, как в его время высокие государственные посты в том числе и царский трон занимали люди, чуждые народу. Подхалимы, честолюбцы, бездушные карьеристы стояли во главе государства. Пушкин ненавидел страстной ненавистью патриота правящую верхушку царской России. Он мечтал о том времени, когда государственная власть будет служить народу. Это время настало после Великой Октябрьской социалистической революции. Сбылись заветные мечты великого гения нашего народа о беззаветном служении родине, «делу, а не лицам», об органическом единстве между народом и властью.

II. ТАТЬЯНА

Татьяна... У кого из прогрессивно мыслящих образованных русских людей учащенно не билось сердце при первом чтении знаменитого романа Пушкина? У кого навек не остался в памяти и в сердце пленительный образ Татьяны, такой простой и обаятельной? В ком не пробуждались лучшие, самые высокие и благородные чувства под влиянием гениального создания Пушкина, его «верного идеала»? Почему же не увянет в веках этот замечательный образ, а останется важным, необходимым, жизненным элементом в воспитании нашей молодежи?

В образе Татьяны Пушкину удалось воспроизвести лучшие качества русской женщины. Образ Татьяны — пример искренности и моральной чистоты, образец моральной стойкости. Пройдут века, а этот прекрасный образ будет попрежнему волновать юношество и старшие поколения, возбуждая у людей самые благородные эмоции и стремления.

В трагедии «Борис Годунов» Пушкин показал решающую роль народа в важнейших событиях. Изображая Татьяну, Пушкин показал решающую роль народа в формировании морального облика человека. Он настоятельно проводит мысль о моральном превосходстве народа над господствующими классами. Чем ближе человек к народу, тем он лучше.

Татьяна росла и развивалась под влиянием народа «Она в семье своей родной казалась девочкой чужой». Она любила народные песни, преданья, сказки, простой и скромный русский быт, родную русскую природу. Под влиянием народ-

ного творчества выработался у нее идеал личного счастья. Татьяна видела счастье не в богатстве, не в роскоши, а во взаимной любви, в доверии, в искренности и уважении друг к другу. Под влиянием народа развились у Татьяны лучшие черты ее характера: честность, искренность, глубина, сила и непосредственность чувства.

В отличие от пустых великосветских барышень, помешанных на новейших заграничных модах, погрязших в пустой светской суете, в отличие от большинства провинциальных дворянских девушек, бессознательно чертивших свою жизнь по образцу благоразумных мамаш и впоследствии становившихся обычными помещицами, которые умели бить служанок, брить лбы, владеть тайнами управления супругом, Татьяна, натура глубокая и самобытная, не воспринимала пошлости провинциальной дворянской, а потом и великосветской жизни. С высоты народного идеала Татьяна не то чтобы презрительно смотрела, но органически не переносила всех этих ограниченных, самодовольных, пустых провинциальных франтов — Буяновых, Петушковых и им подобных. Но «душа ждала кого-нибудь». Татьяна увидела Онегина, человека, в самом деле, далекого от мелочных расчетов и пошлости провинциальной дворянской жизни, человека необыкновенного не только для провинции того времени. И внешность, и манеры, и круг интересов — все у него было другое, необычное, во многом непонятное для Татьяны и привлекательное своей непонятностью. У Татьяны было очень мало жизненного опыта, да и образования, чтобы понять отрицательные стороны Онегина. Что ж удивительного в том, если он показался ей идеальным героем прочитанных романов, способным на самоотверженную любовь, на верность до гроба. Онегин овладел всем ее существом, она полюбила его со всем пылом юности, со всей искренностью и силой, на которую способно девичье сердце. В Онегине она увидела свой воплощенный идеал бесконечных радостей, взаимной любви, семейного счастья. В этом порыве глубокого чувства Татьяна до конца искренна и непосредственна. «Татьяна любит не шутя». Нет в ней и намека на игру с любимым человеком, на свойственное опытным кокеткам расчетливое «уловление» в сети молодого человека. Татьяна чиста в своих помыслах, как чиста и искренна ее любовь. Сила ее чувства так велика, что Татьяна, робкая и застенчивая девушка, находит в себе силы пренебречь общепринятыми приличиями и пер-

вой рассказать любимому человеку о своих чувствах, надеждах и тревогах.

Любовь в понимании Татьяны не сводится к мимолетным наслаждениям, а тем более к грубой чувственности. Она прекрасно понимает, что любовь связана с серьезными семейными обязанностями, и она готова с радостью выполнять эти обязанности — быть верной женой и добродетельной матерью. Личное счастье понимается ею достаточно широко для своего времени. Кристальная честность и искренность Татьяны, сила и непосредственность ее чувства, серьезное отношение к семейной жизни — все это глубоко народные черты в образе Татьяны, составляющие главную прелесть этого замечательного художественного образа. Эти основные качества Татьяны вместе со сдержанностью и душевной мягкостью всегда украшали и украшают русскую женщину.

Любовная трагедия Татьяны не случайна. Причина здесь не в ее молодости и неопытности, не в случайности встречи с Онегиным. Дело в том, что в дворянском обществе, провинциальном и столичном, было очень мало содержательных людей. «Перекрахмаленные столичные нахалы» или провинциальные обжоры, плуты, взяточники и самодовольные тупицы составляли подавляющее большинство дворянского общества. Были в этом обществе люди и повыше обычного дворянского круга, люди, не стремившиеся к наживе и карьере; презиравшие пустоту и мелочность дворянского общества, бессодержательность и пошлость светских удовольствий. Но это были Онегины, люди глубоко разочарованные в существующем, но не имеющие сил и воли бороться за лучшее будущее, неспособные к устройству личной жизни. Как видим, Татьяна, несмотря на молодость и неопытность, не ошиблась, увидев в Онегине человека, необыкновенного для дворянского круга. Она совершенно правильно остановила на нем свое внимание. Она не нашла с ним счастья, но это уже не ее вина. Встречались в дворянском обществе и люди большого политического закала. Это остатки разбитых декабристов, это — будущие Герцены и Огаревы и их соратники. Но это были единицы, и до них Татьяна не доросла, не потому только, что находилась в провинциальной глуши, а потому, что условия для развития женщины в то время были особенно неблагоприятны. Передовая русская женщина того времени была далека от политической жизни, не мечтала даже еще о выходе на широкую арену общественной деятельности. Передовая русская женщина того времени проявляла лучшие качества своей натуры—

любовь, самоотверженность, безграничную преданность, как жена, а не как общественный деятель. Пример декабристок— лучшее тому доказательство.

Отвергнутая Онегиным, Татьяна осталась трагически одинокой не только в обществе, но и в своей семье. Ни с кем не могла она поделиться своим горем, никто бы ее не понял, ни среди сверстниц, ни среди зрелых людей ее круга. Поэтому глубоко таит она свое горе и свою неугасающую любовь к Онегину, мучительно пытается она разобратья в причинах своей трагедии, пытается понять Онегина, но безуспешно.

И в одиночестве жестоком
Сильнее страстию горит,
И об Онегине далеком
Ей средце громче говорит.

Эта страсть, от которой она не в силах освободиться, сжигает ее тем более, что Татьяна не может ни в чем упрекнуть своего героя. Он оказался на этот раз прямым и честным человеком. Нельзя же обвинить его только за то, что он не полюбил Татьяну.

В расцвете юности ее мечты о счастье похоронены навсегда. Ниоткуда не ждет она помощи, никакой луч надежды не озаряет ее существования. Соседки и старшие, далекие от того, чтобы понять подлинную трагедию Татьяны, понимают ее по-своему:

Качая важно головою,
Соседки шепчут меж собою:
Пора, пора бы замуж ей!

Татьяну сбирают в Москву, «на ярмарку невест». Татьяна равнодушна к этим сборам, ее не привлекает большой свет с его суетой и шумом. Но бесконечно милы для нее родные места, родная природа, среди которой она выросла. С болью и нежностью прощается она с полями и лесами, так много говорившими ее сердцу:

Вставая с первыми лучами,
Теперь она в поля спешит
И умиленными очами
Их озирая, говорит:
«Простите, мирные долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса!
Прости, небесная краса,

Прости, веселая природа!
Меняю милый, тихий свет
На шум блистательных сует!»...

Татьяна уезжает в Москву совершенно равнодушная к своей будущей судьбе. Надежды на личное счастье разбиты, и она не помышляет даже о возможности обрести его в будущем. Блистательная суета большого света ее не прельщает. Для живой глубокой человеческой натуры не могло быть ничего привлекательного в среде дворянской знати, где «все на старый образец»:

У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна,
Все то же лжет Любовь Петровна,
Иван Петрович так же глуп,
Семен Петрович так же скуп.
У Пелагеии Николавны
Все тот же друг, мосье Финмуш,
И тот же шпиц, и тот же муж;
А он, все клуба член исправный,
Все так же смирен, так же глух,
И так же ест и пьет за двух.

Великосветская молодежь тоже вела бессодержательный образ жизни. Эта праздная среда, далекая от народа, чужда ему, чужда Татьяне с ее серьезным отношением к вопросам любви, к вопросам семейной жизни. Молодые девушки, едва познакомившись с Татьяной, уже поверяют ей свои тайны.

Для них любовь—это в лучшем случае средство развлечения, если не эгоистического расчета. Поэтому они так легко и идут на откровенность. И позже пустые бессодержательные женщины, с мелкими помыслами и страстишками занимали авансцену жизни. В противовес Татьяне такие натуры совершенно иначе подходили к вопросам любви:

...Любви мы цену тем умножим,
Вернее в сети заведем;
Сперва тщеславие кольнем
Надеждой, там недоуменьем
Измучим сердце, а потом
Ревнивым оживим огнем;

А то, скучая наслажденьем,
Невольник хитрый из оков
Всечастно вырваться готов.

Татьяна остается сдержанной в этой среде. Она, как священный огонь, обрегает тайны своего сердца от всякого непрошенного пошлого любопытства.

В великосветских гостинных

Татьяна вслушаться желает
В беседы, в общий разговор,
Но всех в гостинной занимает
Такой бессвязный, пошлый вздор;
Все в них так бледно, равнодушно
Они клевещут даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Расспросов, сплетен и вестей,
Не вспыхнет мысли в целы сутки...

В московском свете Татьяна остается одинокой. Да иначе и быть не могло.

Одинокая в свете, потерявшая всякую надежду на личное счастье выходит Татьяна замуж. Почему? Из чувства долга перед родными, да еще потому, что убеждается все больше в невозможности построить семейную жизнь на основе взаимной любви и подлинной человечности в той среде, к которой она принадлежала.

Другой сферы деятельности, кроме семейной, не существовало тогда для женщины ее круга, и Татьяна не могла поступить иначе, ибо не выйти замуж означало тогда для женщины лишить себя всякой жизненной деятельности, остаться на век пустоцветом. Чувство долга у Татьяны очень сильно и серьезно, как и все ее чувства. Это тоже одна из важнейших черт русского народного характера. Она выходит замуж из чувства долга, ибо для бедной Тани «все были жребии равны». И в этом смысле Татьяна осталась до конца верной русским народным традициям.

Татьяна стала знатной дамой петербургского света. Блеск и роскошь окружают ее. Почет и уважение сопутствуют ей при появлении в великосветских салонах:

К ней дамы подвигались ближе;
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялися ниже,

Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале...

Внешне и Татьяна стала другой. В ней уже совершенно нельзя было узнать провинциальной девушки, наивной и застенчивой, которой в провинциальной глуши Онегин дал суровый урок. Татьяна уже прекрасно разбиралась в людях, знала цену светской лести и светской «дружбы». Татьяна знала, что в этом обществе ни с кем нельзя быть откровенной, поэтому стальной броней от всех прикрыла она свое сердце. Она прекрасно усвоила великосветский тон и приличия. Это было тем более легко, что некоторые из этих приличий были для нее не просто приличиями, не маской, а соответствовали сути ее натуры. Так, например, она совершено естественно была скромна, в ней естественно не было и тени кокетства.

Всеобщие почет и уважение так же, как и блеск и роскошь, не вскружили голову Татьяне. Глубоко народная натура Татьяны не прельстилась светской мишурой. Она попрежнему в большом свете жила своей сосредоточенной внутренней жизнью, своими горестями. По существу своей натуры Татьяна осталась прежней Таней. В момент последнего свиданья с Онегиным она со свойственной ей искренностью и горечью говорит ему:

«А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск и шум и чад,
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где ныне крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...».

Татьяна не оставила мужа, не ушла с Онегиным. Почему? Семья, семейные обязанности, семейный долг священны для Татьяны. Не может она порвать семейные узы ради мимолетных удовольствий. «Я вышла замуж», — эти слова в устах

Татьяны полны глубокого смысла. Ни оставить мужа, который в глазах общества, да и в ее собственных глазах был порядочным человеком, ни тем более обманывать его Татьяна не может. Непоколебимая моральная стойкость, кристаллическая честность и незапятнанность в семейной жизни — лучшие качества Татьяны и русского женского народного характера.

Белинский был совершенно прав, нападая на уродливые формы семейной жизни и осуждая формы брака того времени. Но осуждать Пушкина за поведение Татьяны не было никакого основания. У Татьяны не было серьезных причин для разрыва с мужем, несмотря на любовь к Онегину. В изображении Татьяны, как народного характера, Пушкин был до конца прав и в художественном и в историческом смысле. По всем качествам своего характера в данной конкретной общественно-исторической и бытовой обстановке Татьяна не могла и не должна была поступить иначе в финале романа. Будучи не только на голову выше великосветской знати, но и совершенно отличным от своего круга человеком по своим моральным и человеческим достоинствам, Татьяна исторически была осуждена до конца жизни находиться в обществе дворянской знати, ибо другого сколько-нибудь образованного круга людей в то время не было, по крайней мере, для женщин.

Пушкин оставляет свою любимую героиню глубоко несчастной, оставляет ее в слезах, отвергающей своего незабвенного, но ненадежного друга.

Эта последняя сцена романа глубоко трагична и столь же глубоко правдива. Татьяна с ее чистой искренностью, с ее подлинной гуманностью не могла быть счастлива в дворянском обществе.

В этой мелочной, пустой среде особенно ярко возвышается ее одинокая трагическая фигура. Рисуя образ своей любимой героини, Пушкин мечтал о том времени, когда для нее наступит пора счастливой жизни. Счастье таких людей, как Татьяна, возможно со счастьем всего народа.

Прошло более века после гениального создания Пушкина, потребовалась коренная ломка социального и экономического строя страны, чтобы создать необходимые условия для народного счастья. Наша современная советская женщина во многом коренным образом отличается от пушкинской Татьяны. Ее интересы не замыкаются в рамках семейно-бытовой жизни. В борьбе и труде советская женщина идет рядом с муж-

чиной, проявляя чудеса доблести и героизма во всех областях общественной и трудовой жизни. Но все основные лучшие черты Татьяны являются неотъемлемыми качествами и нашей советской женщины, ибо в характере Татьяны отражён исторически сложившийся характер нашего народа. Мечты Татьяны о счастливой семейной жизни, основанной на взаимной любви и преданности, осуществляются только в нашу социалистическую эпоху. Только сейчас созданы условия для действительно прочной, подлинно дружной и человечной семьи. Образ Татьяны, созданный великим русским гением, помогает нашей молодежи вырабатывать, развивать в себе замечательные качества человеческой искренности, моральной чистоты и верности.

Пушкин создал великую национальную литературу—правдивую, реалистическую. В своем художественном творчестве он дал образцы сочетания высокой идейности с замечательным художественным мастерством. В этом его великая заслуга перед своей родиной, ради которой он жил и творил. Выражая в своем творчестве идеалы патриотизма и свободолюбия, подлинного гуманизма, народные чаяния и стремления своего времени, Пушкин стал бесконечно дорогим всем народам нашей великой Родины.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла доступ народным массам к достижениям прежней культуры и все, что было лучшего в прежней культуре, ожило и зацвело новыми благоуханными цветами. Чем шире развивается социалистическая культура в нашей стране, тем ценнее и необходимее становится поэзия Пушкина для всех народов нашей Родины. Идя вперед, к сияющим вершинам коммунизма, мы берем с собой великое литературное наследие Пушкина как одно из самых драгоценных сокровищ нашей национальной гордости, нашей национальной русской славы.

Т. М. ТУРОВ,
доцент, кандидат филологических наук

БОРЬБА ПУШКИНА ЗА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРАВА НАРОДНОГО ЯЗЫКА

О Пушкине мы имеем громаднейшую литературу — сотни исследований, и удивительно, что среди этих работ только единицы посвящены языку его произведений.

Исследования о языке Пушкина можно разделить на две группы. Первая группа — это незначительная по количеству группа дореволюционных исследований, но они все формально-грамматического порядка. Вот почему эти исследования не удовлетворяют наши запросы. Мы в наше, советское, время к работам о языке писателей предъявляем другие требования. Мы хотим, чтобы исследователь, кроме формальных лингвистических фактов, объяснил общественную значимость языка данного писателя: отражает ли он в своих произведениях, а следовательно — в языке и стиле их борьбу классов, был ли его язык прогрессивным для своего времени и т. д. Ничего этого мы не находим в работах лингвистов дореволюционного времени.

Действительные исследования о языке Пушкина начались лишь при Советской власти. Эти исследования и составляют 2-ю группу, довольно многочисленную, работ о языке и стиле Пушкина.

Лучшим знатоком пушкинского стиля и языка считается академик В. В. Виноградов. Он написал большую работу «Язык Пушкина», Academia, 1935, но в этой книге есть ошибки идеологического порядка. О некоторых из них мы скажем ниже.

К столетию со дня смерти Пушкина журнал «Русский язык в школе» издал сборник под названием «Стиль и язык А. С. Пушкина». Здесь напечатано 13 работ. В главной из них — «Язык Пушкина» В. А. Гофмана — имеется проявление космополитизма. Гофман пишет, что «Сказка о рыбаке и рыбке» написана Пушкиным по мотивам немецких сказок[1].

[1] Сборник «Стиль и язык Пушкина», Москва, Учпедгиз, 1937 г., стр. 61.

Таким образом, шедевр пушкинского творчества трактуется Гофманом как не оригинальное, не самобытное, не национальное произведение. Это—клевета на Пушкина, это—принижение значимости «Сказки о рыбаке и рыбке», которую с таким вниманием более ста лет слушали и ныне слушают дети русских людей, на идейной основе которой они воспитывались и воспитываются, языком которой они обогащали и обогащают свой речевой обиход.

Во всех языковедных работах о Пушкине, а также и в тех литературных исследованиях, где мимоходом говорится о языке поэта, мы имеем одно основное положение: Пушкин считается творцом русского литературного языка на подлинно-национальных, народных началах. Это положение утвердил в свое время В. Г. Белинский. Он в 1841 г. писал: «Не было еще на Руси такой колоссальной творческой силы, и так национально, так русски проявившейся... Пушкин расширил источники нашей поэзии, обратил ее к национальным элементам жизни, показал бесчисленные новые формы, сдружил ее впервые с русской жизнью и русской современностью, обогатил идеями, *пересоздал язык до такой степени,* что и безграмотные не могли уже не писать хорошими стихами, если хотели писать. Влияние Пушкина было не на одну минуту; *оно окончится разве со смертью русского языка*»[1].

Борьба за создание национального русского литературного языка у Пушкина шла разнообразными путями; из них мы остановимся на одном — на обращении поэта к народной речи.

В процессе создания русского национального литературного языка Пушкин неоднократно обращался к народной речи как к ее выражению в фольклоре, так и к ее разговорно-бытовой национальной стихии. Обращение Пушкина к народной речи вызвано было, во-первых, любовью его к русскому языку, о котором поэт с такой яркостью «нагой простоты» говорит в своих заметках: «Только революционная голова, подобная М. Орлову и Пестелю, может любить Россию так, *как писатель только может любить ее язык.* Все должно творить в этой России и в этом русском языке»[2]. Во-вторых, обращение к народной речи у Пушкина вызывалось и глу-

[1] В. Г. Белинский, «Русск. литер. в 1841 г.», Собр. соч., т. II, Госполитиздат, 1936 г., стр. 167, 170.

[2] Пушкин, Собр. соч., т. VI, стр. 26: Цитируется по изданию «Худ. лит.», 1936 г. В дальнейшем цитаты будут даваться из этого же издания. Курсив везде наш. — Т. Т.

бокими причинами мировоззренческого порядка. Он считал, что новый русский национальный литературный язык можно было создать только на народной речевой основе.

В использовании народных элементов речи Пушкин прошел через ряд периодов. Мы это можем проследить, если в хронологическом порядке проанализируем заметки Пушкина о языке, а также и его речевое творчество.

Использование просторечия

Литературно-языковые воззрения А. С. Пушкина до 1820 г. формировались под влиянием того направления, основателем которого, по словам самого Пушкина, был поэт Катенин, идейно, а до 1818 г. — и организационно связанный с революционным подпольем декабристов. Катенин был центральной фигурой литературной группы молодых писателей, которая боролась в 10-х гг. XIX ст. против эстетизма Карамзина и Жуковского в области русского литературного языка. Катенин и его единомышленники пуризму языка Карамзина и Жуковского противопоставили принцип использования просторечия и «простонародного» языка для создания национальной русской литературной речи. Они «отстаивали свободу слога в направлении к реализму и обязательность национального колорита, если это требовалось самим содержанием»[1]. Творчество Катенина, его борьба имели большое влияние на перестройку литературного языка от салонно-дворянского пуризма к реализму. Об этом убедительно говорит Пушкин, считавший Катенина первым поэтом, «введшим в круг возвышенной поэзии язык и предметы простонародные»[2].

Пушкин в первые свои поэтические произведения ввёл просторечие. Например, в легком и изящном языке поэмы «Руслан и Людмила» были такие просторечные слова, за которые салонно-дворянская критика яростно напала на поэта, как на нарушителя языковых канонов поэмы. В поэме «Руслан и Людмила» Пушкин дал стихи:

Княжна с постели **соскочила,**
седого карлу за колпак
рукою быстрой **ухватила,**

[1] Н. Трубицын, «О народной поэзии в общественности и литературном обиходе первой трети XIX ст.», СПБ, 1912 г., стр. 299.

[2] Пушкин, Собр. соч., т. V, «О сочинениях Катенина», М., «Худ. литер.», изд 1936, стр. 105.

дрожащий занесла **кулак**
и в страхе **завизжала** так,
что всех арапов **оглушила.**

Здесь просторечными словами для того времени были *соскочила, ухватила, кулак, завизжала, оглушила*[1]. Это — просторечие городского культурного слоя населения, но и оно раздражило и ввело в бешенство защитников салонно-дворянской литературы и ее языка. Они все эти слова рассматривали «низкими», «мужицкими», а с их точки зрения «мужицким» словам абсолютно не должно быть места в поэме. Журнал, основанный Карамзиным, «Вестник Европы» в том же 1820 г. по поводу просторечия этой поэмы писал так: «Если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втёрся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: «Здорово, ребята!» Неужели бы стали таким проказником любоваться?»[2].

Пушкин был активным бойцом-новатором. Он, защищая необходимость просторечных элементов в литературном языке, неутомимо шел вперед, хотя нападки на него за просторечие продолжались и в последующие годы. Об этом он в своей заметке о «Полтаве» в 1830 г. пишет так: «Полтава не имела успеха... Наши критики взялись объяснить мне причину моей неудачи — и вот каким образом... Слова *усы, визжать, вставай, Мазепа, ого, пора* — показались критикам *низкими*, бурлацкими выражениями»[3]. Но Пушкин продолжал итти своей дорогой. Во все свои последующие произведения он вводил просторечные словарные и фразеологические элементы — как из языка культурной городской прослойки общества, так и из языка других слоев населения. Пушкин дорожил просторечными элементами языка потому, что они сближали литературную речь с разговорной, что давало возможность более реалистически изображать жизнь. Затем — потому, что просторечие демократизировало литературную речь, приближало ее к народному языку.

---

[1] М. А. Рыбникова, «Пушкин, как защитник простоты и народности в языке», «Русский язык в школе», 1937 г., № 1, стр. 38.

[2] «Вестник Европы», 1820 г., № 16.

[3] Пушкин, Собр. соч., т. V, стр. 88.

Второй момент в использовании Пушкиным народных элементов речи наступает в начале 20-х гг. XIX в. Он идет параллельно с первым. В эти годы Пушкин окончательно подходит к своему основному положению — о необходимости создания нового русского национального литературного языка на народной основе, т. е. на основе, как тогда говорили, «простонародной» речи. Народный язык Пушкин противопоставлял жеманной полуфранцузской, полурусской, рафинированной литературной речи дворянского салона. В силу этого у Пушкина ясно наростало сознание о необходимости изучения народного языка, и он приступает к этому. Но народный язык Пушкин в начале 20-х годов изучает в романтическом аспекте — по материалам фольклора и древнерусских письменных памятников. Он выбирает из этих материалов пословицы и поговорки, а из летописей — поэтические тексты. Сохранился его автограф 1820 г., в котором имеются записанные им поговорки и пословицы. К некоторым из них Пушкин дает истолкования, а также и примечания, указывающие—откуда они взяты, например: *«В праздник жена мужа дразнит»* (выписка из Кирши)»... *«Горе лыком подпоясано»* — разительное изображение нищеты; см. Древние стихотворения»[1].

Несколько позднее, в 1822 г. в заметке «О французской словесности», отражающей его мысли о слабости языка французской литературы и его раздумье о путях перестройки современной ему русской литературной речи, Пушкин пишет, что *«есть у нас свой язык*; смелее! Обычаи, история, песни, сказки и проч.»[2].

Мысли о безнародности салонно-дворянского литературного языка владели в этот период не только одним Пушкиным. Они были свойственны и другим прогрессивным писателям того времени. Так Кюхельбекер, друг Пушкина, декабрист, в статье « О направлении нашей поэзии, особенно лирической» дал резкую критику языковой теории и практики карамзинистов. В 1824 г. он писал: они «из слова Русского богатого и мощного силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно-тощий, приспособленный для немногих язык... о мыслях и говорить нечего»[3]. Об отсутствии народных элементов в салонно-дворянском языке говорит в 1825 г.

---

[1] Пушкин, Собр. соч., т. VI, стр. 315.
[2] Пушкин, Собр. соч., т. VI, стр. 27.
[3] «Мнемозина», кн. II, 1824 г.

и декабрист А. Бестужев-Марлинский: «Мы всосали с молоком безнародность и удивление только к чужому... к довершению несчастья, мы выросли на одной французской литературе, вовсе несходной с нравом русского народа, ни с духом русского языка»[1].

Кюхельбекер, вслед за Пушкиным, стоит на позициях необновление литературы и *ее языка* провести односторонним идея народности у него, как и у Пушкина, в эти годы преломляется в романтическом аспекте. В силу этого он предлагает обновление литературы и *ее языка* провести односторонним путем тщательного изучения языка древнерусских летописей и фольклорных произведений, без изучения живой народной речи. Поэтому свою статью он заканчивает так: «Да создастся для славы России поэзия истинно русская... Летописи, песни, сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности»[2].

Конец 20-х гг. у Пушкина ознаменовывается новым сдвигом в изучении фольклорной поэзии и древнерусской письменности. В эти годы Пушкин изучает их уже не в романтическом аспекте, а *под углом наилучшего познания строя русского народного языка.* Это видно из следующих высказываний поэта.

В 1828 г. в статье «Ответ на статью в «Атенее», отражая упреки критики в том, что он, Пушкин, искажает русский язык, употребляя слова «топ» и «молвь», поэт говорит, что эти слова взяты им из народной сказки, и тут же дает совет молодым писателям: «Читайте простонародные сказки, молодые писатели — чтоб видеть свойства русского языка»[3]. Этот же совет настойчиво повторяется Пушкиным и в 1830 г.: «Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка. Критики наши напрасно ими пренебрегают»[4].

В 1824—25 гг., в период своей ссылки, Пушкин жил в селе Михайловском. Здесь он, как и в детстве, заслушивается сказками и песнями своей няни, о чем поэт так красиво и просто рассказывает в своих стихотворениях «Зимний вечер» и «Наперсница волшебной старины...» Пушкин записывает песни, старины, рассказываемые ему и другими сказителями.

---

[1] «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 г. и начала 1825 г.», — «Полярная звезда», 1825, стр. 2.

[2] «Мнемозина», 1824 г., кн. II, статья «О направлении нашей поэзии, особенно лирической».

[3] Пушкин, VI, стр. 76.

[4] Пушкин, VI, стр. 125.

В этот период Пушкин усиленно интересовался песнями и сказаниями о Степане Разине. Часть из них он записал именно здесь. В 1824 г. из Михайловского Пушкин писал брату: «Вот тебе задача, историческое, сухое известие о Степане Разине, единственном поэтическом лице русской истории»[1]. В 1826 г. Пушкин написал «Песни о Степане Разине», но они не были изданы по цензурным условиям.

•

Народные истоки синтаксического строя художественной прозы Пушкина

Пушкин в Михайловский период своей жизни усиленно изучает русские летописи. Его в летописях интересует не только описание древнерусского быта, древнерусская тематика крупнейших исторических событий, но и *язык летописей*. Об этом сам поэт говорит в своих заметках двадцатых годов. Например: «в летописях я старался угадать образ мыслей и *язык тогдашних времен*»[2].

Изучая язык летописей, Пушкин наблюдал его краткость, сжатость, точность и образность. Эту же образность, сжатость и краткость речи Пушкин видел и в языке народных как старинных, так и современных ему сказок, песен, старин, пословиц и поговорок. Мы полагаем, что на основе изучения языка летописей и фольклорных произведений Пушкин пришел *к мысли, что русский язык имеет свои особые свойства*, т. е., *свои законы*, и что писатель должен повиноваться законам своего языка[3]. Среди этих законов Пушкин прямо указывает на «естественный» порядок слов в предложении[4]. Другие законы, подмеченные им в народном поэтическом языке, Пушкин реализирует в своей художественной речи,—особенно в прозе. Среди них ценен закон об афористичности русского народного языка. В начале 20-х гг. он писал: «Точность и краткость—вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — *без них блестящие выражения ни к чему* не служат»[5].

Несомненно эти мысли о прозе навеяны были Пушкину свойствами русского народного языка, его лаконизмом и

---

[1] «Русская Старина», 1879, октябрь, 299.

[2] Пушкин, VI, стр. 69.

[3] Пушкин, Наброски и предисловие к «Борису Годунову», VI, стр. 59.

[4] Пушкин, «Ответ на статью в «Атенее» об «Евгении Онегине», VI, стр. 74.

[5] Пушкин, Собр. соч., «Начало статьи о русской прозе», т. VI, стр. 25.

смысловою точностью. Интересно, что об этих свойствах народной речи в нашу эпоху прекрасно говорил и М. Горький. Он писал: «Мне кажется, что работая по словотворчеству, необходимо знать наш богатейший фольклор, особенно же наши изумительно четкие, меткие пословицы и поговорки. «Пословица век не сломится». Наша речь преимущественно афористична, отличается своею сжатостью, крепостью»[1]. Таким образом, великий создатель русской национальной литературы и русского литературного языка А. С. Пушкин как бы перекликается здесь с великим зачинателем русской пролетарской литературы и ее языка. Совпадение их взглядов о значимости русского народного языка и его строя для литературной русской речи объясняется только глубокой любовью их к русскому народу и глубоким знанием его языка.

Анализируя структуру предложений фольклорной и летописной речи, мы, при краткости, афористичности ее, замечаем и другое — преобладание простых предложений над сложно-сочиненными и сложно-подчиненными. Эти же свойства синтаксической структуры характерны и для художественной прозы Пушкина. Затем — и в народной, и летописной литературе и в прозе пушкинских художественных произведений в структуре предложения преобладает, в основном, один и тот же прямой порядок слов: подлежащее, за ним сказуемое; определение перед определяемым словом. Например, исследователь стиля «Капитанской дочки» Пушкина указывает, что в ней предложений с таким прямым порядком имеется 1919 из 2533[2]. Наконец, в фольклоре, в летописях и у Пушкина имеются короткие предложения. Есть предложения в одно, два, три слова.

Все эти факты подтверждают, что Пушкин создал синтаксическую структуру своей художественной прозы на основе «свойств», т. е., законов русского языка, как они выражены в фольклоре, летописях и в живой народной речи. И мы можем с полным основанием сказать, что синтаксическое *строение пушкинской художественной прозы — истинно-народное, русское, самобытное.* Такой же строй художественной прозы мы найдем у Лермонтова, и особенно — у Тургенева. А они оба признавали Пушкина своим учителем.

Но в трудах по истории русского литературного языка

---

[1] М. Горький. «Литер.-критические статьи», изд. 1939 г., стр. 383.

[2] А. Пророкова, «К анализу стиля пушкинской прозы», см. сборник «Язык и стиль А. С. Пушкина», изд. журн. «Русский язык в школе», 1937 г., стр. 123.

имеется и другое мнение, говорящее, что Пушкину этот строй речи в его прозе навеян строем французской художественной прозы, т. е., что Пушкин, создавая структуру предложений своей прозы, подражал французским писателям. Это положение было распространено в дореволюционное время. В нашу советскую эпоху оно ярко выражено у акад. В. В. Виноградова. Он пишет, что Пушкин в области синтаксических конструкций признал «своим образцом французский, а потом и английский язык и, таким образом, примкнул к традиции западников...». «Приемы сцепления предложений и ритмические формы связи синтаксических единиц в пределах предложения у Пушкина носили явный отпечаток «европеизма» и приближали язык Пушкина к французской традиции конца XVIII — первой четверти XIX в.»[1]. Это неверно.

О французской литературе Пушкин говорит во многих своих заметках. В них он *только отрицательно* отзывается о ее содержании, стиле и языке. С начала 20-х гг. Пушкина занимают напряженные думы о русской литературе и ее языке. Он стремится к обновлению ее языка на самобытных, народно-русских началах, не подражая ни одной из иностранных литератур и их языкам. Так, в 1822 г. Пушкин в статье «О французской литературе» пишет: «Из всех литератур она имела большое влияние на нашу... Дмитриев, Карамзин, Богданович. Вредные последствия — манерность, робость, бледность... *как можно ей подражать:* ее глупое стихосложение — *робкий, бледный язык — вечно на помочах...* (Курсив наш — Т. Т.)[2]. Пушкин заканчивает эту статью гимном русской «словесности» и ее языку: «Не решу какой словесности отдать предпочтение (т. е. французской, немецкой, итальянской — Т. Т.), но есть *у нас свой язык:* смелее! Обычаи, история, песни, сказки и пр.»[3]. Так же отрицательно о французской литературе отзывается он и в заметке: «Век романтизма не настал еще для Франции... Все сборники новейшей, так называемой романтической, поэзии — позор французской литературы...»[4] Отрицательные отзывы о французской литературе имеются и в заметках его на страницах 31, 36, 58, 60, 61[5].

[1] В. В. Виноградов, «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.», ГУПИ, М., 1938, стр. 247.

[2] Пушкин, Собр. соч., т. VI, стр. 26.

[3] Пушкин, Собр. соч., т. VI, стр. 27.

[4] Пушкин, Собр. соч., т. VI, стр. 27. У Пушкина последнее предложение цитаты написано на франц. языке.

[5] Пушкин, Собр. соч., т. VI.

Также мы отрицаем и влияние языка английской литературы на язык Пушкина, в частности — в области синтаксических конструкций. Анализ языка художественной прозы Пушкина, анализ его заметок о языке и статей теоретического и критического характера — ничто не дает каких-либо данных для утверждения, что язык английской литературы влиял на язык произведений Пушкина.

На основании приведенных выше документов, считаем положение о несамобытности, не оригинальности синтаксического строя художественной прозы Пушкина — положением *совершенно неправильным*. Это положение является одной из форм проявления космополитизма в трактовке истории русского литературного языка.

Изучение живой «простонародной» речи

В конце 20-х и в самом начале 30-х гг. *Пушкин переходит к третьему периоду изучения и освоения народной* речи. Он не раз высказывался в эти годы, что для более лучшего познания свойств русского языка *необходимо*, кроме изучения песен, сказок, летописей, изучать *непосредственно живую, разговорную речь «простолюдинов»*. Начинающим писателям Пушкин так советовал: «Вслушивайтесь в *простонародные наречия*, молодые писатели, в них можете научиться многому, чего не найдете в наших журналах». «Разговорный язык простого народа... достоин глубочайших исследований»[1].

Изучать непосредственно живой разговорный язык надо еще и потому, что он удивительно чист и правилен, в нем нет налёта иностранного строя речи, как это замечается в салонно-дворянском языке. И Пушкин действительно изучал *живую* народную речь. Один из его биографов пишет: «Живя в Михайловском, Пушкин... не только заслушивался сказками своей няни, но и в праздничные дни иногда переодевался в крестьянское платье и в таком костюме посещал ярмарки, богомолья, вступая в беседы с простым народом, с крестьянами, *вслушиваясь* в их *говор*, расспрашивая об их житье-бытье к великому удивлению и ужасу окрестных помещиков».

Народное слово привлекало Пушкина своею конкретностью, образностью и яркостью. В борьбе за «простонародное» слово Пушкин выступал не только как обороняющийся от литературных защитников дворянской салонной речи, но и как боец,

[1] Пушкин, Собр. соч., т. VI, стр. 74, 127.

как нападающий. Пушкин издевался, иронизировал над этими критиками, издевался над их литературными принципами. Он уподоблял этих критиков салонным, паркетным дамам, которые непрерывно одни слова называют «бурлацкими», другие «мужицкими». Эти критики: «гнушались просторечием и заменяли его простомыслием»[1].

Использование живой крестьянской речи

Этот период наступает у Пушкина в начале 30-х годов.

Его мы называем периодом *конкретного использования* Пушкиным в поэтических и художественно-прозаических произведениях живой крестьянской речи. Бытовой крестьянский язык совершенно исключался из языка салонно-дворянской литературы. Но Пушкин, как новатор, шел наперекор этим принципам, так как он видел, что обновление русского литературного языка может быть совершено только на основе народной речи. Из гущи крестьянского языка Пушкин совершал определенный отбор. Останавливал он свое внимание и на общеупотребительном и на областном крестьянском словаре. Говорить, что он сосредоточивал исключительное внимание на крестьянском языке мы не можем.

Крестьянская лексика в авторскую речь вводилась им тогда, когда это требовалось, во-первых, содержанием темы, например:

«Парчевая на маковке *кичка*»[2]. (обл. Ушаков).

«Зима... Крестьянин торжествуя
На *дровнях* обновляет путь»[3]. (обл. Ушаков).

Во-вторых, тогда, когда слово являлось ценным в силу его художественной выразительности: «Гонимы *вешними* лучами»[4]. (обл. Ушаков).

В-третьих, в силу реалистической, предметной ясности данного слова: «Сперва взаимной *разнотой* они друг другу были скучны»[5], (обл. Подвысоцкий). «В Коспорье, против Самары, ночью в *волновую* погоду, Суворов переправился через Волгу»[6]. (народно-поэтическое — Ушаков).

---

[1] Пушкин, VI, стр. 98, 113—114.

[2] «Сказка о рыбаке и рыбке».

[3] «Евгений Онегин», II, V.

[4] «Евгений Онегин», I, VII.

[5] «Евгений Онегин», II, XIII.

[6] «История Пугачева», V, стр. 379. Даль указывает, что слова «волновой» в словаре АН нет. У Даля это слово не помечено областным. В словаре Подвысоцкого «Областное Архангельское наречие» — оно имеется.

В речь персонажей крестьянская лексика вводилась Пушкиным как средство социальной их характеристики, но и здесь чувство меры и сообразности данного слова являлось главным критерием для ввода его в литературную речь. Проанализируем язык няни в «Евгении Онегине». Речь няни — это, в основном, не речь крестьянки. Типичных крестьянских слов и фразеологических оборотов у нее мало:

«А ныне все мне *тёмно,* Таня»... (III, XVII).
...«Мой Ваня
Моложе был меня, *мой свет*»... (III, XXXIII).
«О *пташка* ранняя моя»... (III, XXXIII).
«*Вечор* уж как боялась я»... (III, XXXV).
«А то, бывало, я *вострa*»... (III, XXXV).
«Ты знаешь, *непонятна* я»... (III, XXXV).
«Да, пришла худая *череда*»... (III, XVII).
«*И,* полно Таня»... (III, XVII).

В остальном речь няни — речь женщины, весь свой век проживившей в барском доме и приобщившейся к дворянской языковой культуре. Поэтому мы у няни и встречаем лексику и фразеологию, свойственную культурному дворянству:

...«Я, бывало,
Хранила в памяти не мало
Старинных былей, небылиц»... (III, XVII).
«*Дитя мое,* ты нездорова»... (III, XIX).
«*Изволь,* родная, прикажи»... (III, XXXIV).
«*Мой друг,* вот бог тебе порука»... (III, XXXIV).
«*Сердечный друг,* уж я стара»... (III, XXXV).

По поводу подобной речи в устах простолюдинов, выведенных Пушкиным, В. Виноградов говорит: «И в разговорах простолюдинов у Пушкина осколки просторечия и простонародного языка не только отливаются нередко в синтаксические формы литературной речи, но иногда густо перемешаны литературно-книжными выражениями, приспособленными, так сказать, к системе «хорошего общества». Например, няня в «Евгении Онегине» говорит таким литературным языком...». И здесь В. Виноградов приводит выдержку из речи няни:

«Я, бывало, хранила в памяти», и т. д.[1].

Я полагаю, что в отношении языка няни это утверждение неверно. Здесь, я думаю, речь должна итти не о стилизации Пушкиным языка няни под литературный лад во вкусе

[1] В. Виноградов, «Язык Пушкина», изд. Academia, 1935, М.—Л., стр. 445.

«хорошего общества», а наоборот — об усвоении няней, проведшей весь свой век в культурном барском доме, т. е. среди дворянского языкового окружения, некоторых элементов языковой дворянской культуры, культуры салонно-дворянского речевого стиля. Пушкин, как впоследствии и Тургенев, гениально подметил, что некоторые прослойки дворовых имеют особый обиходный речевой стиль, близкий к языковому стилю их господ. У Тургенева показ такого стиля найдем в рассказах «Живые мощи» — речь Лукерьи, и «Ермолай и Мельничиха» — речь Мельничихи. У Грибоедова: в «Горе от ума» — речь Лизы.

В прозаических произведениях крестьяне изображаются Пушкиным в примитивной крепостной обстановке сельского помещичьего двора. Поэтому и речь их иная, чем, например, у няни в «Евгении Онегине». Эта речь в большей степени приближается к обычной крестьянской речи. Проанализируем речь некоторых крестьян, изображенных в повестях «Дубровский» и «Капитанская дочка»

Речь старушки — няни Орины Егоровны. В ее письме к молодому Дубровскому имеются лексические, морфологические и синтаксические особенности из крестьянского бытового языка: «*Слышно*, земский суд к нам едет»... «У нас дожди идут вот *ужо друга* неделя и пастух Родя *помер* около *Миколина* дня». Сравним из письма Савельича: «...Я ничего не писал, чтоб не *испужать*...». «Командиры, *слышно*, им довольны...». В языке кучера Антона: «А бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич, барин, *слышь*, не поладил с Кирилла Петровичем...». «И *вестимо*, барин, заседателя, *слышь*, он и в грош не ставит...». Из речи деревенского кузнеца Архипа: «Я хотел... *проведать*, все ли дома». «Да как же без топора *нонеча* и ходить. Эти приказные, *вишь*, озорники...».

Таким образом, в языке персонажей из крестьян мы видим только несколько крестьянских слов, достаточных для того, чтобы придать их речи крестьянский колорит. Пушкин не гонится за насыщением языка этих персонажей крестьянским словарем, не гонится за обилием фонетических и морфологических особенностей, характерных для крестьянской речи. Пушкин знает, что ценность многих крестьянских слов с их морфологическими и фонетическими особенностями сомнительна для обогащения общего фонда национально-литературной речи. По стопам Пушкина в этом отношении пойдет Тургенев, и наоборот, свернет в сторону от этой правильной

линии, в сторону безудержного, ненужного использования элементов крестьянского языка Григорович.

Кроме необходимых элементов крестьянской речи, в уста персонажей из крестьян Пушкин, для более яркой и красочной социальной характеристики их, вводил ряд народных пословиц, поговорок, идиом. Например, кучер Антон на вопрос молодого Дубровского: «Так видно, этот Кирила Петрович у вас делает, что хочет»,—отвечает: «И вестимо; барин... господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, *было бы корыто, а свиньи-то будут*...». В его же речи: «...Да ведь, на *чужой рот пуговицы не нашьешь*». В языке Савельича: «А что с ним случилась такая оказия, то *быль молодцу не укор: конь и о четырех ногах, да спотыкается*».

В языке кучера Антона: «... в грош не ставит».

Состав крестьянской лексики в произведениях Пушкина не изучен. Мы можем сказать лишь то, что Пушкин вводил в свои произведения областную и общеупотребительную крестьянскую лексику, вводил ее как в язык персонажей, так и в авторскую речь. Ввод этой лексики в литературный язык обуславливался, как мы выше отметили, или ее художественной ценностью, или предметной, реалистической ясностью; или социальным положением персонажей, или содержанием темы. Во всех случаях ввода крестьянской лексики в авторскую речь Пушкин руководствовался еще и принципом значимости данного слова для обогащения общего фонда русского национального литературного языка. Затем мы можем добавить, что Пушкин и здесь никогда не изменял своему основному языковому принципу при отборе слов — принципу «соразмерности и сообразности».

Пушкин своей литературной практикой и своими теоретическими высказываниями в области употребления крестьянской лексики в литературном языке наметил путь как для Гоголя и Лермонтова, так и для Тургенева.

Значение Пушкина в борьбе за литературные права народного языка очень велико. Об этом прекрасно сказал М. Горький:

«Язык создается народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и сбработанный мастерами.

Первый, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надо обрабатывать его»[1].

---

[1] М. Горький, «О том, как я учился писать».

Н. М. НИКОЛЬСКИЙ,
доцент, кандидат филологических наук

ЯЗЫК СКАЗОК А. С. ПУШКИНА

Сказки А. С. Пушкиным написаны в период времени с 1830 по 1834 год. В 1830 году он начал сказку «Медведиха» («Как весенней теплою порою»); «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» относится к 1831 году; в том же году была написана «Сказка о попе и работнике его Балде»; «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о о мертвой царевне и о семи богатырях» появились в 1833 году, «Сказка о золотом петушке» — в 1834 году.

Интерес к фольклору возник у Пушкина рано. Еще в детстве его интересовали сказки и песни его няни Арины Родионовны, которая обладала замечательным мастерством сказительницы.

Очень рано Пушкин познакомился с сборниками сказок и образцами их литературной обработки. Позднее, в период южной и михайловской ссылок, он тщательно собирает и изучает произведения народного устного творчества — песни, сказки, пословицы, легенды и этнографические документы. В 1824 г., осенью, в письме к брату Л. С. Пушкину поэт пишет: «Вечером *слушаю* сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»[1]. В этом же письме он просит брата выполнить поручение: «Ах, боже мой, чуть не забыл! Вот тебе задача: историческое сухое известие о Сеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории». Песни о Степане Разине и Емельяне Пугачеве очень интересовали Пушкина как в 20-е годы, так и позже — в 30-е, когда он подготовлял материалы для «Истории Пугачева». В Михайловском в 1824 году он записал 7 сказок и несколько песен, в числе которых две о Степане Разине и его сыне[2].

[1] Цит. по изд. «Библиотека великих писателей» под ред. С. А. Венгерова, «Пушкин», 1911 г., т. V, стр. 531—532.

[2] См. кн. «К столетию со дня гибели А. С. Пушкина. Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты», Академия, 1935, стр. 453—54, а также ч. I, раздел IX.

Интерес к фольклору у Пушкина неразрывно связан с его занятиями русской историей и изучением русского языка.

В своей полемике с критиками его произведений он неоднократно указывает на то, что для более совершенного овладения русским языком нужно изучать русский фольклор, а также речевой язык народа. Так, критикам «Евгения Онегина», которые находили, что выражение поэта *«Что звук пустой»* недопустимо в художественном произведении, Пушкин отвечал: «Частица *«что»* вместо грубого *«как»* употребляется в песнях и в простонародном нашем наречии, столь чистом, приятном... Вслушивайтесь в простонародные наречия, молодые писатели, — вы в них можете научиться многому, чего не найдете в наших журналах.. Читайте простонародные сказки..., чтобы видеть свойство русского языка»[1].

В своей статье, посвященной предисловию к переводу Лемонте басен Крылова на французский язык, Пушкин пишет, что в своем историческом развитии русский литературный язык шел разнообразными путями, что «простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились и *такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей»* (подчеркнуто у Пушкина)[2].

Создавая реалистическую художественную литературу своего времени, создавая русский литературный язык на широкой национальной основе, Пушкин, как к живительному источнику, питающему и литературу и литературный язык, обратился к народному творчеству — сказкам, песням, пословицам, поговоркам. В произведениях устного народного творчества он видел подлинную народность, истинное воплощение взглядов самого народа на жизнь общества, на природу. В произведениях русского фольклора он ценил реализм и высокую художественность языка, живописный способ выражаться, так пленявший его в баснях великого русского баснописца И. А. Крылова, который много черпал из неиссякаемого источника русского народного языка[3].

Насколько высоко ценил Пушкин авторитет языка фольклора, свидетельствует, например, его полемика с журнальными критиками «Евгения Онегина». На их возражения относительно стихов в XVII строфе пятой главы романа

---

[1] А. С. Пушкин, Сочинения, 1938 г., стр. 767—768.

[2] Там же, стр. 686—687.

[3] См. «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова».

«Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молвь и конский топ!» он замечает: «В журналах осуждали слова *хлоп, молвь* и *топ,* как неудачное нововведение. Слова сии коренные русские. «Вышел Бова из шатра прохлалиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ» (Сказка о Бове Королевиче). *Хлоп* употребляется в просторечии вместо *хлопанье,* как *шип* вместо *шипения.*

Он шип пустил по-змеиному.

(Древние русские стихотворения). Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка». (Подчеркнуто Пушкиным)[1].

На те же возражения критика Пушкин писал: «На сие замечу моему критику, что *роп, топ* и *прочее, употребляют* простолюдины во многих наших губерниях... Люди, выдающие себя за поборников старых грамматик, должны были бы, по крайней мере, иметь школьные сведения о грамматике и риторике — и иметь хоть малое понятие о свойствах русского языка»[2].

Поэт не только изучал народное творчество и разговорный язык народа, но и возвратил народу плоды его творческой работы в своих прекрасных сказках. Опыты литературной обработки русских народных сказок у Пушкина начались с 20-х годов, однако расцвет его творческой работы над сюжетами русских народных сказок относится к первой половине 30-х годов. В эти годы усиливается интерес Пушкина к эпическим произведениям народного устного творчества, например, в это врмея он усиленно работает над «Словом о полку Игореве», «Песнями западных славян». Язык русского фольклора, наравне с разговорным, получает в его произведениях литературные права. Работа Пушкина над сказками является весьма важным этапом в развитии русской литературы и русского литературного языка. А. М. Горький об этом этапе писал: «Пушкин был первым русским писателем, который обратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу, не искажая — в угоду государственной идее «народности» и лицемерным тенденциям придворных поэтов, — он украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил неизменным их смысл и силу»[3].

---

[1] См. примеч. к «Евгению Онегину» в кн. «А. С. Пушкин, Евгений Онегин», ОГИЗ, Гослитиздат, 1947, стр. 177.

[2] Сочинения, 1938 г., стр. 768.

[3] Пушкин, Временник Пушкинской комиссии, т. III, стр. 263.

Язык, как реальное, практическое сознание, всегда тесными, неразрывными узами связан с реальной жизнью. Богатый и выразительный, простой и доходчивый, язык сказок Пушкина неразрывно связан с теми картинами природы и быта, которые изображены в сказках, с теми лицами и их социальным обликом, которые выведены в них. Пушкин хорошо понимал связь языка с бытом, с мировоззрением его носителей. Рассуждая на тему о народности, в 1826 г., в михайловской ссылке, — в те годы, когда он напряженно изучает и быт крестьян, и народное художественное творчество, и историю России, — он писал: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии»[1]. «Отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться», — пишет он в те же годы в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова». Язык сказок Пушкина глубоко национален, народен, и самое их содержание, их дух, их источник так же русские, национальные, народные.

А. М. Горький видел источник происхождения пушкинских сказок в русском народном творчестве. На русский народный источник сказок указывает ак. А. С. Орлов: «Сказки исполнены в стиле народного быта и представлений, в стиле народного языка, точно выражающего этот быт и представления»[2]. О русском происхождении сказок свидетельствуют и непререкаемые данные записей народных сказок, имеющихся в автографах Пушкина[3]. Среди этих записей имеются записи сказок, сходных с сказками Пушкина о царе Салтане, о Балде, о мертвой царевне. Надпись на рукописи Пушкина, содержащей сказку «О рыбаке и рыбке» и подаренной автором В. И. Далю («Твоя от твоих! Сказочнику казаку Луганскому, сказочник Александр Пушкин»), свидетельствует, по мнению Л. Н. Майкова, о том, что от Даля Пушкин получил материал для этой своей сказки[4].

И тем не менее ряд авторов уверяет и старается «доказать», что источники сказок Пушкина иноземные — сказки

[1] А. Пушкин, Сочинения, 1938 г., стр. 685.
[2] А. С. Орлов, «Язык русских писателей», 1948 г., стр. 52.
[3] К столетию со дня гибели А. С. Пушкина, стр. 705.
[4] Там же, стр. 725.

бр. Гриммов (для сказок «О рыбаке и рыбке» и «О мертвой царевне»), сборники итальянских и французских сказок (для сказки «О царе Салтане»), новелла американского писателя Вашингтона Ирвинга «Легенда об арабском звездочете» (для сказки «О золотом петушке»). Только для двух сказок Пушкина эти авторы считают возможным указать русские источники — это для сказки «О попе и работнике его Балде» и «О медведихе»[1]. Попытки «доказать», что Пушкин для своих сказок использовал иноземные источники, можно только осудить, как стремление принизить роль Пушкина — родоначальника русской реалистической литературы, как создателя национального русского литературного языка. Желание представить его как писателя, зависевшего в своем творчестве от иностранной литературы, является, по сути дела, стремлением космополитов принизить самобытный характер развития культуры великого русского народа.

Целью настоящей работы является анализ языка сказок Пушкина, установление составных элементов этого языка и их взаимоотношений, показ органической связи его с русским народным языком.

Изучению были подвергнуты мной шесть сказок, написанных Пушкиным: «О царе Салтане», «О попе и работнике его Балде», «О рыбаке и рыбке», «О спящей царевне», «О золотом петушке», «О медведихе».

Язык сказок Пушкина не мог не привлекать внимания исследователей его творчества. В той или иной мере они касались языка его сказок, однако детальному лингвистическому анализу он почти не подвергался[2]. Лексико-грамматическому анализу языка сказок следовало бы предпослать ана-

[1] Об иноземных источниках сказок Пушкина см., напр., в кн. А. Желанского, «Сказки Пушкина в народном стиле», 1936, стр. 56, М. Азадовского «Литература и фольклор», 1938, стр. 65.

[2] Языку сказок Пушкина уделено внимание в «Очерках по истории русского литературного языка XVII — XIX вв.» В. В. Виноградова, 2-е изд., 1938 г., где имеется фразеологический анализ языка сказок «О царе Салтане», «О мертвой царевне», «О золотом петушке» — анализ, впрочем, беглый; данные его приводятся в качестве иллюстраций к тезисам В. В. Виноградова о пушкинских методах синтезирования литературно-книжного и устно-поэтического творчества (см. стр. 261—263).

Лингвистическому анализу сказки «О мертвой царевне» посвящена статья Е. Василевской, «К храктеристике языка сказок Пушкина» (см. «Русский язык в школе», 1936 г., № 6). В статье изложен неверный взгляд автора на источник происхождения сказки: он относит этот источник к гриммовским сказкам. Уделяет внимание анализу языка сказки «О мертвой царевне» и ак. А. С. Орлов в своей кн. «Язык русских писателей», цит. выше, см. стр. 52—54.

лиз содержания их, потому что оно обусловливает выбор автором тех или иных языковых средств выражения мысли. Но так как пушкинские сказки общеизвестны, то достаточно будет некоторых общих замечаний о их содержании.

В сказках изображается русская жизнь, русское общество — от царского дворца до бедной рыбачьей землянки; в них нашли свое отражение общественные отношения различных классов, семейный уклад, экономические связи древней Руси с другими странами, картины русской природы. В них, как произведениях определенного жанра с специфическими особеннностями стиля, находят место и фантастические, сказочные положения.

Сказки проникнуты бодростью, непоколебимой верой в светлую жизнь, в торжество правды, серьезны по мысли. Автор смотрит на мир, на жизнь глазами народа, оценивает происходящее с точки зрения народа: сочувствует тем, кто борется за правду, осуждает, высмеивает гордых, злых, корыстных, заносчивых, вероломных людей, тунеядцев и сластолюбцев — кто бы они ни были.

Богатый, разностильный язык пушкинских сказок поражает своей точностью, реализмом, экспрессией. В нем в один мощный речевой поток сливаются разнородные струи, идущие из языка древнерусских письменных памятников, фольклора, общей разговорной речи народа, литературного, письменного языка времени Пушкина. Основой является устная народная речь. На языке сказок отразилась огромная работа поэта по отбору необходимых для выражения мысли языковых элементов как современных ему, так и оставшихся от прошедших эпох в качестве языкового наследия.

Язык сказок Пушкина тесно связан, неотделим от языка всего богатого творчества поэта.

Анализ языка сказок располагается в статье по следующим разделам: 1) фонетика, 2) лексика и фразеология, 3) морфология, 4) синтаксис.

1. Фонетические явления языка сказок

В этой части анализа языка пушкинских сказок ставится задача проследить произношение отдельных звуков, некоторых морфем, отметить особенности акцентуации.

1. В ограниченном количестве случаев *Е* под ударением перед твердым согласным в языке сказок произносится не как ё ('о), а как *е*: *«И той стражи нет надежней, ни храб-*

рее, ни прилежней» (рифма: надежней—прилежней, сказка «О царе Салтане»)[1].

Мы отныне *ежеденно*
Вместе будем *непременно*...

Выходить из вод морских (сказка «О царе Салтане», рифмуется: *ежеденно-непременно*).

Такое же произношение звука *е* следует отметить и в середине некоторых слов (и тоже в ограниченном количестве случаев):

Ждать *царева* возвращенья
Для законного решенья (сказка «О царе Салтане»).
Жалко смотрит, грозно воет,
Словно сердце *песье* ноет (сказка «О спящей царевне»).

Произношение *е* под ударением перед твердой согласной в литературном языке в пушкинское время держалось еще сильно как наследие церковно-книжного языка[2]. В ранних произведениях Пушкина оно было далеко не редкостью.

Вот несколько строк из стихотворения «Городок» (1814 г.):

На тройке *принесенной*
Из родины смиренной
В великий град Петра,
От утра до утра
Два года все кружился.

Сияя горним светом,
Бестрепетным полетом
Взлечу на Геликон.

Указанное произношение *е* обычно и у современников Пушкина. Ср. у Державина в стихотв. «Горелки»:

Надеждой, самолюбья дщерью,
Весь возбуждается сей свет,
Всяк рвенье прилагает к рвенью,
Чтоб у передних взять *перед*[3].

Также у Крылова в баснях:

И зашумели,
Кому из них идти приличней *наперед*?
А в аде первенство, известно, тот *берет*,

---

[1] «А. С Пушкин, Стихотворения и сказки», Академия, 1935 г.

[2] См. о старославянском происхождении слов с е вм. ё и в частности слова «пёс» у Шахматова в «Очерке современного русского литературного языка». 1941 г., стр. 78—79.

[3] А. С. Пушкин, «Избранные стихотворения и поэмы», ГИХЛ, 1934 г.; стих. Державина цитир. по изд. «Сочинения Державина», ч. I, 1808 г.

Кто ближнему наделал больше *бед.*
(«Клеветник и Змея»)[1].

Ко времени написания сказок и в период их появления архаическое произношение ударяемого *е* перед твердой согласной в языке Пушкина встречается значительно реже, чем в более ранние годы его творчества[2]. Достаточно сослаться здесь только на один пример для подтверждения указанного положения: в поэме «Медный всадник», написанной в 1833 г., краткие причастия на *ен* рифмуются с словами на — *он*, тогда как в поэме «Полтава», написанной в 1828 году, эти причастия рифмуются с словами на — *ен.* Ср. в «Полтаве»:

Его щедротою безмерной
Осыпан, дивно *вознесен*...
Ему ль теперь у двери гроба
Начать учение *измен*. . .
Тесним мы шведов рать за ратью,
Темнеет слава их *знамен*,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг *запечатлен*[3]...

В «Полтаве» наряду с указанными рифмами, имеются и новые: *ен-он*: он — *поражён;* он — *облечён.*

В «Медном всаднике» встречаются только рифмы *ен-он*:

И думал *он*:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город *заложен*...
...С Парашей будет *он*
Дня на два, на три *разлучен.*
...Он не разбирал дороги
Уж никогда, казалось — *он*
Не примечал. Он *оглушен*
Был шумом внутренней тревоги...

2. *С* в возвратных глаголах в языке сказок в частицах *сь, ся* (орфограф.) почти везде мягкое и только в двух случаях (в сказке «О мертвой царевне») — твердое, согласно московскому литературному произношению:

---

[1] И. А. Крылов, Сочинения. ОГИЗ, т. III, 1946 г.

[2] Вопрос о нормах произношения **е** под ударением в языке Пушкина в различные годы его творческой деятельности обстоятельно освещен в статье ак. С. П. Обнорского, «Пушкин и нормы русского литературного языка» (см. «Труды юбилейной научной сессии», ЛГУ, секция филологических наук, Л., 1946, (стр. 86 и сл.). Эта работа дает много ценного для понимания фонетических особенностей языка Пушкина.

[3] О произношении слова «знамен» см. в цит. статье ак. С. П. Обнорского, стр. 93.

Спрос не грех. Прости ты *нас*, —
Старший молвил, *поклонясь*...
Королевич... пошел...
На прекрасную невесту
Посмотреть еще хоть *раз*.
Вот идет; и *поднялась*
Перед ним гора крутая...

3. Следует отметить произношение слов «заскрипела» (в сказке «О царе Салтане»: «Дверь тихонько *заскрыпела*»), «океан» (в той же сказке: «И пустили (бочку) в *окиян*»), «Шемаханская» (в сказке «О золотом петушке»: «...И девица, *Шамаханская* царица... тихо встретила царя»).

Звук *ы* в слове «заскрыпела» отражает, несомненно, живую литературную речь того времени, так как слово «скрыпеть» имеется в этом фонетическом виде и у других писателей пушкинской поры, например, у Крылова в его баснях («Мот. и Ласточка»: «По снегу хрупкому *скрыпят* обозы»)[1], да и сам Пушкин в поэме «Руслан и Людмила» употребляет это слово:

Пол ревнивой
Скрыпит под ножкой торопливой.

Однако литературному языку времени Пушкина известна была и форма «скрипеть»; об этом свидетельствует «Словарь церковно-славянского и русского языка», 1847 г. (см. т. IV, стр. 139). Повидимому, одинаково часто употреблялись обе формы. Форму «скрыпеть» словарь 1847 г. фиксирует без специальной стилистической пометы (см. т. IV, стр. 140).

В произношении слова «окиян» слышатся, несомненно, отзвуки русского фольклора. Ср., напр., в одном из заговоров: «Есть святое море *окиян*, во святом море *окияне* есть камень Латырь»[2]. Слово «Шамаханский» также имеется в произведениях народного устного творчества, напр., в былине «Про Добрынюшку Никитича и про Алешеньку Поповича»: «Шамаханьской шелк не рвется, а булатна нить не трётся»[3].

4. В языке сказок Пушкина выделяются фонетические явления, связанные с флексией им. прилагательных с твёрдой основой *-ой-* в имен. и вин. падежах ед. числа мужского рода и с флексией им. прилагательных и местоимений *-ва-* в род. пад. ед. числа мужского рода.

---

[1] И. А. Крылов, Сочинения, т. III, ОГИЗ, 1946, стр. 153.
[2] Русский фольклор, хрестоматия, сост. Н. П. Андреев, 1938, стр. 45.
[3] Там же, стр. 209.

Флексия *-ой* в именах прилагательных встречается в значительном числе случаев наряду с флексией *-ый*, старославянской по происхождению. Преобладающей в языке сказок Пушкина является книжная флексия — *ый*. Она наблюдается в прилагательных и страд. причастиях[1]. Флексия им. прилагательных — *ой* рифмуется с флексией им. существительных и прилагательных на *-ой:*

Город новый *златоглавой,*
Пристань с крепкою *заставой...*
Гости в путь, а князь Гвидон
С берега душой *печальной*
Провожает бег их *дальной...*

(Сказка «О царе Салтане»)[2].

Кроме того, в сказках встречаются рифмы: *равниной — единой, на двор широкой — под елкою высокой, прислугой резной — дьяк приказной* и др[3].

Безударная флексия имен прилагательных на *-ой* является обычной в севернорусском наречии. Таким образом, язык сказок Пушкина свидетельствует о том, что в нем имеются фонетические элементы из народных севернорусских говоров. Они сочетаются с книжными. Нет сомнения, что некоторые диалектные фонетические элементы проникали в литературный язык и становились в нем обычными. Данное предположение оправдывается тем, что и у других писателей пушкинского времени указанные выше фонетические элементы — не редкость. Так, например, они обычны у Крылова в его баснях: «*Уплыл год целой — стала девой зрелой*» («Разборчивая невеста»); «*Стал осел скотиной превеликой; — а сверх того ему такой дан голос дикой*» («Осел»); «*Не оставь меня,*

---

[1] Соотношение использования той и другой флексии в цифровых данных: —**ый** (—**ий**) в 56 случаях, —**ой** — в 27 случаях.

[2] А. С. Пушкин, Сказки, 1936, стр. 16.

[3] Различные издания сказок Пушкина имеют неодинаковые формы одних и тех же слов.

Эта неустойчивость показаний затрудняет изучение языка сказок. Несмотря на различие морфологического оформления одних и тех же слов в тексте сказок, одно остается несомненным: в языке сказок Пушкина окончания прилагательных варьируются: большая часть их в им.—вин. п. ед. ч. муж. рода имеет окончание — **ый**, меньшая — **ой**. В качестве примера варьяций окончаний в различных изданиях сказок укажу на кн. А. С. Пушкин, Стихотворения и сказки, Академия, 1935 г., и А. С. Пушкин. Избранные стихотворения и поэмы, 1934, ГИХЛ. В первом издании форм имен прилагательных на — **ой** в им.—вин. пад. мужского **рода** меньше, чем во втором.

кум милой — дай ты мне собраться с силой» («Стрекоза и Муравей»); «*Народ благочестивой — в леса Аркадии счастливой»* («Волк и Кукушка»); «*Не выдай, милой, — со всей собравшись силой»* («Крестьянин и Работник») и т. д. (См. цит. изд. басен И. А. Крылова, 1946. ОГИЗ). Встречаются они у Грибоедова в комедии «Горе от ума»: «*Ах! амур проклятой* — рифм. с словом «девятой» (час), 1.1; «*Не надутой* (язык)—*пользуюсь* минутой», 1.7; «*в портретной—заметной»* (человек), III, 12. (А. С. Грибоедов, «Горе от ума», ГИХЛ, 1948).

В языке пушкинских сказок среди имен прилагательных на *-ый* нет ни одного с предшествующим заднеязычным согласным — г, к, х (после этих согласных в XIX в. флексия на *-ый* была, в письменном языке, конечно, невозможна, по орфографическим условиям); все такие прилагательные в им. — вин. над. ед. числа мужского рода в сказках Пушкина имеют флексию — *ой,* согласно литературному произношению того времени: *высокой, широкой, боярской, русской.* Это произношение отразилось и в языке других произведений Пушкина (ср. *по всей Руси великой — и ныне дикой* (тунгуз) («Памятник»), «*ворон к мертвечине падкой — знобим стяжанья лихорадкой».* («На выздоровление Лукулла»), «*новый Ходаковский — от бабушки московской»;* «Ондрей... *Езерский...* в лавре схимился *Печерской»* («Родословная моего героя»). Написания «бедненький» (бес) в сказке «О попе и о работнике его Балде» и «легкий» (звон) — в сказке «О золотом петушке», вместо ожидавшихся бы «бедненькой» и «легкой» (ср. в издании сказок «А. Пушкин, Сказки», ГИХЛ, 1936, стр. 44 и 78), нисколько не колеблют вывода о твердом произношении Пушкиным флексий прилагательных на *-кий, -гий, -хий*: такие написания у Пушкина обычны, да и прилагательные с суфф. на — *к* обычно рифмуются с сущ. и прилагательными, имеющими флексию—*ой* (ср. слова «Езерский», (рифм. с «Печерской») и «Ходаковский» (рифм. с «московской»).

Рифма «печальной — дальной» в сказке «О царе Салтане» («Гвидон с берега душой *печальной* провожает бег их *дальной»*) объясняется тем, что во времена Пушкина произношение «дальний» и «дальной» были одинаково литературными; оба эти вида произношения зафиксированы в «Словаре церковно-славянского и русского языка», 1847 (см. т. I, 306 стр.). Прилагательное «дальний» Пушкиным произносилось

и с мягкой и с твердой флексией. (Ср. также стих. «Жил на свете рыцарь бедный»)[1].

Имена прилагательные и местоимения на — *ова*, встречающиеся в языке сказок, рифмуются со словами, имеющими окончание *ова*. В сказках Пушкина этих случаев немного (всего 5). В сказке «О царе Салтане»:

Сами шлют гонца *другова*,
Вот с чем от слова до *слова*;

в сказке «О мертвой царевне»:

Белолица, *черноброва*
Нраву кроткого *такова*;

в сказке «О золотом петушке»:

Сына он теперь *меньшова*
Шлет на выручку *большова*.

Нерифмованное слово «милова» находится в сказке «О мертвой царевне»:

Не видать милова друга...[2].

Ак. С. П. Обнорский, анализируя эти пушкинские рифмы[3], признает окончание имен прилагательных *-ова* за новообразование с флексией — *ва*, типичное для многих северно-русских говоров. Очевидно, это новообразование проникло и в литературное произношение, так как окончание *-ва* в именах прилагательных (род. п. ед. числа мужского и среднего рода) и местоимениях свойственно и языку других писателей пушкинского времени, например, языку басен И. А. Крылова. Примеры:

«Я куму услужить *готова*».
А куму не сенца, хотелось бы *мяснова* —
Да про запас лиса ни *слова*
(«Волк и Лисица»).
В живом в нем не было здесь проку *никакова*...
Выть по нем наймут нас, верно, *снова*.
(«Похороны»);

«*не ест мясного* — от слова *до слова* («Крестьянин и Овца»). «гонцом у барина *большого* — бежать пустилась *снова*» («Белка»)[4].

---

[1] Произношение этого прилагательного с мягкой флексией зафиксировано Пушкиным в поэме «Цыганы»: «в путь недальний» рифм.: «Звон походной наковальни».

[2] А. С. Пушкин, Сказки, 1936.

[3] «Пушкин и нормы русск. литер. произношения», стр. 91—92.

[4] И. А. Крылов, Соч., ОГИЗ, 1946.

5. Своеобразие ударений в стихотворной речи — не редкость. Оно объясняется, с одной стороны, условиями ритма стиха, а с другой — они могут свидетельствовать и об особенностях произношения поэта и могут отражать акцентуацию литературного языка данного периода и встречаться не у одного автора, а и у других — его современников.

Сдвиги в ударении можно наблюдать и в языке сказок Пушкина. Здесь многочисленные случаи переноса ударения на предлог. Появление предлогов-энклитик в языке сказок является свидетельством близости языка Пушкина к языку русского фольклора и общей разговорной речи. Этим же можно объяснить и особенности акцентуации некоторых отдельных слов. Вот несколько примеров перенесения ударения с существительного на предлог.

Сами шлют гонца другова
Вот с чем *ОТ слова до слова...*
Но смягчившись *НА сей раз*
Дал гонцу такой приказ.
Видно *НА море* не тихо...
(Сказка «О царе Салтане»).

Ср. также *по* лбу, *за* уши, *до* светла (сказка «О попе и работнике его Балде»); *об* пол (сказка «О мертвой царевне»); *от* моря (сказка «О золотом петушке»); *за* плечьми (сказка «О медведихе»).

Вот три примера фразеологических сочетаний с ударением на слове «пора» и «ту»:

«*В те поры* война была
(Сказка «О царе Салтане»).
Братья в *ту пору* домой
Возвращалися толпой
(Сказка «О мертвой царевне»).
В ту пору звери собиралися
(Сказка «О медведихе»).

В записях народных песен у Пушкина предлоги-энклитики встречаются нередко, например:

По меду, меду паточному
Плавала чарочка серебряная
(Песни свадебные, № 32).
Или *со* Дону казак иль казацкий сын.
(«Песня о сыне Сеньки Разина»)[1]

Выражения, параллельные «в те поры» и в ту пору», можно встретить в былинах, например:

[1] А. С. Пушкин, Стихотворения и сказки, Академия, 1945.

«Втапоры тово Алеша не слушался»[1].

Следует отметить еще следующие слова в тексте сказок Пушкина: *«шелко́вый»* (сказка «О царе Салтане»: «Со креста снурок *шелко́вый* натянул на лук дубовый»), *«во́йска»* (сказка «О золотом петушке»: *«Во́йска* идут день и ночь»), *«сокола́»*: «Попались в сети оба наши *сокола́»* (в той же сказке); *«На́ конь»*: *«Люди на́ конь!* Эй живее!» (там же); *«суют»* (сказка «О царе Салтане»: «И в суму его пустую *су́ют* грамоту другую»); «С белой *зо́ри* до ночи» (сказка «О мертвой царевне»). Слово «шелковый» (с ударением на суффиксе) обычно в народном поэтическом творчестве. Например, у Пушкина в его записях народных песен: «Повесьте две петли *шелковые»* (см. «Песни необрядовые», № 16). Литературной формой во времена Пушкина было *«шёлковый»* (см. «Словарь ц.-слав. и русского языка», 1847 г., т. IV). Пушкин в сказках одинаково, без особых стилистических причин, употребляет и ту и другую форму (ср.: «И промеж высоких гор видит *шёлковый* шатер», (сказка «О золотом петушке»). Слово «войска» (с ударением на основе) — архаическая форма, сохраняющая присущее в старом языке слову «войско» неподвижное ударние на основе[2]. Ее используют в торжественном стиле современные Пушкину поэты, например, Державин: «Какая в *во́йсках* храбрость рьяна!» («На взятие Измаила»)[3]. В языке сказки форма «войска» стилистически оправдана: изображается картина в духе старины. Стилистически оправданным является и выражение «на конь!» — старый винит. падеж с предлогом-энклитикой. Это—старинный боевой клич. Слово «сокола» (род. п. ед. числа с ударением на флексии) было свойственно при Пушкине как литературному языку, так и разговорной речи и фольклору (см. цит. выше акад. словарь, 1947 г., т. IV; ср. народн. песню: *«Выпускала сокола́* (вин. п. ед. ч.) из *правого рукава»)*. Разговорному языку известно и слово «зоря» — ср. вин. пад. в ед. числе «зорю» («зорю «бить». В «Толковом словаре» Даля зафиксирован им. пад. ед. ч. с ударением на основе: зоря)[4]. Слово «суют» (с

---

[1] Русский фольклор, стр. 220.

[2] С. П. Обнорский, «Именное склонение», вып. 2, 1931, стр. 112.

[3] Соч. Державина, ч. 1, стр. 82.

[4] См. изд. 3-е т. I, столб. 1567. Интересно отметить, диференциацию значений в сказках Пушкина слов «зоря» и «заря»; первое слово обозначает утреннюю, второе — вечернюю зарю. Ср. «с белой зори до ночи», (Сказка «О мертвой царевне») и «Шамаханская царица, вся сияя как заря»... (Сказка «О золотом петушке»). Эта диференциация в народном духе (ср. стр. 136 книги ак. С. П. Обнорского «Очерки по истории русск. литер. языка», 1946 г.).

ударением на основе) было в 30-х годах литературным (см. «Словарь ц.-сл. и русск. языка», 1847 г., т. IV, стр. 169).

Отмеченные фонетические явления языка сказок А. С. Пушкина свидетельствуют о стилевом многообразии и богатстве речевых средств, которыми владел Пушкин. Он с замечательным искусством использовал в своем поэтическом языке народную разговорную речь с ее фонетическими особенностями, однако без резких диалектных отклонений, язык народного устного творчества с присущими ему акцентуационными чертами, язык старинных русских письменных памятников, литературный язык своего времени с его произносительными нормами. Пушкин тщательно отобрал для языка своих сказок те разнообразные речевые средства, которые были необходимы ему для литературной поэтической обработки русских народных сказок. Анализ языка сказок Пушкина с фонетической стороны убеждает в том, что в основе фонетического облика этого языка лежит живая, разговорная русская речь.

О стилевом разнообразии, экспрессии и исключительном богатстве языка пушкинских сказок свидетельствуют ещё более убедительно, чем фонетика, его лексика и фразеология.

II. Лексический состав языка сказок Пушкина

В лексике сказок выделяются шесть словарных пластов, а именно:

1) слова общелитературные для первой половины XIX в, употреблявшиеся как в письменной, так и устной речи,
2) славянизмы,
3) заимствованные слова,
4) слова разговорного языка,
5) слова, свойственные фольклору,
6) слова, имеющие своим источником древнерусские письменные памятники. Особым пластом в лексике сказок являются слова номенологического словаря.

Вполне естественно, что при литературной обработке русских народных сказок А. С. Пушкин использовал в качестве основного лексического пласта слова современного ему общелитературного фонда, как например, *мир, разговор, сказка, сын, богатырь, решенье, письмо, кухня, базар, товар, служить, идти, бежать, столица* и т. п.

В язык сказок Пушкиным введены слова, принятые в светском обществе того времени, «двор» (в значении приближенных к царю лиц) и «господа» (в формуле вежливого об-

ращения). Эти слова находятся в описании быта царского двора.

В сказке «О царе Салтане» — в описании встречи народом и двором царицы и царевича на острове Буяне:

В колымагах золотых
Пышный *двор* встречает их.

В сказке «О золотом петушке» — в обращении Дадона к приближенным:

...Возглашает воевода:
«Государь! проснись! беда!»
...«Что такое, господа?»—
Говорит Дадон, зевая.

Употребление церковнославянизмов в языке сказок у Пушкина, во-первых, количественно очень ограниченное, во-вторых, всегда является стилистически мотивированным.

В сказке «О попе и работнике его Балде» и «О медведихе» церковнославянизмов совсем нет, в других сказках их мало.

Использование их в языке сказок Пушкина стилистически оправдано: они введены поэтом или с нарочитой целью придания речи торжественности или оттенка церковно-книжного, обрядового языка (ср., напр., описание погребального обряда в сказке «О мертвой царевне»).

Вот несколько примеров такого использования церковнославянизмов Пушкиным в языке сказок.

В сказке «О царе Салтане» церковнославянские слова внесены в описание торжественной встречи царицы и царевича на острове Буяне:

Мать и сын идут ко *граду*...
Все их громко *величают*
И царевича венчают
Княжей шапкой, и *главой*
Возглашают над собой...
В тот же день стал княжить он
И *нарекся*: князь Гвидон.

В сказке «О мертвой царевне» надгробная речь старшего брата выдержана в торжественных тонах:

Старший молвил: «Спи *во гробе*[1],
Вдруг погасла, *жертвой* злобе,
На земле твоя краса:
Дух твой примут *небеса*».

---

[1] О стилистическом употреблени слова «гроб» см. в цит. выше акад. словаре 1847 года, т. 1, стр. 292.

Слово «бранный» (в значении «воинский») вполне уместно в устах звездочета, разговаривающего с царем Дадоном:

«Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны
Иль набега силы *бранной*...».
(Сказка «О золотом петушке»).

Слова церковнославянского происхождения в языке сказок часто находятся в окружении слов других лексических пластов и теряют характерную для них особенность слов «высокого» стиля. Например:

Ждет-пождет с утра до ночи,
Смотрит в поле, инда *очи*
Разболелись глядючи...
(Сказка «О мертвой царевне»).
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и *вопрошает*...
Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С *златоглавыми церквами*,
С теремами да садами...
(Сказка «О царе Салтане»).
Царь хватил его *жезлом*...
(Сказка «О золотом петушке»).

Слова церковнославянского архаического пласта в сказках использованы иногда с целью архаизации речи в духе старинного русского письменно-книжного языка. Например:

Весь сияя в *злате*,
Царь Салтан сидит в палате
На *престоле* и в венце
(Сказка «О царе Салтане»).
Все бегут за *колесницей*,
За Дадоном и царицей.
(Сказка «О золотом петушке»).

Церковнославянизмы в языке сказок использованы Пушкиным, несомненно, и потому, что они обладают особой выразительностью и этим выделяются в ряде соответствующих синонимических слов. Например:

Царь велит...
И царицу и приплод
Тайно бросить в *бездну* вод.
(Сказка «О царе Салтане»).
В море остров был крутой...
Рос на нем дубок *единый*...
(Там же).

Ждали три дня, но она
Не *восстала* ото сна.
(Сказка «О мертвой царевне»).

Ср. в той же сказке «И *встает* она из гроба»

Пушкин вводит церковнославянизмы в интересах стиха наряду с однозначными русскими словами. Ср. «Хлынет *на берег* пустой»... «Очутятся на *бреге*» — (сказка «О царе Салтане»).

Заимствованные слова, наблюдающиеся в языке сказок, настолько прочно вошли в письменный, разговорно-устный и фольклорный язык, что не осознавались как нерусские (*лазоревый, терем; витязь, булат, палата, сорочин, башка, курган, океан, грамота* и т. д.).

Исключение представляют слова «флот», «монета», «хор», сравнительно редко встречавшиеся в раговорном и фольклорном языке. Слово «флот» употреблено в рассказе о морском путешествии царя Салтана к своему сыну князю Гвидону на остров Буян:

По равнинам окияна
Едет *флот* царя Салтана.

Слово «монета» в той же сказке использовано в описании царского дворца:

Из скорлупы льют *монету*,
Да пускают в ход по свету...
(Сказка «О царе Салтане»).

Слово «*хор*» находится в тексте в описании встречи царицы и царевича на острове Буяне:

К ним народ навстречу валит,
Хор церковный бога хвалит
(Сказка «О царе Салтане»).

Значительное место в языке сказок Пушкина занимает лексический материал из бытового разговорного языка крестьянства и низших слоев городского населения того времени. В этот пласт входят просторечные, фамильярные и общепонятные областные слова. Этот лексический слой, которого избегал традиционный литературный язык и язык дворянского салона, получил в поэтическом творчестве Пушкина, в частности в языке его сказок, литературное признание и оказался весьма пригодным для целей литературной обработки народных сказочных сюжетов. Этот словарный материал входит в язык отдельных сказок то в большей, то в меньшей степени в зависимости от характера изображаемых ситуаций. В сказках «О царе Салтане», «О мертвой царевне» и

«О золотом петушке», слов из этого пласта значительно меньше, чем в сказках «О попе и работнике его Балде» и «О рыбаке и рыбке». И это вполне понятно: в последних изображена обычная бытовая обстановка, в первых же трех сказках изображается царский двор.

Примеры разговорной, просторечно-фамильярной и областной лексики в языке сказок.

Сказка «О попе и о работнике его Балде»: *взыскался* (простореч.), *толоконный* (лоб) (обл.), *щелк* (обл.), *поп* (разг.), *накладно* (простореч.), *проворье* (обл.), *тятя* (простореч.), *баба* (разг., вульг.), *собака* (бран.), *мордка* (вульг.), *корячится* (простореч.), *коли* (союз. усл.) (обл.), *ан* (союз) (простореч), *череда* (простореч.), *свалка* (драка) (простореч.), *плясать* («до светла всё у него пляшет») (разг.) и др.

Сказка «О рыбаке и рыбке»: *дурачина* (разг., фамил.), *простофиля* (разг.), *кликать* (простореч.), *вздуриться* (простореч.), *пуще* (простореч.), *взмолиться* (разг.), *чупрун* (обл.), *поперек* (в значении «наперекор») (разг.), *проклятый* («что мне делать с *проклятою* бабой?») (разг.) и др.

Сказка «О царе Салтане»; *кабы* (разг.), *позадь* (простореч., обл.), *полюбиться* (разг.), *пуститься* (разг.), *в те поры* (обл.), *родины* (простореч.), *извести* (разг.), *перенять* (в знач. «захватить», «перехватить») (обл.), *зверюшка* (простореч.), *чудесить* (разг.), *обобрать* (разг.), *хмельной* (обл.), *вопить* (разг.), *дичина* (обл.), *клев* (в значении «клюв») (обл.)[1], *ладно* (простореч.), *баять* (обл.) и др.

Сказка «О мертвой царевне»: *инда* (обл.), *издалеча* (обл.), *ломливый* (разг.)[2], *сыскаться* (разг.), *дурь* (разг.), *вишь* (простореч.), *наказывать* (в значении «давать поручение») (простореч.), *трезвонить* (простореч.), *святые* (в значении «иконы в переднем углу») (разг.), *спознать* (простореч.), *рассвело* (обл.), *тужить* (разг.) и др.

Сказка «О золотом петушке»: *лезть* (в значении «напирать») (простореч.), *справить* (обл.), *лихой* (разг.), *сулить* (простореч.), *угомониться* (разг.), *большой, меньшой* (о сыне) (простореч.), *выручка* («шлет на *выручку* большого») (разг.), *промеж* (простореч.), *завыть* (в значении «громко плакать») (вульг.), *ввернуться* («или бес в тебя ввернулся»)

---

[1] См. об этом слове в «Толковом словаре» Даля, изд. 1904 г., т. II, стр. 287.

[2] См. об этом слове в «Толковом словаре» Даля, т. II, стр. 686.

(разг.), *рехнуться* (простореч.), *лих* (частица) (обл.), *хватить* (разг.), *вздорить* (разг.).

Сказка «О медведихе»; *знать* (вводное слово) (разг.), *хорониться* (простореч.), *выедать* (разг.), *осержаться* (разг.)»[1], *пуп* (разг.), *пороть* («брюхо пороть») (разг.), *сымать* (простореч.), *трои* (числ.) (обл.), *байбак* (разг.)[2].

Вхождение слов из живого разговорного русского языка в литературу началось задолго до Пушкина. М. В. Ломоносов в своей теории стилей разрешил проблему литературного использования слов разговорного языка, и писатели XVIII и первой половины XIX в. пользовались правом вводить их в язык своих произведений — в пределах, указанных Ломоносовым. Слова живого разговорного языка можно видеть в языке комедий и басен, например, у Фонвизина, Хемницера, Грибоедова, особенно у Крылова и др. Проникали эти слова и в произведения иных жанров и даже в произведения высокого стиля (например, в оды Державина, см. его оду «Фелица»).

Однако у предшественников Пушкина лексика разговорных стилей языка вводится только в произведения, главным образом, «низкого стиля», по терминологии М. В. Ломоносова. Заслугой Пушкина является то, что он создал русский литературный язык на народной национальной основе. Он произвел, с присущим ему художественным чутьем и тонким знанием русского языка, строгий отбор языковых средств и выковал новый, реалистический язык новой, реалистической литературы. В этот язык Пушкин отобрал все то, что ему казалось в языке необходимым для точного и образного выражения мыслей и чувств. С этой меркой он подходил ко всем языковым материалам, в частности и к лексике и фразеологии разговорного языка.

Вполне естественно, что, оценив положительно те или иные языковые элементы, признав их литературное достоинство, Пушкин смело пользовался ими в своих стихотворных и прозаических произведениях и смело вводил их в литературный оборот.

---

[1] См. это слово в цит. выше «Словаре» Даля, т. II, ст. 1802.

[2] Стилистическую оценку всех указанных в качестве разговорных, просторечных и т. п. слов см. в «Словаре церковно-славянского и русского языка» 1847, тт. I—IV, в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля, изд. 3-е; «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, тт. I—IV.

Словарный состав языка сказок обнаруживает наличие в нем значительного количества слов, свойственных языку народно-поэтического творчества. Как было сказано выше, Пушкин высоко ценил мощь народного поэтического слова, поэтому вполне понятно, что в свой поэтический язык он включил элементы из языка русского фольклора.

Вот некоторые примеры фольклорной лексики в языке сказок.

Сказка «О царе Салтане»:

«Здравствуй, *красная* девица, —
Говорит он...
Вы ж, *голубушки-сестрицы*,
Выбирайтесь из светлицы».
Засмолили, покатили
И пустили в *Окиян*...
В *синем море* волны хлещут...
Улетела *лебедь-птица*...

Кроме этого: *булат*, *тридцать три богатыря*, словно *реченька* журчит, *матушка* моя родная, *остров Буян*, *ретивое* («в нем взыграло ретивое»).

Сказка «О рыбаке и рыбке»:

Сказал ей *ласковое слово*...
Перед ним изба со *светелкой*...
С дубовыми, *тесовыми вороты*...
Жемчуги *огрузили* шею,
На руках *золотые перстни*,
На ногах *красные сапожки*.

Сказка «О мертвой царевне»:

В *путь-дорогу* снарядился...
Ждет-пождет с утра до ночи...
Не видать *милова друга*...
Не кручинься, бог с тобой...

Кроме этого: *стол дубовый, люди добрые, милая сестрица, серые утки, зеленая дубрава, белы руки, красно солнце, свет наш, солнышко, темная ночка, месяц ясный, ветер-буйный, зеленое вино.*

Сказка «О золотом петушке»:

Видит *шелковый* шатер

Сказка «О медведихе»:

Из *лесу дремучего* выходила...
Стала кликать *малых детушек*...
Грянулась... о *сыру землю*.
В ту пору медведь... *голову повесил*.

Кроме этого, *зайка серенький, глаза завистливые, белая зорюшка.*

Слова этого пласта встречаются в народных песнях, сказках, духовных стихах, пословицах, поговорках.

Вот несколько примеров из произведений народного устного творчества для сравнения с лексикой сказок Пушкина.

На море, *на окияне,* на *острове на Буяне* стоит светлица...[1].

Во *лесах в дремучих*
Тут брала девка ягоды...
(Записи народных песен Пушкиным, песня № 8)[2].

Красны девки разыгрались,
Молодушки расплясались.
(Песня № 11).

Монисты золоты
Шею огрузили
(Песня № 20).

А *втапоры* Вольх он *догадлив* был
(Былина «Волх Сеславьевич»)[3].

В лексике языка сказок Пушкина нашли себе место слова русского старинного письменно-книжного языка, воскрешающего перед взором читателя картины русского средневековья — жизнь царского двора, жизнь крестьянства и купечества. Слова эти встречаются почти во всех пушкинских сказках. Вот несколько примеров этих слов: *гонец, грамота, лук, стрела, колымага, княжая шапка, торг, корабельщик, венец* (царский), *дьяк, приказный, богатырь, латы* (сказка «О царе Салтане»); *черная крестьянка, столбовая-дворянка, палаты* (дворец), *заморское вино* (сказка «О рыбаке и рыбке»); *торговый город, сенная девушка, царевна, рогатка* (сказка «О мертвой царевне»); *рать, воевода, шелом, меч* (сказка «О золотом петушке»); *торговый гость, подъячиха, смерд, целовальник, скоморох, ярыжка* (сказка «О медведихе»).

Номенологическая лексика сказок Пушкина основана на номенологическом словаре русского фольклора. В языке пушкинских сказок восемь собственных имен: в сказке «О царе Салтане» — Салтан, Гвидон, Бабариха, Черномор, в сказке «О попе и работнике его Балде» — Балда, в сказке «О мерт-

---

[1] Русский фольклор, хрестоматия, сост. Н. П. Андреев, 1938, стр. 50.
[2] А. С. Пушкин, Стихотворения и сказки, 1935.
[3] «Сбор. Кирши Данилова» (см. указ. выше «Хрестом. по истор. русск. языка» С. П. Обнорского и С. Г. Бархударова, ч. II, вып. II, стр. 300).

вой царевне» — Чернавка и Елисей, в сказке «О золотом петушке» — Дадон.

Кроме того, следует упомянуть два собственных названия мест—остров Буян (из сказки «О царе Салтане») и Пустая гора — (из сказки «О мертвой царевне»).

Имена сказочных персонажей — царя Салтана, князя Гвидона можно найти в «Сказании о Бове», в котором упоминается король Видон, царь Султан упоминается и в записях народных сказок самого Пушкина (см. сказку № 1). Имя волшебника Черномора Пушкин, повидимому, заимствовал из сказок Арины Родионовны (ср. посвящение к поэме «Руслан и Людмила»: «Времен минувших небылицы, в часы досугов золотых, под шопот старины болтливой рукою верной я писал»). Балда, попов работник, фигурирует в записях сказок у Пушкина (см. сказку под номером 3). В «Сборнике Кирши Данилова» (сборник был известен Пушкину) в сказке «Дурень» есть имя Бабариха. В той же сказке сестру дурня зовут Чернавой. Имя царя Дадона известно из «Сказания о Бове». Название острова Буяна встречается в русском фольклоре (см., например, сказку № 4 из записанных самим Пушкиным)[1]. Слова Елисей, Пустая гора — обычные русские, народные названия, которые могли быть заимствованы из живой народной речи. Таково же и слово «Соколко» (кличка собаки) из сказки «О мертвой царевне».

III. Фразеологические явления языка сказок Пушкина

При изучении языка сказок Пушкина нельзя не остановиться на их богатой, разностильной фразеологии. В ней выделяются устойчивые словочетания, присущие языку русского фольклора, разговорному языку разных слоев современного Пушкину русского общества и языку древне-русских письменных памятников.

Примеры располагаются в порядке указанных рубрик.

Фольклор: садиться *на добра коня,* за *тридевять земель,* я там был, *мед, пиво пил — и усы лишь обмочил* (сказочная концовка) (сказка «О царе Салтане»); *попляши-тка* под нашу балалайку (сказка «О Балде»), ср. поговорку «По чужой дудке пляшет»[2], *жить да поживать, ждет-пождет, ясный месяц*

[1] А. С. Пушкин, Стихотворения и сказки, стр. 267.
[2] Словарь В. И. Даля, т. I, столб. 1244.

(сказка «О мертвой царевне»); *в тридевятом царстве, в тридесятом государстве* (обычный сказочный зачин), *жил был* (песенный и сказочный зачин), *сказка — ложь* (ср. пословицу «Сказка—складка, а песня—быль» (сказка «О золотом петушке»); медвежья шуба в *пятьдесят рублев* (ср. в сказках и песнях часто встречающееся выражение «пятьдесят рублей (рублев)»: «Наживешь ты денег *пятьдесят рублей*, наживешь ты шубоньку дорогую»[1], «Те мужики новогороцкие примали ево во братшину Николшину дал молодец им пятьдесят рублев»)[2]; *грянулась* медведиха о сыру землю, а мужик-от *он догадлив был* (ср. «А втапоры Вольх он догадлив был»)[3].

Фразеология разговорного языка дворянского общества; *душа моя*[4], *жизнь моя, но всему же есть граница*[5], *как обидно! что такое, господа? благодарствую, благодарствуй* за (обед). *знаешь ли, кто я?* . .

Общелитературная фразеология: напр., *дальний бег, поверх текучих вод, страстная душа, равнины океана, наливное, золотое* яблочко. Вот несколько параллелей из других произведений Пушкина:

Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш *бег могучий...*
Где ты, гроза, символ свободы?
Промчись *поверх невольных вод.*
(Стихотворение «Кто, волны, вас остановил...»).
По вольному распутью моря
Когда ж начну я *вольный бег*?
(«Евгений Онегин», 1, 50).
У меня плоды блестят *наливные, золотые*
(«Вертоград моей сестры»).

Использование фразеологического материала из разговорного языка привилегированного общества и литературного письменно-книжного языка в сказках стилистически мотивировано. Этот незначительный по своему объему фразеологический материал введен Пушкиным в описания и сцены, в которых участвуют люди из господствующих классов. На-

---

[1] См. народные песни о горе, цит. по «Хрестоматии по древнерусской литературе» Н. К. Гудзия, 1935 год, стр. 310 и сл.

[2] Былина «Садко богатый гость», см. указ. выше «Хрестоматию по истории русского языка», 1948, стр. 313.

[3] Там же, былина «Волх Сеславьевич», стр. 304.

[4] См. об этом слове в значении «приветствия любимому человеку» в акад. словаре 1847 г., т. I, стр. 379.

[5] См. в этом значении слово «граница» в акад. словаре 1847, т. I, стр. 289.

пример, вполне оправданными стилистически являются выражения «поверх текучих вод» и «по равнинам океана» в описании морского пейзажа в сказке «О царе Салтане».

Одним из средств социальной характеристики действующих лиц, реалистического показа жизни являются фразеологические сочетания «жизнь моя», «душа моя» в сценах встречи князя Гвидона и царевны Лебеди или в сцене пребывания в лесу царевны и Чернавки.

Указанный фразеологический материал использован Пушкиными и для едкой, яркой политической сатиры на Николая I — этого бездарного, ленивого, жестокого и сластолюбивого «царя Дадона» XIX в.:

«Что *такое, господа?*»
Говорит Дадон, зевая,
«А? Кто там? беда какая?..».
«Что ты?» — старцу молвил он, —
Или бес в тебя ввернулся...
Я, конечно, обещал,
Но всему же есть граница.
И зачем тебе девица?
Полно, знаешь ли, кто я?».

(Из сказки «О золотом петушке»).

Сатирический намек на современного Пушкину царя и фразеология этого намека были настолько ярки и сильны, что царская николаевская цензура была особенно придирчива к сказке «О золотом петушке».

Более значительным по объему в языке сказок Пушкина является пласт фразеологического материала, заимствованного поэтом из живого, разговорного языка народа, в первую очередь — крестьянства. Примеры этого рода в сказках многочисленны: *как на подбор, уж диковинка, дело лихо, век не забуду* (сказка «О царе Салтане»); *белены объесться, дурачина ты, простофиля, толкать взашеи, впредь тебе наука* (сказка «О рыбаке и рыбке»); *всем взял, спрос — не грех, с места живому не сойти, чесать в затылке, не к добру* (сказка «О мертвой царевне»). *быть проку, лих же, нет, рехнуться с ума, дух вон, нет как нет, так и так, убирайся, цел пока, забрать в голову* (сказка «О золотом петушке»); *отколь ни возьмись, голову повесить, завыть голосом* (сказка «О медведихе»); *этого провести не штука! делать нечего* (сказка «О попе и работнике его Балде»).

Наличие этого, разговорно-просторечного фразеологического пласта в языке пушкинских сказок стилистически тоже

мотивировано. Разговорные, фамильярные и просторечные выражения характеризуют сцены, где действующими лицами являются люди из низших классов общества, например, крестьяне в сказках «О рыбаке и рыбке», «О попе и работнике его Балде», а также в некоторых местах сказки «О мертвой царевне». Эти выражения введены поэтом в текст сказок и для того, чтобы оттенить манеру обращения действующих лиц с другими, например, Дадона с звездочетом (*А! здорово, мой отец!.. Подь поближе, что прикажешь?.. Так лих же. нет!..* Убирайся, *цел пока,* оттащите старика!»).

Меткие, красочные выражения, заимствованные из уст народа, внесены поэтом и в авторскую речь и придают ей характер бесхитростного народного сказа:

Царевна очутилась
В светлой горнице; кругом
Лавки, крытые ковром,
Под святыми стол дубовый...
Видит девица, что тут
Люди добрые живут...
Братья молча постояли,
Да в затылке почесали.
(Из сказки «О мертвой царевне»).

В языке сказок Пушкина нашла себе место и фразеология древнерусских письменных памятников: *венчать княжей шапкой, править город, смилуйся* (государыня рыбка), *люди, на конь!, пожалую тебя, гости-господа, восстать ото сна* (ср. «*венчал тем царским венцем*» — из речи царя Бориса патриарху Иову, 1598 г.; «*пожаловал бы, добрый и славный король Дадон, приехал бы под наш город*», «*А будет словеса твои сбудутся, и яз тебя пожалую*», «*И король Дадон востал от сна своего,* — из сказания «О Бове королевиче»).

IV. Морфологические явления языка сказок Пушкина

В области словообразования следует отметить наличие весьма значительного количества имен существительных, прилагательных и наречий с ласкательно-уменьшительными суффиксами (черта, свойственная языку народно-устного художественного творчества). Вот несколько примеров:

Вы ж, *голубушки-сестрицы,*
Выбирайтесь из светлицы...
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла *тихонько,*

И отхлынула *легонько*...
А как речь-то говорит,
Словно *реченька* журчит.
(Сказка «О царе Салтане»).

Ты, бесенок, еще *молоденек*,
Со мной тягаться *слабенек*
(Сказка «О попе и работнике его Балде»).

Наряду с ласкательно-уменьшительными словами, в языке сказок имеются фамильярно-пренебрежительные:

Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, корыто!
(Сказка «О рыбаке и рыбке»).
Попенок зовет его тятей.
(Сказка «О попе и работнике его Балде»).
Старушонка хлеб поймала.
(Сказка «О мертвой царевне»).

В языке сказок наблюдаются следующие суффиксы имен существительных с значением субъективной оценки (ласкательно-уменьшительные, фамильярно-пренебрежительные):

—*иц*: сестрица;
—*ушк*: голубушка, сударушка, старушка, бабушка, муравушка;
— *енька:* душенька, реченька;
— *юшка*; хозяюшка, горностаюшка, зорюшка;
—*ышко*: солнышко;
—*ик*: кораблик, хвостик;
— *ец:* братец, изумрудец;
—*ок*: дружок, рожок, мужичок, петушок, лесок;
—*очек*: кусочек, подарочек, мешочек;
— *очк:* яблочко, белочка, присвисточка, дворяночка;
—*ечк*: княгинечка;
— *к*: свечка, ручка, зайка, мордка, губка, лапка;
—*ц*: зеркальце;
—*онок*: вражонок;
—*онка*: старушонка;
—*енок*: попенок;
—*ишк*: зверишка.

Следует отметить суфф. -*иха* в диалектном слове *«медведиха»*.

Имена прилагательные и качественные наречия с значением субъективной оценки в языке пушкинских сказок имеют следующие суффиксы:

—*еньк*: бедненький, серенький;
—*ешеньк*: белешенька, тяжелешенько;

—*к*: немножко;

—*оньк:* легонько, тихонько.

Интересно отметить, в связи с словообразованием имен существительных, что в языке сказок Пушкина совсем не встречается суффиксов церковнославянского происхождения *-ствие, -ение*; наблюдаются, наоборот, суффиксы разговорной речи *-ство* (бедство)[1] и *-енье*: *сраженье восхищенье, разрещенье, благословенье, возвращенье.*

Дальнейшие морфологические наблюдения над языком сказок располагаются по частям речи.

В области *имен существительных* следует отметить сдвиги в грамматическом роде некоторых слов. Так имя существительное «лебедь» отнесено к существительным женского рода, как это обычно в языке фольклора. Ср.:

Лебедь белая плывет;
Улетела лебедь-птица.
(Сказка «О царе Салтане»).
Отлетала *лебедь белая*
Что от стада лебединого
(Свадебная песня).

Вводное слово «авось» в сказке «О попе и работнике его Балде» является субстантивированным словом *мужского рода,* как это обычно в пословицах.

Ср. стих из сказки «О попе»:

Да понадейся на *русской авось*

с пословицами: *«От авося* добра не жди», *«Авось,* плут, обманет»[2].

В стихотворениях и поэмах Пушкина субстантивированное междометие «ура» и местоимения «ты» и «вы» *среднего* рода, как это свойственно литературному языку («Пустое *вы* сердечным *ты* она, обмолвясь, заменила»; «Далече *грянуло ура»).*

В языке сказок следует отметить архаические падежные формы винительного, звательного падежа ед. числа и творительного падежа множ. числа. Эти формы сближают язык сказок с языком древнерусских письменных памятников. Ука-

---

[1] Слова «бедство» и «бедствие» фиксируются цит. выше акад. словарем 1847 г., как литературные для 1-й половины XIX в., см. т. I, стр. 93. Однако Пушкин, по-видимому, относит слово «бедство» к разговорным; употребляя его в сказках, он в своих поэмах предпочитает слово «бедствие» (ср. стихи в поэме «Руслан и Людмила»: «И, бедствий празднуя конец, Владимир... запировал» и в поэме «Медный всадник»: «И в думе, скорбными очами на злое бедствие глядел».

[2] См. «Словарь» Даля, 1903, т. I, ст. 8.

занные формы имеются в сказках «О рыбаке и рыбке», «О медведихе», «О царе Салтане», «О золотом петушке».

Отпусти ты, *старче*, меня в море;
Перед ним изба со светелкой...
С дубовыми тесовыми *вороты;*
А мешок-то у него за *плечьми*...
Крылами замахала. *Люди, на конь*!

Ср. с выражениями из «Сказания о Бове»: *Брате Полкане, помирися с Бовою»,* «Не на чем мне выехать *с Маркобруновыми дворяны* потешитца», «А промеж *плечми* мерная сажень».

В языке сказок Пушкина наблюдаются формы, свойственные языку разговорно-просторечному и фольклорному: *спору нет,* с общего... *приговору, до дому;* поймал двух *зайков;* наливают... заморские *вины;* честь *хозяям* отдала, *всяким яством* угощала, в свете есть *такие ль дива?, изоб* нет, на знакомом *острову;* шуба в пятьдесят *рублев.*

Вот несколько примеров подобных форм из былин. «Дал молодец им пятьдесят *рублев*». «А в *другом погребу*... у Садка червонцы лежат» (из былины «Садко богатый гость»). «Сажали за столы убраные за *ества сахарныя*» (из былины «О женитьбе князя Владимера»)[1]. «Клали оне рыбу в *погребы глубокия*» (из былины «Садко богатый гость»). Ср. также наличие указанных выше форм в басенном языке Крылова, близком к разговорному: «И пью из хрусталей блестящих *сладки вины*» («Муха и Пчела»); «Вот эта мне, как Льву, принадлежит *без спору*» («Лев на ловле»).

Имена прилагательные в языке сказок Пушина также имеют некоторые особенности. Следует отметить формы нечленных и стяженных имен прилагательных, как в именительном, так и в косвенных падежах.

Вот некоторые примеры:

А сама-то *величава*...
Царь Салтан, с женой простяся,
На добра коня садяся,
Ей наказывал себя
Поберечь. . .
Объявили *царску* волю...
С *синя* моря глаз не сводит.
(Сказка «О царе Салтане»).

[1] В языке фольклора слово «ества» встречается и в единственном и во множественном числе. Например, в духовном стихе «Царевич Иосаф Пустынник»: «Гнилая колода лучше царского ества». У Пушкина в сказке «О золотом петушке» — «яством».

В языке сказок Пушкина имеется около 40 нечленных прилагательных в функции сказуемого. В функции определения около 10 стяжённых имен прилагательных; им соответствуют членные формы (ср. «С *синя* моря», «У самого *синего* моря»). В поэтическом языке времени Пушкина стяжённые прилагательные в роли определения представляли явление не редкое, встречаются они и в поэтическом языке самого Пушкина[1]. Однако, общее количество их, как в других стихотворных произведениях Пушкина, так и в сказках, очень невелико.

Употребление стяжённых прилагательных в функции определений совершенно обычно в языке фольклора.

Нахождение их в языке сказок можно объяснить тем, что они были необходимы поэту при обработке народных сказочных сюжетов в стилистических целях. Интересно отметить, что в сказках «О золотом петушке», «О попе и работнике его Балде», «О рыбаке и рыбке» стяжённых форм нет, в сказке «О медведихе»—1 («Приходил байбак тут *глумян*», ср. у Даля «глумянный», «Толковый словарь», 1903, т. I, стлб. 881); в сказке «О царе Салтане» 5 («На *дабра* коня», *Неведому* зверюшку», «*Царску* волю», «*Тонку* тросточку», «С *синя* моря»); в сказке «О мертвой царевне»—3 («К *красну* солнцу», «*Красно* солнце», «*Сине* море»).

Таким образом, Пушкин для языка своих сказок сделал строгий отбор словесных средств выражения: из языкового материала он взял только то, что было для него необходимо. для яркого и точного выражения его поэтического замысла.

Один раз в языке сказок Пушкиным использована архаическая форма род. пад. имени прилагательного жен. рода единствен. числа на -ыя.

Но живет без всякой славы,
Средь *зеленыя дубравы*...
Та, что все ж тебя милей.
(Сказка «О мертвой царевне»).

Эта форма наблюдается в языке стихотворных произведений Пушкина и его современников, встречается она и в

---

[1] В различные годы поэтической деятельности Пушкина стяженные прилагательные в атрибутивной функции в его произведениях (имеются в виду стихотворные произведения) представлены различно: в ранние годы его творчества они встречаются в его стихах чаще, чем в более поздних; так в стихотворении «Городок» (1814 г.), их 11, в поэме «Медный всадник» (1833) — 8, хотя она значительно больше по объему, чем стихотворение «Городок».

языке былин; ср., например, «Садко... будет у тоя башни проезжия» («Сладко богатый гость»); «Молоды Дунаи... приехал... просить чесныя млсти (т. е. милости) («О женитьбе князя Владимира»).

В языке сказок имеется диалектная форма прилагательного «ради» (мн. ч.):

Тебя

Все мы любим, за себя

Взять тебя мы все бы *ради.*

(Сказка «О мертвой царевне»).

Эта форма вполне уместна в речи братьев-крестьян, богатырей, у которых нашла приют царевна.

Использована в языке сказок, в реплике поварихи (сказка «О царе Салтане»), просторечная форма превосходной степени прилагательного «проклятый».

«*Распроклятая* ты мошка!

Мы тебя!».

В области имен числительных в языке сказок Пушкина обращают на себя внимание слова: *осьмой* (сказка «О золотом петушке»): «*Вот осьмой уж день проходит*» (ср. «Вот проходит восемь дней» — из той же сказки), «*Тридевятый*», «*тридесятый*» — в сказке «О золотом петушке»: «Негде в *тридевятом* царстве, в *тридесятом* государстве». Числительное «осьмой» является диалектным (см. цит. выше «Толковый словарь русского языка» под ред. Ушакова, II т., столб. 889); старинные числительные «тридевятый» и «тридесятый» обычно находятся в сказочном зачине (ср. тот же словарь, т. IV, столб. 799) и употреблены А. С. Пушкиным в стилистических целях.

Просторечное субстантивированное *местоимение* «всяк» встречается в авторском языке в сказке «О царе Салтане».

Князь Гвидон тот город правит,

Всяк его усердно славит.

В области *глагольных* форм выделяются в языке сказок просторечные усеченные формы инфинитива и повелительного наклонения, например:,

Подь поближе, что прикажешь?

(Сказка «О золотом петушке»).

Выдь и покажися,

С нами честно подружися.

(Сказка «О мертвой царевне»).

Выдь ко мне.

(Из той же сказки).

А у князя жонка есть,
Что не можно глаз *отвесть*...
Чудо чудное *завесть*
Мне б хотелось.

(Сказка «О царе Салтане»).

Этих форм в языке пушкинских сказок немного, все они стилистически в нем оправданы: формы повелительного наклонения слышатся в устах братьев-богатырей и старухи-черницы; усеченные формы инфинитива наблюдаются в диалогах Гвидона и царевны и рассказе купцов.

Следует отметить, что в пушкинское время эта форма инфинитива имела литературное признание; ее нередко употребляют Державин, Крылов и др. поэты, нередко ее можно наблюдать и в поэтическом языке Пушкина[1].

В сказке «О медведихе» есть формы инфинитива на —*ти* (суффикс -*ти* без ударения).

Стали медвежата промеж собой играть,
По муравушке *валятися, обниматися,*
Боротися, кувыркатися.

Такие формы часто встречаются в языке русских песен, былин и др. произведений.

Ср.: Взялся батюшка у вас завтра в гости побывать,
Ты умей его *приняти*, умей *подчивати*.
(Из «Песни о сыне Сеньки Разина»)[2].

В языке сказок Пушкина встречаются формы повелительного наклонения глагола с присоединенными к ним модально-приглагольными частицами —*ка* (просторечная) и —*тка* (диалектная), смягчающими волеизъявление, выражаемое пов. наклонением глагола.

Кобылу *подыми-тка* ты,
Да неси ее полверсты...
Подожди-ка моего меньшого брата...
Собери-ка... оброк мне полный.
(Сказка «О попе и работнике его Балде»),

Попляши-тка под нашу балалайку.
(Сказка «О попе и работнике его Балде»).

Эти формы повелительного наклонения свойственны и языку фольклорных произведений.

---

[1] Ср. § 22 в кн. В. И. Чернышева, «Правильность и чистота русской речи», 1911, там же можно видеть и многочисленные примеры.

[2] Цитир. по записям народных песен Пушкиным, «А. С. Пушкин, Стихотворения и сказки», стр. 273.

Вы *пойдите-ка*, выройте две ямы глубоких,
Вы поставьте-ка два столбика дубовых
(Из песни)
Туто жил-поживал господин
Волконский князь...
Отвори-*тка* свой высок терем[1].

В языке сказок Пушкина (в очень ограниченном количестве) встречаются формы деепричастия на-*ючи* (1) и-*ши* (3), свойственные языку фольклора:

Смотрит в поле, инда очи
Разболелись, *глядючи*.
(Сказка «О мертвой царевне»).
А царевич и царица,
Целый день *проведши* так,
Лечь решились натощак.
(Сказка «О царе Салтане»).

Ср. в песнях:

Она чару расшибла, вино все пролила,
Все *глядючи* на Ивана своего.
(Из свадебных песен).
Уж как нонешние люди
Они молоды, лукавы,
С измаленька вороваты;
Не *видавши* — много видят,
Не *слыхавши* — много слышат.
(Из необрядовых песен)[2].

Эти деепричастные формы тоже сближают язык пушкинских сказок с языком фольклора.

С языком фольклора и разговорным языком народа сближает язык сказок почти полное отсутствие тех форм причастий, которые представляют собой явление книжного языка. В языке пушкинских сказок использованы во многих случаях формы причастий прошедшего времени страдательного залога, свойственные как письменно-книжному, так и языку фольклора и бытовому разговорному языку; в нем использовано только одно причастие действительного залога — на — *ющ*:

Отвели они девицу
Вверх во светлую светлицу
И оставили одну,
Отходящую ко сну.
(Сказка «О мертвой царевне»).

---

[1] А. С. Пушкин, Стихотворения и сказки, 319, 300.
[2] Там же, стр. 282, 308.

Кроме этой формы, имеются в той же сказке формы «хранима» и «любима» — причастия настоящего времени страдательного залога, тоже свойственные, главным образом, письменно-книжному языку.

Нами ты была *любима*
И для милого *хранима*.

Из глагольных форм языка пушкинских сказок следует отметить так называемые глаголы ультрамгновенного вида — ах, хи-хи-хи, хвать (простореч.) — в значении сказуемого.

Но царевна в обе руки
Хвать — поймала (яблочко)...
И встает она из гроба...
Ах! — и зарыдали оба.
(Сказка «О мертвой царевне»).
А девица
Хи-хи-хи да *ха-ха-ха!*
(Сказка «О золотом петушке»).

Эти глагольные формы, часто встречающиеся в разговорной речи и языке фольклора, придают необычайную живость сказочному повествованию, сообщают ему характер непринужденной, оживленной речи.

Морфологические черты языка сказок Пушкина свидетельствуют о тесной связи поэтического языка Пушкина с разговорным языком народа, языком народно-устного творчества и древнерусских письменно-книжных памятников.

V. Синтаксические явления языка сказок Пушкина

В области синтаксиса выделяются особенности в:

1) согласовании,
2) управлении,
3) употреблении падежных форм, предлогов, союзов, постпозитивной частицы, времён, наклонений, инфинитива,
4) структуре предложений,
5) строении диалога.

1. О сдвигах в категории грамматического рода, а следовательно, и согласовании в роде имен существительных «лебедь» и «авось» было сказано выше, в обзоре морфологических явлений языка сказок Пушкина. При обзоре синтаксических явлений следует отметить один случай согласования сказуемого с подлежащим, выраженным именем существительным с собирательным значением. В сказке «О рыбаке и рыбке» в описании встречи старика-рыбака с женой, ставшей царицей, читаем:

Вокруг ее (старухи) *стоит* грозная стража,
На плечах топорики *держат*.

К подлежащему «стража» относятся сказуемые «стоит» (единственное число) и «держат топорики» (множ. число).

В других подобных случаях сказуемое с собирательным им. сущест. сочетается обычно в ед. числе, напр.,

Пышный двор *встречает их*.
А народ-то над *ним насмеялся*.

Сдвиги в связях глагола-сказуемого с собирательным им. существительным в роли подлежащего в языке фольклора — явление обычное.

Ср.: «Дружина *спит* так Вольх не спит»: «А и *ходят* его дружина по царству индейскому а и *рубят* старова малова ан только *оставляют* по выбору душечки красны девицы». (Из былины «Волх Сеславьевич»)[1]. Сдвиги в связях сказуемого с собирательным подлежащим сближают язык сказок Пушкина с языком фольклора.

2. Примерами особенностей управления в языке пушкинских сказок могут служить следующие выражения из сказки «О царе Салтане»:

Князь Гвидон тот *город правит*.
(вместо принятого в лит. языке «править чем»);
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему? (вм. «чем опечален»).
(Сказка «О царе Салтане»).
А на зеркальце свое
Долго дулась и сердилась;
Наконец *об нем хватилась*... (вм. «его хватилась»).
(Сказка «О мертвой царевне»).

Такие же особенности в управлении падежом свойственны как языку разговорному и фольклорному, так и языку древнерусских письменных памятников.

Ср.: «Землю Русскую управляше» (Из «Жития... кн. Дмитрия Ивановича»)[2].

Чему же мне смеятися?
(Записи народных песен Пушкиным, песня 31)[3].

3. В языке сказок Пушкина наблюдаются особенности в употреблении предлогов, например:

---

[1] «Хрестоматия по истории русского языка», стр. 305—306.
[2] «Хрестоматия по др. русск. литературе», 1935, стр. 130.
[3] А. С. Пушкин, Стихотв. и сказки, стр. 302. В стихе «Об нём хватилась», предл. падеж можно объяснить контаминацией «хватилась» — «вспомнила».

Все *в том острове* богаты,
Изоб нет, везде палаты,
А сидит *в нем* князь Гвидон.
(Из сказки «О царе Салтане»).

Однако в другом месте той же сказки вместо предлога «*в*» употреблен в том же значении обстоятельства места предлог «на»:

На знакомом острову
Чудо видяг на яву.

Предлог «промеж» в языке пушкинских сказок сочетается с именами существительными в родит. падеже и только в одном случае в творительном.

Ср.: И *промеж высоких гор*
Видит царственный шатер
(Сказка «О мертвой царевне»).
Стали медвежата *промеж собой* играть.
(Сказка «О медведихе»).

В пушкинское время предлог «промеж» считался «простонародным» и употреблялся с родит. падежом[1].

В языке сказок употребление его с родит. падежом служит для выражения места действия; с творит. падежом местоимения он обозначает определенный круг действующих лиц (см. 2-й пример).

Предлог «между» в сказках Пушкин употребляет или с род. п. мн. числа, или с двумя именами сущ., из которых одно в род. пад. ед. ч., а другое — в род. пад. множ. ч. Например:

Гроб качается хрустальный
На цепях *между столбов*...
(Сказка «О мертвой царевне»).
Полетел и опустился *между моря и небес*
На корабль...
(Сказка «О царе Салтане»).

В обоих случаях предлог «между» в сочетании с существительными обозначает место развития действия. В первой половине XIX в. предлог «между» употреблялся и с родительным и с творительными падежами в разных значениях[2].

---

[1] См. «Словарь церковно-славянского и русского языка», 1847 г., т. III, стр. 539.

[2] Там же, т. II, стр. 295. В поэтическом языке самого Пушкина предлог «между» употребляется с родит. и с творит. падежами без особых стилистических мотивировок. Ср. в «Цыганах»: «Между колесами», «Между нами», «Между красавиц».

В языке народно-поэтического творчества колебания в употреблении предлогов, подобные отмеченным в языке пушкинских сказок, наблюдается довольно часто. Ср., например, в «Повести о горе-злосчастии» употребление предлогов «в» и «на»:

Не ходи, чадо, *в* пиры и *в* братчины,,
Не садись ты *на* место большее.
Пришел молодец *на* честен пир...
Посадили его... не *в* большее место,
Не *в* меньшее»[1].

В языке сказок Пушкина наблюдается повторение предлогов — черта, свойственная и языку фольклора.

Ср. в сказках Пушкина:

Вот *в* сочельник *в* самый *в* ночь
Бог дает царице дочь...

(Сказка «О мертвой царевне») и в былине «Вольх Сеславьевич»:

«*По* саду-саду *по* зеленому ходила гуляла молода княжна»[2].

В языке пушкинских сказок следует отметить частое повторение соединительных союзов — *а, и*. Союз *а* в языке сказок Пушкина очень часто используется в соединительном (а не в противительном только) значении: он выполняет соедительные функции в предложениях с однородными членами и сложно-сочиненных и присоединительные — после разделительной паузы, в начале предложения. В этом отношении роль союза *а* в языке сказок близка к роли союза *и*. Смысловое содержание союза *а* в контексте разнообразно. Повторение союзов имеет целью выделение указываемых понятий, а также служит и для выражения нарастания силы действия.

Вот несколько примеров повторения союзов в языке сказок Пушкина:

Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает будто пава;

---

[1] «Хрестоматия по древней русской литературе», 1935, стр. 301, 304. В сказке «О попе и работнике его Балде» имеется 2 варианта следующего стиха: «Платить обязались черти до самой моей смерти» (А. Пушкин. Сказки. Госполитиздат, 1936, стр. 41); и «по самой моей смерти» (А. С. Пушкин, Стихотв. и сказки, Академия, 1935, стр. 210). Ввиду неясности в тексте, приходится ограничиться только констатацией разночтений.

[2] «Хрестоматия по истории русского языка», стр. 304.

А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
(Сказка «О царе Салтане»).

И царица хохотать,
И плечами пожимать...
И прищелкивать перстами,
И вертеться подбочась,
Гордо в зеркальце глядясь.

(Сказка «О мертвой царевне»).

Повторение соединительных союзов свойственно народно-поэтической речи и языку древнерусских письменных памятников. Повторение союзов в языке фольклора общеизвестно, поэтому нет необходимости останавливаться на иллюстрациях. Примеры из древнерусских письменных памятников: «Приказал он, архимандрит, тое пеньку в веревки свивать, да вчетверо сгибать, да на короткие палки вязать, да вздумали их шелепами называть» (из «Списка с челобитной Колязина монастыря»)[1].

Повторение союзов роднит язык сказок Пушкина с языком русского фольклора и др. русских письменных памятников.

В языке сказок Пушкина встречаются им. существительные с постпозитивной частицей. Эта частица свойственна разговорной речи и фольклорному русскому языку. В языке сказок Пушкина постпозитивная частица имеет форму «-то» и только в одном случае, в сказке «О медведихе,—форму «-от»:

А мужик-*от* он догадлив был...
А мужик-*то* ей брюхо порол.

Следует отметить, что постпозитивная частица в языке пушкинских сказок наблюдается не только с падежными формами им. существительных, но и (в одном, правда, случае) с глаголом (в сказке «О медведихе»):

А поклавши-*то* домой, пошел.

Вот, для сравнения, примеры из языка фольклора и древних письменных памятников:

Прибивала-*то* она молодца ко городу...
Один-*то* был у отца у матери единый сын.
Нос-*от* синь, — это свахин сын.
(См. последний пример в записи народных песен Пушкиным)[2].

---

[1] «Хрестоматия по др. русск. литературе», стр. 349.
[2] А. С. Пушкин, Стихотворения и сказки, стр. 279, 298.

Сказочное повествование, спокойное, неторопливое и выразительное, с свойственными ему повторениями сцен, зачинами и концовками, в сказках Пушкина перемежается диалогами, риторическими вопросами автора, его восклицаниями, эмоционально передающими его отношение к изображаемому. Богатый в смысловом отношении, яркий, экспрессивный язык автора-рассказчика содержит разнообразные языковые средства — в частности формы различных времен, наклонений, инфинитив, глаголы ультрамгновенного вида; автор использует эти средства в зависимости от смыслового содержания и эмоционального тона сказочного повествования. Рассказ ведется в формах прошедшего времени глаголов; однако эти формы в описаниях часто переходят в формы настоящего времени, живописуя рассказ, воскрешая прошлое, сообщая ему живость и яркость настоящего, так что оно происходит как бы перед глазами читателя. Наличие форм настоящего времени вместо прошедшего характерно для всех сказок Пушкина. Этот прием слабее представлен в сказке «О медведихе»; в ней почти все глаголы выражены в форме прошедшего времени.

См., например, описание встречи князя Гвидона на острове, сцену на море во время охоты князя, рассказы корабельщиков — из сказки «О царе Салтане», или повествование о том, как королевич Елисей разыскивал свою невесту — из сказки «О мертвой царевне».

В описаниях вместо настоящего времени глаголов иногда автор употребляет формы будущего времени с целью изобразить или стремительность действий персонажа, или повторяемость их, обычность. Например, в сказке «О мертвой царевне»:

Как царица *отпрыгнет,*
Да *как* ручку *замахнет,*
Да по зеркальцу *как хлопнет,*
Каблучком-то *как притопнет!..*
А хозяюшкой — она
В терему меж тем одна
Приберет и *приготовит*

(Сказка «О мертвой царевне»)

До светла все у него пляшет,
Лошадь *запряжет,* полосу *вспашет,*
Печь *затопит,* все *заготовит, закупит,*
Яичко *испечет* да сам и *облупит.*

(Сказка «О попе и работнике его Балде»).

Форма будущего простого в сказке «О царе Салтане» использована и для изображения повторяющейся ежедневно картины морского прилива:

Море *вздуется* бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой...

В языке пушкинских сказок очень выразительно употребление инфинитива: он служит для передачи безапелляционного приказания, для выражения стремительного действия, для обозначения начала действия, для указания предполагаемого действия, а с наречием «как» или с отрицанием — невозможного в данное время действия, для выражения нерешительности, колебаний. Во всех этих случаях инфинитив в контексте рассказа сближается по смыслу с соответствующими наклонениями. Примеры:

Дал гонцу такой приказ:
«*Ждать* царева возвращенья...».
(Сказка «О царе Салтане»).

И царица *хохотать*
И плечами *пожимать*
И *подмигивать* глазами,
И *прищелкивать* перстами и т. д.

Она его *ласкать*,
Треплет нежною рукою.
(Сказка «О мертвой царевне»).

Пораздумай ты путем,
Не раскаяться б потом.
(Сказка «О царе Салтане»).

Уж как мне с тобой, моей боярыней,
Веселой игры *не игрывати* и т. д.
(Сказка «О медведихе»).

Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны...
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок и т. д.
(Сказка «О золотом петушке»).

Как мне быть? Ведь я невеста.
(Сказка «О мертвой царевне»).

Богатство тончайших оттенков смысла, которые могут быть выражены различными формами русского глагола, Пушкин вскрыл в языке русского народного устного творчества и живом, разговорном народном языке, — вскрыл, изучил и на своем гениальном творческом опыте показал, как надо

пользоваться богатейшими речевыми средствами родной речи. К внимательному изучению мощи русского языка во всем богатстве его явлений, во всей красочной выразительности его стилевых возможностей призывает нас высокохудожественный, подлинно народный язык сказок Пушкина.

3. Структурной основой предложения в языке сказок Пушкина является двучленное предложение различных конструкций; однако и одночленные предложения играют большую роль в языке сказок[1]. Преобладание двучленных предложений в языке сказок в значительной мере способствует его синтаксической простоте и доступности. Богатство разговорных интонаций, риторические вопросы, поддерживающие внимание читателя и слушателя, восклицательные предложения, передающие настроение и эмоции автора, множество ярких и веских фразеологических сочетаний, идиоматические выражения, пословицы и поговорки, — все это придает языку сказок Пушкина характер безыскусственного, эмоционально насыщенного, красивого по форме, яркого и доходчивого до сознания читателя и слушателя сказочного повествования.

Из всех членов предложения особой экспрессией выделяются сказуемые. Способ их грамматического выражения многостилен — от нейтральных по стилю глагольных форм до междометных глаголов и фразеологических групп, придающих фразе меткость и силу. Вот несколько примеров этого рода сказуемых:

Субстантивные сказуемые:

Уж диковинка, ну право...
Город у моря стоит...
Распроклятая ты *мошка!*
Мы тебя!...
(Сказка «О царе Салтане»).

В сказуемом количественно-именное сочетание:

В корыте *много ли корысти.*
(Сказка «О рыбаке и рыбке»).

В сказуемом междометный глагол:

Царевна в обе руки
Хвать — поймала.
(Сказка «О мертвой царевне»).

В сказуемом фразеологические словосочетания разговорной речи:

---

[1] Подсчет двучленных и одночленных предложений в сказке «О попе и работнике его Балде» показывает, что двучленных предложений в нем в 7 раз больше, чем одночленных (134 : 18).

Так и *так: что делать остается?..*
Закажи Балде службу, чтоб *стало ему не в мочь.*
(Сказка «О попе и работнике его Балде»).
Поделом тебе, старый невежа!..
Что ты, баба, *белены объелась?*
(Сказка «О рыбаке и рыбке»).
Лебедь нас к тебе послала
И *наказом наказала.*
(Сказка «О царе Салтане»).

В сказуемом безлично-предикативное наречие:
Ладно ль за морем, иль *худо?*
(Сказка «О царе Салтане»).
Добро! Будет старуха царицей!
(Сказка «О рыбаке и рыбке»).

В сказуемом междометие:
Повариха и ткачиха *ни гу-гу.*
(Сказка «О царе Салтане»).

Следует также отметить удвоение глагола-сказуемого, придающее речи разговорный тон и служащее для выражения интенсивности проявления действия (в призывах о помощи):

Караул! *Лови, лови,*
Да *дави* его, *дави...*
(Сказка «О царе Салтане»).

Народная основа синтаксиса языка сказок Пушкина сказывается в определениях (эпитетах), приложениях, обращениях, вводных словах и предложениях, семантически и конструктивно совпадающих с теми же элементами предложения в языке народно-поэтического творчества.

Ср. в сказках Пушкина:

Царь Салтан, с женой простяся,
На *добра*—коня садяся...
Объявили *царску* волю...
В *синем* небе звезды блещут...
(Сказка «О царе Салтане»).
Ой вы, *молодцы честные,*
Князь Гвидон ей отвечает:
Братцы вы мои родные...
«*Грусть-тоска* меня съедает...»
Ой вы, *гости-господа,*
Долго ль ездили? Куда?
(Сказка «О царе Салтане»).

Отправляется в дорогу
За красавицей-душой...
(Сказка «О мертвой царевне»).
Напоено
Было ядом *знать* оно...
Без меня царевна *видно*
Пробежала...
(Сказка «О мертвой царевне»).
Князь Гвидон
Шлет-*де* свой царю поклон...
Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица...
(Сказка «О мертвой царевне»).

Ср. в языке фольклора:

Припечалился хозяин Сенька Разин Атаман:
«*Знать-то знать*, что мой сыночек во неволюшке сидит»...
Я вечор, вечор, *добрый молодец*,
Вечор загулялся...
Как у нашего князя
Невеселые кони стоят;
Они чуют *путь-дороженьку*[1].

С бытовой разговорной народной речью сближают язык пушкинских сказок также и частицы, свойственные разговорному, бытовому языку, например:

Вишь какая подросла!
(Сказка «О мертвой царевне»).
Что тут дивного? *Ну, вот.*
Белка камушки грызет...
Это диво *так уж* диво...
За морем житье не худо,
В свете ж *вот* какое чудо.
(Сказка «О царе Салтане»).

Уж как я вас мужику не выдам...

Эти две последние частицы в своем сочетании характерны для языка фольклора. Ср.:

Уж как все гости собралися,
Одного-то гостя нет как нет.
(См. записи народных песен Пушкиным).

---

[1] А. С. Пушкин, Стихотворения и сказки, стр. 287, 274, 315.

Сюда же надо отнести плеонастическую присоединительную частицу *что*[1], напр.,

Что из лесу, из лесу, из дремучего,
(Сказка «О медведихе»).

Близость языка сказок Пушкина к разговорному языку русского народа, к языку русского народно-устного поэтического творчества сказывается в естественном, не затемненном инверсией порядке членов предложения. Инверсия в языке пушкинских сказок обычно стилистически мотивирована.

В сказках подлежащее обычно занимает место перед сказуемым. Относящиеся к подлежащему зависимые члены предложения располагаются в отношении к нему или препозитивно (определения, выраженные согласованными словами), или постпозитивно (несогласованные определения, согласованные обособленные определения). Постпозитивное положение согласованного определения, выраженного прилагательным или другим согласованным словом, свидетельствует или о подчеркнутом выделении признака, или выделено по требованию размера стиха, или же объясняется стилизацией речи в духе народнопоэтического слога.

Вот несколько примеров, иллюстрирующих расположение членов предложения в языке сказок Пушкина.

Сын подумал: *добрый ужин*
Был бы нам однако *нужен*...
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Около царя *сидят*...
(Сказка «О царе Салтане»).

И к царевне *наливное,*
Молодое, золотое
Прямо *яблочко* летит...
...Кругом
Лавки, *крытые ковром*...
(Сказка «О мертвой царевне»).

А землянки нет уж и следа;
Перед ним *изба со светелкой,*

---

[1] А. С. Пушкин, Стихотворения и сказки, стр. 302. Частица «что» в языке фольклора имеет разнообразные смысловые оттенки, напр., усилительное, сравнительное и др. Ср. у Пушкина в «Песнях о Ст. Разине», «Что ничем еще тебя мы не дарили», (Здесь «что» в значении противопоставления).

С кирпичною, беленою трубою
С дубовыми, тесовыми вороты.
(Сказка «О рыбаке и рыбке»).

На кого меня ты покинула,
Вдовца *несчастного,*
Вдовца *горемычного?*
(Сказка «О медведихе»).

Инверсивное расположение сказуемого (перед подлежащим) мотивируется стилем сказочного повествования. Например:

Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
(Сказочный зачин из сказки «О золотом петушке»).

Приходил тут *бобер,* торговый гость,
Приходила ласочка-дворяночка...
(Сказка «О медведихе»).

Дополнение обычно следует за сказуемым.

Инверсивное расположение дополнения в отношении сказуемого объясняется или требованиями стиха, или смысловым заданием высказывания, в котором объекту уделяется особое внимание. Вот некоторые примеры указанного расположения дополнения:

Сына бог *им* дал в аршин...
Едет с грамотой гонец...
(Сказка «О царе Салтане»).

Обстоятельства обычно располагаются после сказуемого, однако логическое ударение может выдвигать обстоятельственное слово вперед. Обстоятельства времени обычно занимают место перед главными членами. Примеры:

Вот идет он к *синему морю,*
Видит *на море* черная буря.
(Сказка «О рыбаке и рыбке»).

С поля глаз она не сводит...
Рано утром гость желанный,
День и ночь так долго жданный
Издалеча, наконец,
Воротился царь-отец.
(Сказка «О мертвой царевне»).

Вот для сравнения несколько примеров из народных сказок: «Жили-были два брата, у одного было два сына, а у другого — сын да дочь. Первый победнее был..., а второй—

побогаче. Сам сбиратся на ярмарку в Нижний, а дочку дома оставил. Брат брату и наказыват»[1].

В строе сложного предложения в языке сказок Пушкина решительно преобладает сочинение. Например, случаев сочинительного сочетания предложений в сказках «О золотом петушке» и «О медведихе» в 5 раз больше, чем подчинительного. Как в сложно-сочиненных, так и в сложно-подчиненных предложениях преобладает бессоюзное сочетание простых предложений.

В сложно-сочиненных предложениях поэт использовал в качестве синтаксических связей между сочетающимися предложениями наиболее употребительные в разговорном языке и языке народно-поэтического творчества сочинительные союзы: *и, а, иль, но, да и, да* — в соединительном, противительном, разделительном и присоединительном значении. Особо следует отметить сочинение *после разделительной* паузы при помощи союза *а*.

Примеры сочинительного сочетания предложений внутри сложных и после разделительной паузы:

В кухне злится повариха,
Плачет у станка ткачиха,
И завидуют оне
Государевой жене.
(Сказка «О царе Салтане»).

На пороге сидит его старуха,
А перед нею разбитое корыто.
(Сказка «О рыбаке и рыбке»).

Старичок хотел заспорить,
Но с царями плохо вздорить,
Царь хватил его жезлом
По лбу; тот упал ничком,
Да и дух вон.
(Сказка «О золотом петушке»).

(Чернавка царевне) ...сказала:
«Не кручинься, бог с тобой».
А сама пришла домой...
«Не губи меня, девица!
А как буду я царица,
Я пожалую тебя».
(Сказка «О мертвой царевне»).

В области сложно-подчиненных предложений следует отметить весьма частое в языке сказок Пушкина бессоюзное

---

[1] «Русский фольклор», сост. проф. Н. П. Андреев, 1938, стр. 423.

сочетание предложений и использование наиболее употребительных в разговорной речи и языке фольклора подчинительных союзов и союзных слов: *кабы-то* (ср. литерат.: если-то); *только; между тем, как; лишь, что,* (в разнообразных значениях); *чтобы, чтоб* (в различных значениях); *кто, чем, коль, коли* (ср. литерат. «если»).

Вот несколько примеров предложений этого вида в языке сказок Пушкина:

«Опять моя старуха бунтует:
Уж не хочет быть она дворянкой,
Хочет быть вольною царицей».
(Сказка «О рыбаке и рыбке»).

«Снесешь кобылу, оброк уж твой;
Не снесешь, ан будет мой».
(Сказка «О попе и работнике его Балде»).

«...*Коль* ты старый человек,
Дядей будешь нам навек».
...Она...
Как под крылышком у сна,
Так тиха, свежа лежала,
Что лишь только не дышала.
(Сказка «О мертвой царевне»)[1].

В языке сказок не редкость и сложные целые, включающие как сочинение, так и подчинение предложений. Встречаются также и однородные соподчиненные предложения, образующие ряд предложений, дополняющих в смысловом отношении друг друга. Все эти синтаксические конструкции свойственны и языку фольклора. В языке сказок Пушкина обычно такие сложные синтаксические построения не многочленны, грамматически очень стройны и по смыслу совершенно ясны и доступны.

Вот примеры этого рода построений из сказок Пушкина:

Он горько плачет,
И кого не спросит он,
Всем вопрос его мудрен;
Кто в глаза ему смеется,

---

[1] Соотношение между союзным и бессоюзным сочетанием предложений внутри сложного можно выразить соответственно так: 1 : 3. Решительное преобладание сочинительного сочетания над подчинительным и бессоюзного сочетания над союзным наблюдается в языке русского фольклора. Так, в 2 песнях «О сыне Степана Разина», записанных Пушкиным, соотношение сочинения предложений к подчинению равно 2 : 1, таково же, приблизительно, и соотношение бессоюзного сочетания предложений к союзному.

Кто скорее отвернется;
К красну солнцу наконец
Обратился молодец...
Лишь ее похоронили,
Свадьбу тотчас учинили,
И с невестою своей
Обвенчался Елисей;
И никто с начала мира
Не видал такого пира,
Я там был, мед, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.

(Сказка «О мертвой царевне»).

Для сравнения вот несколько примеров из народных песен, записанных Пушкиным:

«Вскачните колыбель высоко!
Столь высоко, выше клену стоячего,
Ниже облака ходячего,
Чтобы видно было тестев двор,
Чтобы видно было тещин терем»...
...Много, много у княгини души
Много роду, много племени,
Только нету у княгини души
Нету родной матушки:
Благословить есть кому,
Снарядить некому[1].

При изучении языка сказок Пушкина нельзя не отметить высокого мастерства диалога в них. Персонажи сказок, принадлежащие к различным социальным слоям, говорят свойственным им языком, обнаруживая свои мысли, привычки и склонности, свою классовую принадлежность. С удивительным мастерством, в ярких реалистических тонах изображен Пушкиным ленивый, заносчивый и вероломный сластолюбец царь Дадон. К выразительной портретной характеристике Дадона автор сказок присоединил диалоги, дополняющие эту характеристику новыми яркими чертами, связывающими сказочное прошлое с современной Пушкину действительностью — с образом Николая I.

Вот разговор Дадона с воеводой и царедворцами:

«Царь ты наш! Отец народа!»
Возглашает воевода,
«Государь! Проснись! Беда!»

---

[1] А. С. Пушкин, Стихотворения и сказки, стр. 286, 301.

«А? Кто там? Беда какая?»
«Что такое, господа?»
Говорит Дадон, зевая,

Вот его диалог с звездочетом.

Сначала непринужденная, фамильярная, беседа Дадона с стариком-звездочетом переходит в ругань и угрозы по адресу мудреца:

«А! Здорово, *мой отец*» ..
...Что скажешь?
Подь поближе; что прикажешь?».

Когда звездочет настойчиво стал добиваться выдачи шамаханской царицы, Дадон переходит к брани и угрозам:

«Или бес в тебя ввернулся,
Или ты с ума рехнулся.
Что ты в голову забрал?
Я, конечно, обещал,
Но всему же есть граница...
Полно, знаешь ли, кто я?».

В лирических тонах подаются разговоры царевны Лебеди и князя Гвидона из сказки «О царе Салтане»:

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?»
«Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца»...

Вот речь царя Салтана из той же сказки. Он — большой любитель слушать рассказы о чудесном. Он засыпает купцов вопросами:

«Ой вы, гости-господа,
Долго-ль ездили? Куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»

Ему хочется самому взглянуть на те чудеса, о которых рассказывают ему купцы, и он все порывается съездить на остров Буян к князю Гвидону:

«Коль жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».

Однако интриги придворных (ткачихи, поварихи—сестер его жены-царицы) мешают его путешествию. Зная слабоволие Салтана, его страсть к чудесному, они иронизируют над рассказами купцов и в свою очередь сами рассказывают царю об очередном чуде. Речь его родственниц проникнута иро-

нией, злобой к царице, которую им удалось устранить, сознанием своего влияния на царя:

«Уж диковинка, ну право,—
Подмигнув другим лукаво,
Повариха говорит, —
Город у моря стоит!
Знайте, вот что не безделка...
Вот что чудом-то зовут...»

Речь персонажей из сказки «О царе Салтане» основана на живом, разговорном, бытовом языке; она пестрит просторечными элементами, в ней не редкость встретить пословицу, поговорку, а иногда и фамильярное слово.

Характерна речь попа из сказки «О попе и работнике его Балде». Скупой и трусливый поп переходит от отчаяния к надежде, от печали к успокоению и заносчивости. Соответственно меняется и его речь.

Вот он попадье признается:
«Так и так: что делать остается?».

Успокоенный советами попадьи, он осмелел и стал даже покрикивать на Балду:

«Поди-ка сюда,
Верный мой работник Балда.
Слушай...».

Речь работника Балды в его обращении с чертями груба, насмешлива, в ней много просторечных, фамильярных, иронических слов и выражений, встречаются в ней и вульгаризмы:

«Вы не *платите* оброка...
Вот ужо будет нам *потеха,*
Вам, *собакам,* великая помеха...
Экого послали *супостата...*
Глупый ты бес,
Куда ж ты за нами полез?..».

Груба, заносчива, бессердечна речь старухи из сказки «О рыбаке и рыбке». Жадная, завистливая старуха, не знающая пределов своим желаниям, на каждом шагу бранит своего мужа, унижает его, дает ему вздорные поручения. В ее речах много бранных слов, грубых, беззастенчивых угроз, издевательства:

«*Дурачина* ты, прямой простофиля!
Выпросил, *простофиля,* избу!..
Как ты смеешь, *мужик,* спорить со мною,
Со мною, дворянкой-столбовою?..».

«Ступай к морю, — *говорят тебе честью,*
Не пойдешь, *поведут поневоле...*»

Речь старика-рыбака почтительна и ласкова в отношении к золотой рыбке:

Бог с тобою, золотая рыбка!..
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе...
Смилуйся, государыня-рыбка...

И только тогда, когда речь заходит о старухе, старик позволяет себе грубые, бранные слова; они становятся все более резкими, по мере того, как старику приходится передавать все более и более вздорные требования жены: «сварливая баба», «вздурилась», «моя старуха бунтует», «что делать с проклятою бабой».

В разговорах с старухой — «столбовой дворянкой», а потом «грозною царицей» — речь рыбака груба, насмешлива:

Здравствуй, *барыня-сударыня, дворянка!*
Чай теперь *твоя душенька* довольна...
Здравствуй, *грозная царица!*
Ну, теперь твоя *душенька довольна...*
Что ты, баба, *белены объелась?*
Ни ступить, ни молвить не умеешь...

Жестока, насмешлива и высокомерна речь царицы из сказки «О мертвой царевне», когда она говорит с волшебным зеркальцем о царевне или когда она спрашивает свою сенную девушку о судьбе царевны:

Ах ты, *мерзкое* стекло!
Это *врешь* ты мне на зло.
Как тягаться ей со мною?
Я в ней дурь-то успокою.
Вишь какая подросла!...
«Что? — сказала ей (Чернавке)
царица, —
Где красавица-девица?».

Скромна, проста и задушевна речь Чернавки в разговоре с царевной, которую она любит:

Та, в душе ее (царевну) любя,
Не убила, не связала,
Отпустила и сказала:
«Не кручинься, бог с тобой».

Коварна и лжива речь царицы, переряженой в старуху—черницу, в ее беседе с царевной, которую она собралась погубить:

«Ох, ты, *дитятко девица!*»

В ее речи церковная фразеология, вполне понятная в устах черницы; но речь её не чужда и светской фразеологии: черница много странствовала, много видела, привыкла и к светскому обращению:

«Благодарствую. . .»
«Бог тебя благослови». . .
. . .*«Ради скуки*
Кушай яблочко, *мой свет.*
Благодарствуй за обед».

В речах семи братьев-богатырей слышен язык крестьян, язык фольклора:

Что *за диво!*
Все так чисто и красиво.
Кто-то терем прибирал,
Да хозяев поджидал.
Кто же? *выдь* и *покажися. . .*
Коль ты *старый человек,*
Дядей будешь нам навек,
Коли парень ты *румяный,*
Братец будешь нам названый. . .

Когда царевна готова отказаться стать женой одного из них, старший брат с иронией говорит:

«Что ж качаешь головой?
Аль отказываешь нам?
Аль товар не по купцам?..
Спрос не грех. Прости ты нас. . .
Коли так, не заикнуся
Уж о том».

Ответ царевны прост, сердечен, выражен разговорным языком:

Ой вы, молодцы честные,
Братцы вы мои родные. . .
Коли лгу, пусть бог велит
Не сойти живой мне с места. . .

Но царевна принадлежит к высшему обществу, она воспиталась при царском дворе, поэтому ее речь не чужда и книжной фразеологии:

«Всех я вас люблю сердечно,
Но другому я навечно
Отдана. Мне всех милей
Королевич Елисей»[1].

---

[1] Ср. ответ Татьяны Онегину: «Я вас люблю (к чему лукавить?), но я другому отдана; я буду век ему верна». («Евгений Онегин», гл. VIII, 47).

В духе фольклора выдержана речь королевича Елисея в его обращениях к солнцу, месяцу и ветру:

Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!..
Свет наш, солнышко! Ты ходишь
Круглый год по небу...
Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море...

В том же духе выдержан и ответ солнца, месяца и ветра. Языком фольклора написаны обращение медведихи к медвежатам и причитания медведя:

Ох, вы, детушки, медвежатушки,
Перестаньте по муравушке валятися...
Ах ты, свет, моя медведиха,
На кого ты меня покинула,
Вдовца несчастного,
Вдовца горемычного?..

Язык сказок Пушкина свидетельствует о глубоком изучении поэтом живой разговорной речи различных слоев русского общества, о глубоком освоении языка народного поэтического творчества. При литературной обработке русских сказочных сюжетов Пушкин не стилизует язык своих сказок, используя слова, формы и синтаксические конструкции, свойственные народной русской речи, а совершенно свободно выражает свои мысли языком, в основу которого положена русская народная речь. Такой характер авторской речи Пушкина обнаруживается как в самом сказе, так и в тех местах повествования, где автор использует прием косвенной передачи чужого высказывания. Язык автора часто сливается с языком персонажей его сказок.

Вот несколько примеров авторского языка Пушкина:

Призадумался поп,
Стал себе почесывать лоб.
Щелк щелку ведь розь...
Прибежал бесенок, задыхаясь...
Мысля: *дело с Балдою сладить.*
(Сказка «О попе и работнике его Балде»).
Старик не осмелился *перечить,*
Не дерзнул поперек слова молвить
(Сказка «О рыбаке и рыбке»).

Видит девица, что тут
Люди добрые живут;
Знать, не будет ей обидно.
(Сказка «О мертвой царевне»)
Черт ли сладит с бабой гневной?..
Вмиг по речи те спознали,
Что царевну принимали...
(Там же)
Царевна... закрасневшись, извинилась,
Что-де в гости к ним зашла,
Хоть звана и не была.
(Там же)

В язык автора часто входят слова, выражения и формы, свойственные языку того слоя людей, о которых он рассказывает, как, например, «*зайков*» («Поймал *двух зайков,* да в мешок» — сказка «О попе и работнике его Балде»), «*хозяям*» («*Честь хозяям отдала* — сказка «О мертвой царевне»); «*в затылке почесали*» («Братья молча постояли, да *в затылке почесали*» — сказка «О мертвой царевне»); «*И согласно все опять стали жить да поживать*»—там же; «Жемчуги, *огрузили шею*» (сказка «О рыбаке и рыбке»); («А мешок-то у него *за плечьми»)*; «*Не можно*» («А у князя жонка есть, что *не можно глаз отвесть»).*

* * *

Анализ языка пушкинских сказок свидетельствует о том, что в основе его лежит живая, общенациональная, народная русская речь. В народном языке Пушкин ценил простоту и реализм слова, его непосредственную связь с предметом, с понятием, отсутствие ненужной метофоричности, жеманства, бледности, которым отличалось слово языка дворянского салона.

Гениальный художник слова, А. С. Пушкин был и неутомимым тружеником.

Он не только изучал живую речь в устах народа, в различных его социальных слоях, он тщательно изучал песни, сказки, пословицы, древнерусские письменные памятники, произведения современной ему литературы.

Создавая новый, реалистический язык новой русской, реалистической литературы, борясь как против языка приверженцев карамзинской реформы, так и против языка писателей—приверженцев реакционной дворянской литературы—шишковистов, Пушкин в литературный язык тщательно отбирал все

веское, меткое, образное как из современного языка, так и из языкового наследия; включил в него все то, что имело тенденцию жить, укрепляться и развиваться, стать общенациональным достоянием.

Дело Пушкина, как основоположника русского литературного языка, — это не простой синтез основных стихий русского литературного языка, а глубокая переработка русского литературного языка *на народной, национальной основе, соответственно новому этапу развития русского общества, развития русской художественной литературы.*

Карамзинисты и шишковисты отстаивали свои идеи, свой узко классовый литературный язык, узко классовую литературу, далекую от народа, непонятную широким массам трудящихся. Иными, прогрессивными были языковые позиции Пушкина: отражая стремления передовых людей своего времени — декабристов, Пушкин стремился к истинной народности, действовал во имя народа и для народа. Создавая русский литературный язык на национальной основе, создавая реалистический язык литературы, Пушкин основал его на всем богатстве русской речи. Он действительно приблизил литературу, литературный язык, науку, искусство к пониманию широких народных масс.

Созданный Пушкиным литературный язык—плоть от плоти, кровь от крови русского народа, его языкового творчества. Из недр народного языка почерпнул Пушкин мощь литературной речи, ее синтаксический строй, ее меткость и силу.

Лингвистический анализ языка сказок свидетельствует о русском самобытном, народном синтаксическом строе созданного им литературного языка Как было указано выше, порядок следования членов предложения, грамматические средства сочетания предложений в составе сложного, строение диалога, лексический состав, фразеология, формы слов — все это в языке сказок Пушкина (как и в языке других его произведений) русское, национальное, народное, как народно самое содержание их, образы, картины русской природы и быта. И было бы неправильным и исторически не оправданным приписывать великому русскому национальному поэту А. С. Пушкину тенденцию следовать синтаксическому строю французского и английского языка в организации предложения в русском

литературном языке, созданном им[1]. Это значило бы дело Пушкина, как создателя русского литературного языка, сводить к подражанию иноземным образцам, принижать русскую литературу и отрицать самобытность русской культуры, так как язык — орудие культуры.

На самом же деле Пушкин в созданном им русском литературном языке устранил все то, что противоречило русским национальным языковым нормам, что в нем оказывалось уже не жизнеспособным, не отвечающим состоянию общественного развития, не имеющим тенденций к сохранению и развитию в дальнейшем.

Отметая в системе русского литературного языка все классово ограниченное, Пушкин видел основу его в народном языке, во всем богатстве его лексических, грамматических и стилистических средств.

Язык сказок Пушкина — один из важнейших этапов работы поэта над созданием системы национального русского литературного языка. Ко времени появления его сказок поэтический язык Пушкина в основном уже сложился, и он имел возможность проверить и уточнить созданную им языковую систему в процессе литературной обработки народных сказочных сюжетов[2]. Сказки в этом отношении оказались очень благодарным материалом: представлялась полная возможность использовать в их тексте различные языковые средства во всем их стилистическом разнообразии для выражения богатейшего содержания сказок.

Язык сказок Пушкина прост и доходчив, содержание их серьезное и многозначительное и вместе с тем яркое и

---

[1] См. об этом в кн. В. В. Виноградова, «Очерки по истории русск. лит. языка XVII—XIX вв.», стр. 246—247. Ср. также помещенную там цитату из письма П. Мериме к Соболевскому и приводимые В. В. Виноградовым параллели из повести «Пиковая дама» Пушкина на русск. языке и во французском переводе, которые, по мысли В. В. Виноградова, очевидно, должны подкреплять выставленный им тезис о «признании» Пушкиным синтаксического строя французского языка «образцом» для синтаксиса созданного им русского литературного языка. Этот тезис является проявлением космополитических извращений в вопросе о формировании современного русского литературного языка. Однако в своей статье «А. С. Пушкин — основоположник русского литературного языка» («Изв. АН СССР, т. VIII, в. 3, 1949 г.) ак. В. В. Виноградов утверждает мысль о народной основе русского литературного языка, основоположником которого был А. С. Пушкин.

[2] О настойчивой и серьезной работе Пушкина над сказками очень убедительно свидетельствуют варианты текстов сказок.

легко воспринимаемое, а потому и твердо запоминающееся. Сказки написаны Пушкиным более ста лет тому назад, но они и до сих пор действенны и свежи, попрежнему возбуждают мысль и чувство читателя.

Сказки великого русского поэта, заимствованные им у народа, сами превратились в народные; меткий и образный их язык, блистающий острыми, меткими и яркими народными словами и пословицами, сам стал источником пословиц и поговорок.

Высокохудожественные образы и язык пушкинских сказок являлись и являются предметом изучения, они вдохновляли и вдохновляют творчество деятелей искусства — художников, артистов, композиторов, мастеров художественного слова.

Победы Великого Октября обеспечили братским народам Советского Союза неограниченные возможности овладевать достижениями многовековой культуры великого русского народа, и произведения гениального русского поэта А. С. Пушкина стали общим достоянием многонациональной семьи народов нашей великой Родины. Сказки Пушкина переведены на десятки национальных языков. Вместе с другими произведениями великого русского поэта они вошли в золотой фонд мировой литературы.

УЛЬЯНОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.

ПУШКИНСКИЙ СБОРНИК.

1949г.

НОВОЕ О В. Ф. РАЕВСКОМ

Публикация П. Бейсова.

В. Ф. Раевский — друг и современник А. С. Пушкина. Он относится к числу малоизвестных поэтов. Это объясняется тем, что текстологическая проблема Раевского не была разрешена. Расцвет творческой деятельности поэта падает на 20—30-е годы XIX в., а его наиболее интересные произведения появляются в печати только с 80-х годов XIX в. В эти и последующие годы в «Русской старине» были напечатаны: «К друзьям в Кишинев», «На смерть скворца», «Дума», «Она казалась мне мила», «Предсмертная дума», «А. В. Раевской» и другие произведения[1].

В 1907 году некоторые из этих произведений были приведены в «Собрании стихотворений декабристов», а в 1926 году в сборнике «Поэты-декабристы».

Более обстоятельное изучение Раевского начинается в наше время. В разные годы были опубликованы: «Записка о солдате», «Послание Батенькову» (один из вариантов), «Вечер в Кишиневе», «Послание к друзьям» (два новых варианта), «Предсмертная дума» (новый вариант), «Песнь воинов перед сражением», «Певец в темнице».

П. Е. Щеголев в работе, посвященной политической деятельности Раевского, впервые поставил вопрос и о литературной деятельности «первого декабриста», выделив для этого специальную главу. «Как поэт, Раевский совершенно неизвестен, — писал он, — и мы впервые касаемся его поэтической деятельности. Опубликовано немного стихотворений, и все они написаны им в тюрьме, или в ссылке, в Сибири». Щеголев отмечает родственный дух поэзии Рылеева и Раевского[2].

В работах советских исследователей имя Раевского встречается довольно часто, но обычно дело ограничивается привлечением одного-двух его произведений для характери-

---

[1] Источники цитирования помещены в конце статьи.

стики литературной деятельности декабристов или литературы 20—30-х годов. Почти все исследователи (П. Верховский, М. Цяловский, В. Гофман, А. Цейтлин, Вл. Нейштадт, Ю. Тынянов, М. В. Нечкина, Б. Мейлах и др.) признают оригинальность и поэтическую незаурядность Раевского.

Литературное наследство «первого декабриста» не только не опубликовано, но и не выявлено в достаточной мере. Еще Щеголев писал о том, что в рукописях имеется много неизвестных произведений Раевского. Усилия исследователей направлены в сторону выявления произведений и материалов, характеризующих политическую и литературную деятельность поэта-декабриста.

Это сложная задача. Судьба литературного наследства Раевского связана с его судьбою, как политического деятеля. Большинство произведений написаны в тюрьме или ссылке и, естественно, в печати не могли появиться. Они хранятся в жандармских архивах, судебных делах, личных архивах общественных и литературных деятелей того времени и в потайных рукописных сборниках и списках. Часть литературного наследства поэта, относящаяся к последним годам его жизни, распылилась в семейных архивах Раевских и, по-видимому, погибла. При таком положении дела новый материал, связанный с именем Раевского, представляет несомненный интерес. В различных центральных и областных архивах и рукописных отделах различных учреждений мною в разные годы, начиная с 1936 года, разысканы и обследованы материалы, связанные с литературной и литературно-политической деятельностью Раевского (автографы стихотворений, наброски, черновики, письма, записки, дневники, списки произведений Раевского, следственный материал)[3].

Этот материал относится к 10—60-м годам XIX в. Наличие опубликованного в разное время материала, а главное — неопубликованного архивного материала дает возможность по-новому говорить о политической и о литературной деятельности поэта-декабриста в 10—60-е годы XIX в.

Мощный подъем патриотизма, вызванный Отечественной войной 1812 года, оказал глубокое влияние на развитие и углубление освободительного движения в России. С ним неразрывно связан расцвет русской поэзии 20—30-х годов, в частности, поэзии декабристов. В творчестве Раевского национальные, патриотические и освободительные идеи нашли яркое поэтическое выражение. Литературная практика «первого декабриста» неразрывно и глубоко связана с его политической деятельностью. Литературные взгляды Раев-

ского развивались под влиянием Радищева и поэтов-радищевцев. Оказала на него влияние поэзия Державина и рукописная литература XVIII и начала XIX в. Но самое главное для их развития это — сама жизнь, её требования.

Глубокий гражданский пафос, свойственный поэзии Раевского и Рылеева, свидетельствует о родственном духе их поэзии, но Раевский своеобразен и независим от Рылеева. Близкая дружественная связь между Раевским и Пушкиным обогатила поэтов и оказала взаимное влияние на их творчество.

Первые произведения Раевского появляются в 1815 г. в «Духе журналов», «Украинском Вестнике», «Украинском журнале», но большая их часть осталась неопубликованной, сохранившись в его бумагах, захваченных жандармами при аресте в 1822 году.

В 1815—1817 гг. поэт в довольно многочисленных произведениях воспевает кубок Вакха, любовь, застольных друзей, нежных дев, зовущих к наслаждению, силу сладострастия («Вакхическая песня», «К Шарлотте», «К Лиде» и мн. др.). Но уже в эти годы в «Признании» намечается преодоление легкой поэзии.

В 1817—18 гг. Раевский увлекается философскими проблемами. Об этом свидетельствуют работы «Одинакая целость смысла», переводы из Монтескье и др. В эти же годы поэт переходит к философской лирике. Его привлекают вопросы мироздания («Песнь природе», «Элегия к осени»).

Он говорит о вечном движении в природе, как о законе природы, восхваляет «могущество ума, дух сильный, дар свободы», присущие человеку, дерзнувшему проникнуть в сокровенные тайны природы. Это подлинный гимн человеку. Недаром в 1827 г. следственная комиссия занялась философской лирикой Раевского. Идейно эти произведения связаны с Радищевым. Поэт в то же время не отрывается от вопросов социальной жизни. Большое место в его творчестве занимает патриотическая тема, разрабатываемая с 1815—16 гг. Горячее патриотическое чувство нашло выражение в «Послании к Г. С. Батенькову», «Послании к П. Г. Приклонскому», «Песне воинов перед сражением» и в др. произведениях этого времени. Их тема — 1812 год. А идейное содержание выражено в заключительных словах «Песни воинов»: «Судьба нам меч вручила, чтобы покой отцов хранить. Мила за Родину могила, без родины поносно жить». Патриотизм Раевского неразрывно связан с освободительными идеями. Любовь к Родине помогла определить поэту

конкретных носителей социальной несправедливости. Раевский обращается к сатире. Сатирические стрелы направляются в сторону тупого, ограниченного и самодовольного светского общества. («Послание Петру Григорьевичу Приклонскому», «Послание Г. С. Батенькову», «Элегия», «Мое прости друзьям», «Голос правды», «Послание к другу», «Я видел часто», «Смеюсь и плачу», «Подражание Вольтеру», «Сатира на нравы» и др.

Одновременно Раевский разоблачает «обезьян тупоголовых» — космополитов. Поэт с негодованием говорит о «чуме иноплеменной», о светских вертопрахах, чтущих «как божество, творителя помад».

Углубление патриотической темы происходит в 1818 — 22 гг. в связи с деятельностью Раевского в обществе декабристов. В эти годы он пишет «Рассуждение о рабстве» и «Записку о солдате». В сатирических произведениях высказывается мысль о всеисцеляющей силе просвещения. В «Рассуждении о рабстве», написанном как ответ Растопчину, влияние идей Радищева. В наброске «Вечер в Кишиневе» высказаны литературные-эстетические взгляды будущего «Певца в темнице»[4].

До 1822 г. Раевский был известен небольшому кругу читателей. После заключения поэта в крепость его произведения расходятся в многочисленных списках. В крепости Раевский написал: «Певец в темнице», «К друзьям в Кишинев», «На смерть моего скворца», «Протест» и др. Политическая страстность и художественная зрелость этих произведений способствовали их распространению в тайных рукописных списках. Они-то и создали Раевскому славу «Певца в темнице».

Они создавали поэту рукописную или «карманную» славу. «Карманная слава, как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казенных осмотрщиков», — писал Денис Давыдов в своей «Автобиографии». О широком распространении рукописной литературы свидетельствуют в своих показаниях и воспоминаниях декабристы: Пущин, Якушкин, Штейнгель, М. П. Бестужев, Дивов и многие другие. Об этом же пишет и Д. И. Завалишин в своей «Заметке о рукописной литературе 20-х годов»[5]. О значении подпольной рукописной литературы, «дышащей свободой», писал Герцен в статье «К развитию революционных идей в России». Запрещенные произведения Рылеева, Пушкина, молодого Вяземского, В. Ф. Раевского, расходясь по рукам молодежи, оказывали на нее «живое и молодящее влияние».

Раевский пересылал из крепости свои произведения друзьям, в том числе Пушкину, который, прочитав одно из них, сказал: «После таких стихов не скоро же мы увидим этого спартанца». Ему же принадлежат слова о том, что стихи Раевского «написаны в духе Тираспольской крепости»[6]. В этих словах дана образная характеристика поэзии Раевского.

Пушкин откликнулся на послание «К друзьям» и «Певец в темнице» посланиями: «В. Ф. Раевскому» (Не тем горжусь я, мой певец»), «В. Ф. Раевскому» (Ты прав, мой друг, — напрасно я презрел), «В. Ф. Раевскому» (Недаром ты ко мне воззвал»)[7].

Стихотворение «Узник» также навеяно трагической судьбой «спартанца», как называл Пушкин Раевского. «Свободы сеятель пустынный» — поэтический отклик на разгром Кишиневской группы декабристов.

Друзья заключенного поэта распространяли его произведения, которые пользовались огромной популярностью. Третье отделение неоднократно привлекало к ответственности за распространение произведений Раевского и жестоко наказывало виновных.

Поэт нашел себе друзей в самой крепости. Уже в 1822 г. Раевский, как нам удалось установить на основании материалов государственных архивов, сумел расположить к себе офицеров, несущих караульную службу в крепости. В камере Раевского происходили страстные споры о литературе. И не только, конечно, о литературе.

Кроме Мозевского, история которого рассказывается в статье «Дело Мозевского», называю дело о подпоручике Бартеневе, который в декабре 1825 года посещал декабриста В. Ф. Раевского в Тираспольской крепости. Этот факт всплыл во время допроса Раевского в комитете, созданном в связи с восстанием декабристов. «Первому декабристу» поставили в вину, что он скрыл от комиссии это посещение. По приказу Николая I Бартенев был арестован и в феврале 1826 года находился уже под следствием. Бартенев показал, что однажды он пришел в крепость рассмотреть карниз, чтобы сделать такой же для порохового погреба. Здесь он увидел Раевского, который вступил с ним в разговор сначала по архитектурной части, а потом, узнав, что Бартенев выписывает журналы и альманахи, обратился к словесности. Раевский, показывает Бартенев, «пленил меня обширностью познаний и красноречием, потом предложил, убедительно жалуясь на нестерпимую скуку и отсутствие

образованных людей, приносить к нему, когда случится быть в Тирасполе, новые книжки и журналы «Сына Отечества» для общего чтения и суждения об литературном достоинстве, на что я решился, хотя не без опасения, дорожа суждениями довольно ученого человека в отдаленном крае России». Вскоре Бартенев пришел к Раевскому уже не один, а с Политковским, человеком, «выступившим уже на поприще литературное», как показал о нем декабрист. Читались и обсуждались следующие книги: «Северные цветы», «Полярная звезда», «Сын Отечества», «Северная пчела», несколько книжек «Северного Архива». Во время многократных посещений говорили, в частности, о «Беглеце» Вельтмана. Раевский «шутил над вошедшими в моду сего рода подражаниями Пушкину и над самой этой повестью». Дело закончилось тем, что Раевский передал Бартеневу «Протест», свои письма к Сабанееву. При этом декабрист сказал Бартеневу, что передает ему эти материалы, зная его, как человека скромного, трезвого и «никогда не могущего впасть в подозрение». Он заклинал «именем страждущего человечества» вверить ему оправдание свое перед родственниками. «Я принял их, показывает Бартенев, прочел и считал священным долгом беречь последнюю утешительную надежду нещастного»[8]. Эти два дела, дело Мозевского и Бартенева, раскрывают активную революционную деятельность Раевского в крепости.

Слушатели Раевского, покоренные правдой и силой горячего чувства поэта, распространяли «между офицерами и частными людьми разрушительные сочинения» «первого декабриста». Удалось установить наличие нескольких таких списков. Публицистическая деятельность Раевского усилилась после объявления ему смертного приговора. Он пишет «Протест», который также распространялся в списках. Трагическая судьба поэта волновала передовых людей того времени. Его произведения расходились в списках далеко за пределы Тирасполя и Кишинева. В 1827 г. произведения Раевского распространялись среди студентов Харьковского университета. Дознания среди студентов проводились под непосредственным наблюдением Николая I[9].

В 1831 году в г. Курске возникло тайное общество Раевских, ставящее целью убийство Николая I. Общество было открыто, выяснилось, что из Сибири были присланы произведения Раевского. Жандармы ищут эти произведения в Курске, Новом Осколе, Хворостянке и Харькове[10].

Однако произведения Раевского распространялись не только в тех местах, с которыми был связан поэт.

В рукописном отделе Ульяновского областного краеведческого музея в мае 1941 г. мною были обнаружены списки произведений Раевского «Послание к друзьям в Кишинев» и «На смерть скворца».

Указаний о том, как эти списки попали в рукописный отдел музея, обнаружить не удалось. Вероятно, они поступили в музей из Исторического рукописного фонда Симбирской ученой Архивной комиссии, в котором имелись списки произведений Рылеева, Вяземского, Кюхельбекера, А. Тургенева. Наличие рукописных произведений декабристов в Симбирске объясняется, в частности, тем, что среди декабристов были уроженцы Симбирской губернии А. И. Тургенев и С. Ивашев. С Симбирском крепко связаны Д. Давыдов, Н. Языков и др. •

«Послание к друзьям в Кишинев», написанное в Тираспольской крепости через семь недель после ареста, один из самых ярких памятников потайной русской литературы. Искренность и сила чувства, романтическое воспевание подвига сочетаются в этом произведении с непреклонностью поэта и страстным протестом против произвола и насилия. Его впечатляющая сила увеличивалась благодаря тому, что с этим произведением связывалась мысль о трагической судьбе поэта. Значение этого произведения еще и в том, что в нем Раевский изложил свои литературно-эстетические взгляды.

В центре творчества Раевского — образ «певца в темнице», сурового спартанца, непреклонного борца за свои идеалы, не склонившего «рамен с главою» ни перед людьми, ни перед судьбою. Поэтическое своеобразие Раевского в том, что его творчество неразрывно связано с его личностью и биографией. Но именно поэтому оно приобрело глубокую силу воздействия. Заключение поэта в крепость, пребывание там на протяжении ряда лет, его борьба за свободу и за жизнь послужили материалом не для горестных раздумий и сетований, а для жгучего протеста, для страстного политического обличения произвола. Поэт звал на борьбу с этим произволом и самовластием. Описание переживаний и дум «певца в темнице» усиливало гражданский пафос, свойственный его творчеству, ибо речь шла не об отвлеченном романтическом герое, а о судьбе поэта—друга Пушкина и близкого единомышленника Пестеля.

Эти особенности поэзии Раевского ставят его в исключительное положение среди поэтов 20-х годов и роднят его с Полежаевым. Раевский оказал известное влияние на Полежаева.

Мотивы творчества Раевского мы находим и у Лермонтова. Литературно-эстетические взгляды Раевского выражены не только в его литературной деятельности, но и в прямых высказываниях о значении и роли гражданской поэзии. Эти высказывания, сделанные во время следствия, приводятся ниже[11].

В 1828 г. Раевский был сослан в Сибирь, где и умер в 1872 г. В Сибири он не прекращал поэтической деятельности. Здесь были написаны: «Послание», «Она казалась мне мила», «Предсмертная дума», «Дума» и др. Эти произведения опубликованы, но они существенно отличаются от автографов, обнаруженных нами в Государственном архиве.

В названном архиве представлен значительный материал, характеризующий Раевского этого периода: «Дневник», «Послание К-ву», «Не с болью, но с радостью душевной», «Костеньке», «Воспоминание моему сыну», «Собственноручная записка» и др.[12].

В произведениях этих лет преобладает мотив одиночества, но поэт считает, что выходом из этого одиночества может быть смерть, но не возвращение и примирение с дворянским обществом.

Вскоре он преодолевает это настроение и в «Предсмертной думе» опять слышится голос «Певца в темнице».

В этом произведении есть прекрасные строки, в которых поэт подводит итог своей жизненной и творческой деятельности:

Не для себя я в этом мире жил
И людям жизнь я щедро раздарил.
Не злата их, я ждал одной улыбки...
И жизнь моя прошла, как метеор:
Мой кончен путь, конец борьбе с судьбою,
Я выдержал с людьми опасный спор, —
К чему бесплодный плач людей?
Пред ними ответ мой кончен без ошибки.
Я жду не слез, не скорби от друзей,
Но одобрительной улыбки[13].

Перед нами выступает высокий, светлый облик поэта-патриота, «певца в темнице», с благородной щедростью отдавшего свою яркую жизнь людям своей Родины.

В. Ф. Раевский продолжает общественную и поэтическую деятельность в Сибири и в последующие годы, в 50—60-е годы. Об этом свидетельствуют его письма к Батенькову и Вельтману. «Первый декабрист» принимает деятельное участие в борьбе против «аманатов-опричников» Муравьева-Амурского, убивших чиновника Беклемишева. Вместе с Петрашевским Раевский возглавляет борьбу сибирского общества в конце 50-х и начале 60-х годов. Ему приходится бороться с Бакуниным, который «пользовался особыми милостями» Муравьева-Амурского. В письмах к Герцену Бакунин обрушил громы и молнии на Раевского и Петрашевского, добиваясь того, чтобы «Колокол» выступил против них. «Колокол» ответил на эту враждебную деятельность Бакунина тем, что выступил в защиту декабриста В. Ф. Раевского и Петрашевского, Не случайно этот период деятельности Бакунина привлек внимание К. Маркса и Ф. Энгельса, которые в своей работе «Альянс социалистической демократии и международное Товарищество рабочих», к главе «Альянс в России», дали добавление «Геджра Бакунина», разоблачающее враждебную деятельность последнего, направленную против Петрашевского и прогрессивных сил Сибири.

Статьи В. Ф. Раевского печатались в «Колоколе», что вызывало неистовую злобу «аманатов», преследовавших декабриста. Есть основания утверждать, что ими подготовлялось убийство Раевского. Об этом намекает сам Раевский в письмах к Вельтману и Батенькову. Анализируя имеющиеся в нашем распоряжении материалы, мы приходим к выводу, что есть все данные, позволяющие говорить о зверской расправе над «первым декабристом» за его общественную деятельность. Раевский был изранен, но вырвался из рук убийц.

Публикуемые материалы дают возможность по-новому раскрыть общественное и поэтическое лицо В. Ф. Раевского. «Протест» — указывает на глубокую связь, которая существовала между Раевским и солдатами, рисует новую страницу борьбы, в которой принимала участие солдатская масса, «боевая чернь», которую воспел поэт. «Протест» раскрывает напряженную обстановку, в которой проходил процесс «первого декабриста». «Записка о рабстве»—программный документ. В ней декабрист обосновывает необходимость уничтожения рабства, исходя из своих политических, экономических, философских взглядов. Необходимо указать также и на то, что В. Ф. Раевский был не только политическим деятелем и поэтом, но его привлекали и вопросы

философии. В его наследии есть работы, посвященные философским проблемам. О его поэтической деятельности сказано выше. Совершенно по-новому освещается жизнь декабриста в Сибири. Обычно шла речь о его культурной деятельности. В действительности же Раевский был и остался страстным политическим борцом. С позиций дворянского революционера он перешел на демократические позиции. Демократом-просветителем он остается до конца своей жизни.

Публикуем наиболее интересные архивные материалы, характеризующие политическую и литературную деятельность «первого декабриста»[14].

I
БИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПУБЛИЦИСТИКА

1. СОБСТВЕННОРУЧНАЯ АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

В 1820 году начальник 16 полковой дивизии генерал-майор Михаил Федорович Орлов при дивизионной квартире основал военную школу для юнкеров и нижних чинов по выбору из полков. В 1821 г. я служил в той же дивизии в 32 Егерском полку и командовал 2 батальоном.

Ген. Орлов предложил мне сдать батальон и принять в распоряжение мое обе школы, я согласился. В 1822 году генерал Орлов по прошению был уволен в отпуск в г. Киев.

По отъезде его начальник 6 пехоти. Корпуса ген.-лейтенант Сабанеев приехал в г. Кишинев, где была дивизионная квартира и приступил к следствию по двум происшествиям в Камчатском и Охотском полку.

Несмотря на пристрастные допросы и жестокости, с какими производилось следствие в обеих полках, ген. Сабанеев ничего не мог прибавить к тем обстоятельствам и делу, которые до прибытия его были раскрыты майором Липранди и подполковником Липранди, производившими следствие по предписанию ген. Орлова. Только он самопроизвольно включил в число виновных одного фельдфебеля Дубровского, совершенно невинного, который был наказан кнутом и лет шесть тому назад умер в Сибири при моих глазах.

Я имел неосторожность довольно гласно защищать ген. Орлова и говорить неодобрительно о жестокостях ген. Сабанеева. Ему передали слова мои; тогда только он обратил внимание на школы, которыми я управлял и приступил к тайному расследованию. Юнкеров по ночам брали на допрос. За ночную самовольную отлучку я посадил юнкеров Мандра, Перхалова и Сущова в карцер. Тогда уже ген. Сабанеев этих трех юнкеров потребовал приказом. Из всех розысканий, допросов и показаний юнкеров ничего не оказалось. Между тем я узнал, что ген. Сабанеев приготовляет запрос обо мне полковому командиру 32 Егер. полка полковнику Непенину и тогда же написал к нему письмо, где объяснил действия ген. Сабанеева и просил дать ответ благородный.

В квартире подполковника Липранди, ныне действительного стат. советника, я отдал это письмо одному морскому офицеру. Офицер этот передал письмо не полковнику Непенину, а бригадному генералу Черемисину, а Черемисин отправил его к генералу Сабанееву, который был характера жестокого. Получивши это пись-

мо, ген. Сабанеев послал за мною и 1822 г. 6 февраля арестовал меня, приказав опечатать и забрать мои бумаги и все учебные тетради в школе. Отсюда начинается ряд моих нещастий. Вот причина шестилетнего моего крепостного заключения, лишения чинов, орденов, имения и тридцатилетней ссылки в Сибирь. Другой вины не было.

Генерал Сабанеев, чтобы владеть судом или иметь право судить, скрыл личное оскорбление. На всё, что я сказал, свидетели еще живы.

О тайном обществе

В 1820 г. я проезжал через Тульчин, где были главные квартиры 2 армии Генерального штаба. Капитан Комаров (товарищ мой по воспитанию) предложил мне вступить в об-во Зеленой Книги или Союз благоденствия. Я просил прочитать книгу, он мне дал её. Не найдя в ней никакого противузаконного направления, я согласился быть членом общества и дал подписку: что, «прочитавши устав об-ва и не найдя в нем ничего противного данной мною присяге, я согласен вступить в оное с тем, чтобы вносить двадцатую часть доходов в общество и хранить в тайне». Цель об-ва, сколько я понял, была: развитие просвещения и готовность принять конституцию.

Комаров назвал мне многие значительные лица, принадлежавшие к обществу. В 16 пех. дивизии было только два члена этого об-ва: сам ген. Орлов, полковник Непенин, который понимал это общество благотворительным.

В 1821 году, в генваре м-це, ген. Орлов, возвратясь из Москвы, объявил мне, что это Общество, как и Зеленая Книга, — уничтожены. Следственно, когда меня арестовали, более года тайного общества никакого уже не было.

Два следствия и три суда

1-е следствие и суд

1822 г. февраля 6 я был арестован и заключен под строжайший караул в крепости Тираспольской. В марте месяце началось следствие, а затем повелено было судить меня арестованным.

Полтора года производилось следствие и суд. Юнкера, офицеры и солдаты 32 Егерского полка были под допросом и под присягою, при самых пристрастных допросах **ничего не показали.**

Вероятно, генерал Сабанеев знал уже о доносе Шервута и о существовании тайного об-ва, потому что начал облекать всё дело в формы дела политического, увеличивая и затемняя его подозрениями. Начальник штаба 2 армии генерал-адъютант Киселев был у меня в крепости и предложил возвратить шпагу и выпустить из под ареста, если я открою какой в России существует «Тайный Союз». Выявить прошедшее и уже более года не существующее, выставить людей на обвинение бездоказательно — я не мог и не смел вследствие законов совести и потому я не принял шпагу и остался в крепости.

Ген. Сабанеев, расплодивши дело допросами, бездоказательными подозрениями, бросивши тень политического преступления, подвел приговор мой под 135 Артикул военных законов Петра Великого и положил мнение — «отставить меня от службы и удалить в

один из отдаленных городов России на 6 лет». Я не подписал ни выписки, ни конфирмации и протестовал. Протест мой представил через ген. адъютанта Киселева.

Полевой аудиториат признал жалобы мои справедливыми, за что впоследствии получил выговор.

Второе следствие

В 1823 г. в сентябре месяце, некоторые члены первого общества в согласии с новыми лицами, составили второе тайное об-во, но на другом основании и с преступной целью.

В это время я был в крепостном заключении и на исходе жизни моей могу клятвенно утвердить, что я не только не знал, но и не подозревал, что в России есть какое-либо тайное общество, тем более, что и масонские ложи тогда были запрещены.

В 1825 году, в декабре, общество это высказалось.

Дело моё из полевого аудиториата 2-ой Армии поступило в Генер., аудиториат и там рассматривалось и лежало около 2-х лет. Из Тираспольской крепости меня вытребовали и заключили в крепость Петропавловскую.

Следственным Комитетом о тайном злоумышленном обществе я был освобожден от верховного уголовного Суда. Все члены первого общества, до одного, были освобождены и отправились к своим местам. На мне оставалось только обвинение ген. Сабанеева.

По выполнении приговора над виновными 13, 15 и 17 июня 1826 года, через генерал-адъютанта Потапова мне предложено было взять мой Протест обратно и подписать конфирмацию генер. Сабанеева. Я не согласился. Просидевши 5 лет в крепостном заключении, не видя конца делу, я решился просить личного объяснения государю императору. Мне отказали.

Второй суд

В августе м-це того же года меня отправили в Варшаву. Из Варшавы в Крепость Замостье, где снова заключили в каземат.

Новой высочайше утвержденной Комиссии повелено было судить меня окончательно.

Тогда же был привезен родной брат мой, корнет Григорий Раевский, который, не понимая важности дела, в 1822 г. уехал из дому в Одессу, чтобы оттуда приехать в Тирасполь для свидания со мной. Об этом он говорил публично. По подозрению в участии со мною, его взяли и отвезли в крепость Шлиссельбургскую, где он пробыл около пяти лет, помешался в рассудке. Наконец, был возвращен и по возвращении домой вскоре умер.

Семь или восем месяцев производилось дело мое, наконец, решилось: я был совершенно оправдан. Его импер. высоч. великий князь Константин Павлович конфирмировал: возвратить меня попрежнему на службу с вознаграждением за долговременный арест.

Третий суд

Когда дело мое и приговор поступил в С. Петербург, заключение комиссии и конфирмация великого князя найдены слабыми, назначен был новый суд.

Сей новый, но заочный суд, — не видел и не спрашивал меня: следственно—основал обвинения на тех фактах, по которым я

был совершенно оправдан, приговорил меня к лишению чинов, орденов, дворянского достоинства и имения за важные поступки, вредные правила и вредный образ мыслей. Полевому аудиториату было сделано замечание за то, что он позволил себе судить неправильные поступки ген. Сабанеева.

Не смею объяснить моих замечаний. . . Но мне известно, как и многим, что начальник Штаба генерал Дибич был самым искренним другом генерала Сабанеева и находился с ним в беспрерывной переписке.

Вот как кончился заключительный процесс мой.

1. Ген. Сабанеев производил дело собственной оскорбленной личности. . . Но и тут думал расщитаться со мною шестилетнею ссылкой. Я не был согласен на такое решение и протестовал.

По протесту новый аудиториат оправдал меня.

2. Комитет о злоумышленном обществе не нашел меня виновным и освободил от Верховного уголовного Суда, чем уничтожил все попытки ген. Сабанеева облечь дело мое в форму политического преступления.

Я принадлежал к тому тайному обществу, из которого ни один член не наказан и все до одного освобождены.

3. С виноватым или преступником не торгуются. Я оправдался по важному подозрению, оставалось предубеждение по делу генер. Сабанеева. Мне предложили подписать его, я не согласился и просил нового суда. Просьба моя была уважена. В царстве Польском, в крепости Замостье, была назначена новая комиссия, которая меня совершенно оправдала и цесаревич Константин Павлович конфирмировал — возвратить меня на службу с вознаграждением.

4. Заочный суд в Санкт-Петербурге, не видевши и не спрашивая меня, следственно, основываясь на тех же фактах, — приговорил меня к тяжелому наказанию: к ссылке на поселение в Сибирь и проч. Отдаю на суд божий такое решение. Но есть еще свидетель — граф Лев Дмитриевич Киселев. Он знает это дело.

Конфирмация напечатана в Московских ведомостях 1827 г., октябрь 28, № 94.

Мой брат, корнет Григорий Р., был взят генерал-губернатором Ланжероном по подозрению в сношениях со мною, о чем я сказал выше, вытребован в Петербург и заключен в крепость Шлиссельбургскую, где пробыл около 5 лет. О заключении его, из Петропавловской крепости я осмелился писать к государю императору. Когда дело моё и меня отправили в крепость Замостье, тогда и брата моего привезли туда же, но уже в совершенном помешательстве ума. Судить его невозможно было. Где же было над ним два суда?

Фальшивый поступок его состоял в том, что он подскоблил год на старой подорожной брата моего и по этой подорожной уехал в Одессу. Но где он развратился уже непонятно. Живши в доме у отца в деревне, поведение его было подчинено воле отца и отец, конечно, не доносил комиссии военного суда о поведении сына своего. В крепости Шлиссельбургской еще труднее развратиться. Следственно, из этого видно в каком духе сочинена конфирмация. Из конфирмации можно заключить, что высочайше учрежденная в крепости Замостье военно-судная комиссия была прежде, а Комитет о злоумышленном об-ве после. Там сказано: «что майор

Раевский по удостоверению комиссии не принадлежал к составленному после 1821 г. злонамеренному об-ву, почему и дальнейшее о нем исследование по Комитету государственных преступников прекращено было».

Но вследствие оправдания в Комитете мне предложено было признать обвинение Сабанеева справедливым и взять мой Протест обратно. Я не согласился и тогда из крепости Петропавловской отвезли в крепость Замостье, где последняя комиссия судила меня и оправдала.

«Важные поступки, вредные правила и образ мыслей», — вот как выражено мое преступление и на этом основании моя участь решена навсегда. Важные поступки не пояснены.

О гевальдигере Таушеве и о прописях совершенная несправедливость и вымысел ген. Сабанеева. Он приказал опечатать школы, забрал все письменные тетради и другие принадлежности — зачем же оставил прописи?

Писанных прописей было очень мало, но и в тех ни одной мысли, ни одного слова противузаконного не было, иначе они были бы выявлены.

Я стою уже не перед судом.

Я пережил и суд, и крепостное заключение, и ссылку и прощен великодушным государем, следственно — не имею надобности для оправдания прибегать ко лжи, а тем более к клятвам.

«Все другие освобождаются», — но кто же были эти другие? Сидел в крепости я один, запросов о других лицах мне не делали, кроме юнкера Сущова на меня никто не показывал и причастных лиц к делу не было и не могло быть, потому что дела не было.

Служба моя

1812 году мая 21 из дворянского полка выпущен был прапорщиком артиллерии в 23 арт. бригаду, в 23 батарейную роту. Я явился в 1-ю Армию в Виленской губернии, в м. Видзы. Во время кампании я получил за бородинское сражение прапорщиком золотую шпагу за храбрость и за десять сражений, где действовала артиллерия, Анну 4 класса, чин подпоручика и поручика. За отличие 23 батарейная рота, в которой я служил, за кампанию в 1812 г. получила отличие на кивера и офицерские золотые петлицы. В 1816 г. по возвращении из-за границы я поступил в адъютанты к корпусному начальнику артиллерии. За болезнью вышел в отставку и через год определился штабс-капитаном в 32 Егерский полк. В начале 1821 г. произведен в майоры. Остальное сказано выше.

Моя жизнь в Сибири

В феврале м-це 1828 г. я приехал в г. Иркутск. По назначению губернатора Иркутского округа я был поселен и водворен в с. Олонки.

Хотя о деле моем говорили шопотом, но оно было шумно. Общий голос обвинял генерала Сабанеева.

Генерал-губернатор Лавинский призвал меня к себе и сказал: «Я хорошо знаю дело ваше. Мы поправим его. — Я назначаю вас в экспедицию на Амур. Если она щастливо кончится, я буду хлопотать об вас». Но бывший министр иностранных дел Нельсерод отказал в этой экспедиции. Стесненный положением поселенца, ли-

шенного всех прав, не имея ничего из дому, я просил генерал-губернатора на общем положении поселенцев — о переименовании меня в крестьянина, что и было исполнено. Только тогда я мог трудом содержать себя, семейство мое. Генерал-губернатор Восточной Сибири в 1837 г. июня 31 за № 111, через генерала Бенкендорфа ходатайствовал о дозволении мне вступить в гражданскую службу.

Генерал-губернатор Руперт в 1840 г. от 21 окт. через графа Киселева испрашивал той же милости для меня. Отказ на оба представления и просьбы.

Когда я был в ссылке и жил в деревне, две дочери мои вышли за чиновников и потомственных дворян. Один из них прокурором в Забайкальской области, другой чиновником Иркутской Казенной Палаты и управляет Александровским винным заводом. Старший сын мой поступил в казачье Забайкальское войско. В 1-ой экспедиции на Амур он был бессменным ординарцем генерал-губернатора Муравьева, теперь уже сотником и получил Станислава за особую, трудную и опасную командировку. Будущность остальных детей, 4-х сыновей и одной малолетней дочери, неопределены.

Из этих объяснений видно, что до ареста моего в войну и мирное время я служил с честию. В ссылке я стал выше моего положения и, не получив от родных ни копейки, в продолжении 30 лет содержал семейство трудами моими. Семейство мое не в бедности. Бог хранил меня. Бог судит виновников долговременного моего злополучия.

Дело мое было слишком шумно. Протест мой против генерала Сабанеева ходил по рукам. Какие-то стихи под моим именем также. Вероятно, Протест мой, переходя по инстанциям, был списан. Стихи могли быть написаны Пушкиным, который был при аресте моем в Кишеневе и был со мною в приязни, или кем нибудь другим. Об этом Протесте и о стихах в 1828 г. был мне запрос чечерез гражданского губернатора уже в Иркутске.

Капитан Комаров, который предложил мне вступить в об-во, освобожден. Полковник Непении командир 32 Егерского полка, где я командовал ротой и потом батальоном, освобожден. Ни один офицер, ни один солдат ничего не показали. Генерал Орлов, который устроил школы — освобожден. Учители в школе — поручик Драгунов и Охотников — даже не были спрошены.

Ни один юнкер, ни один солдат ничего не показал. — Теперь остается вопрос: на каких показаниях и кем я обвинён? Очень знаю, что генералу Сабанееву нужен **был я один.** Он был человек желчный и мстительный.

2. ПРОТЕСТ

Приступая к объяснению дела моего, считаю необходимым просить вышнее начальство обратить снисходительное и беспристрастное внимание на предмет моего обвинения, на меры, каковы браты были для открытия истины, и в особенности на сей ввод моего дела. Обвиняемый сильным начальником, под непосредственной властью коего находится и виновный, и свидетели, и судьи, кои все вместе суть его подчиненные, заключенный без всякого сообщения с людьми в крепости (при корпусной квартире), где я уже содержусь полтора года, мог ли я с той свободой, с тем холодным духом говорить и оправдываться, с каковыми бы я мог, ежели бы дело мое произ-

водились под рукой беспристрастного и неприкосновенного к делу начальника? на свободе — хотя ограниченной, но такой, где бы я мог знать производство моего дела, которое мне самому открылось не прежде как подали запросные пункты.

Со мною поступлено было, как с уголовным или государственным преступником; опечатали бумаги, совершенно больного отправили из Кишинева в Тирасполь и здесь заключили под строжайший двойной караул с воспрещением говорить с кем бы то ни было и даже выходить на крыльцо моей темницы.

Я служил войну и служил без проступков 11 лет. Мог ли в несколько месяцев, или лучше сказать в несколько дней, сделаться преступником, каким изобразила Комиссия?

Главное меня обвиняют в словах, которые говорил я два года назад в полку, когда еще был капитаном. Что же открыли и следственная и судная Комиссии?: 1) Письменное наставление роте, из которого выпущена статья о религии; 2) Чтение устава воинского еженедельно, о чем Комиссия не заблагорассудила спросить роту: 3) Штрафная книга, из коей видно, что число наказанных в вверенной мне роте превосходило число всех прочих;

4) Отдачи под суд юнкера Левицкого, рядового Пивовара и Шупляка, барабанного старосту Матвеева; представление рапортом г-ну помощнику командира юнкера Лопского и унтер-офицера Куприенко;

5) Приказание еженедельно ходить в церковь, куда я сам водил солдат, стоявших на ротном дворе, — в чем Комиссия по ссылке моей тоже не спросила роту.

Вот основания моего командования и правила мои! Мог ли я действовать совершенно противно тому, что говорил? И на что более должна была обратить Комиссия внимание на слова темные и в продолжении 3-лет сказанные, забытые и перетолкованные или открытые поступки, подтвержденные письменным актом? На дела, кои находятся в совершенной противоположности со словами?

Комиссия по сему предмету, кажется, вовсе не хотела обратить внимания на мое оправдание и во все время действовала, как будто бы ей предписано было обличить меня, а не разыскать истину.

Из всего полка 3 или 4 офицера оказались свидетелями, из числа коих г-н капитан Цых и штабс-капитан Гомановский, как по самому делу значится, были мне врагами и свидетельство коих отвергается самим законом.

Те, которые (Платонов и Шиловский) под присягою ничего не показали один или два раза, стоят ли доверия? Если он по первому разу солгал — не может ли он солгать по второму? И почему второе показание вероятнее первого? Вынуждение в этом случае, страх, угрозы и побои, конечно, перевесили религию особливо у такого человека, который не имеет оной.

Комиссия не вняла ни жалобам, ни представлениям моим, положила их, как бы умышленно, основанием и опорой во всем здании обвинения.

Некоторые из остальных офицеров говорили что-нибудь слышанное от других или совсем не слышанное, а Комиссия, подбирая и собирая в один смысл, составила одно целое, хотя не заключающее в себе важного содержания, но довольно достаточное для введения в подозрение и служащее вспоможением к обвинению. Чтоб доказать сколь нелепы показания юнкеров, стоит только

взглянуть на показания их под присягой по следственному делу и показания их же по судному и сличить с показаниями как офицеров, так и нижних чинов, которые сократились более нежели в половину. Причину сего изложу в протесте моем ниже.

Так как обвинительные пункты составлялись в разное время одними и теми же лицами, убавлены или распространены, смотря как того требовал ход дела, ссылки сделаны на нижних чинов как от меня, так и со стороны обвинителей; ответы разнообразны, смысл большей частью запутан и не ясен, то не следовало ли Комиссии, отделяя правдоподобное от совершенно ложного, основаться на большинстве голосов, соразмеря число отрицательных и положительных?

Что же Комиссия учинила? Пренебрегла на сей предмет существующий закон и голоса отрицательные, основалась на положительных и решительно приговорила меня лишить живота, руководствуясь 135 артикулом военных законов.

Что же показали нижние чины, находившиеся как в полковой, так и в дивизионной ланкастерских школах, 3-й Егерской роты, 3 карабинерской роты и прочие нижние чины других рот, коих хотели свести в одно? Совершенно ничего. Если и были лжесвидетели, коих число ничтожно, то ниже изображу я средства, коими их к делу теперь обратили.

В полку между офицерами существовал раздор. Если б я говорил слова непозволительные в присутствии их и солдат, то, конечно, офицеры не преминули бы тогда же донести обо всем (и даже с прибавлением) полковому или баталионному моему командиру.

Но во все пребывание мое в полку я ничего кроме одобрения не слыхал от начальства, а ложные слухи распущены после моего отбытия.

Показала ли рота малейший знак ослушания? Не была ли она устроена лучше других? Жаловался ли хотя один из 4-х бывших после меня командиров на неустройство оной? Почему же нижних чинов взяли вдруг под жестокий допрос, как будто бы они учинили какое-нибудь преступное деяние?

Впрочем, если я говорил о каких-либо беспорядках по службе, о злоупотреблении частной власти, о непомерных побоях, как о причине побегов, совершенного уныния и болезни солдат, то говорил совершенную истину, которая ни законами, ни особенной волею начальства не воспрещена! Одним словом, я говорил то, что доказать могу.

Начиная от корпусной квартиры и оканчивая последней ротой, я видел столько злоупотреблений, что иногда и почти невольно говорил и винил в том офицеров, вовсе не предполагая, что выражения минутного негодования будут перетолкованы, искажены и через два года сочтены преступлением.

Но почему ко всем сим разговорам присоединены солдаты, почему побоями, страхом и ласкательствами принуждали их быть свидетелями, мне неизвестно. Впрочем, если судить и приговаривать к смертной казни офицеров за невольный и минутный ропот на тягость службы или начальников, то едва ли сотая часть офицеров была бы изъята от суда.

Почему Комиссия так решительно определила слова мои (если бы я действительно говорил) умышленными и злонамеренными?

Почему не спросили причины? И почему судили о словах, как о действии?

Еслиб я имел вредные правила, как Комиссия везде старалась доказать, то представляю на рассмотрение поведение моё в полку: юнкер Левицкий представлен был мною к суду, несмотря на то, что он поддержан был своим батальонным камандиром Загорским и другими офицерами; рапорт об исследовании причин побегов во 2 батальоне, который приложен к делу, где три ротные командира, товарищи мои, найдены были мной виновными и представлены рапортом. Самые показания офицеров по личностям не доказывают ли что я не имел ни связей, **ни союзов** и слишком далек был от скопищ, кои на благородного офицера наводят более стыда и укоризны, нежели делают честь. Когда бы я знал за собой что-нибудь, действовал ли бы я таким образом? Я бы искал дружбы, а не вражды офицерской!

Упуская из виду мимолетные показания, я прошу покорнейше вышнее начальство рассмотреть и взять на вид тех свидетелей, на коих лежит важнейшая часть показаний.

I) Штабс-капитан Цых и Гомановский (как самое дело доказывает) были мне врагами. Оба они имели целью угодить сильному начальнику и лично мстить за себя, имея сей удобный случай. Как с тем, так и с другим в бытность мою в полку я весьма редко говаривал. Когда же и в какое время имели они случай слышать то, чего ни один из ближайших ко мне офицеров не слыхал? Тем более, что я ни с кем никогда и никаких тайностей не имел, в этом случае я могу сослаться на весь полк; и может быть этот то открытый образ мыслей был причиной подозрений и обвинений, павших на меня. Не буду входить в нравственность и поведение сих офицер. Достаточно беспристрастному начальнику переверить опрос 1-й карабинерной роты, дабы познать с каким пристрастием Комиссия действовала и что за человек г. Цых.

Не прошло 4-х месяцев по окончанию моего дела, а г. капитан Цых за разные беззаконные поступки уже отрешен от роты и содержится на гауптвахте в Крепости Измаильской.

Платонов показал в 3 допросе.

Юнкер Сущов, определяясь в 32 Егерский полк, обманул своего ротного командира капитана Лозинского на 300 ассигнациями, вскоре по определении бежал, таскался по России под разными видами и фальшивыми паспортами. Он был пойман, как бродяга, по признанию своего звания, отослан в 34-й егерский полк, оттуда сдан в 32 егерский, где полтора года находился под судом и, наконец, под предлогом **сумасшествия** оправдан и определен опять в тот же полк юнкером.

Корпусной командир при начале дела (конечно, ведая его довольно хорошо) не примишул взять свидетельство от офицеров о его добром поведении. Спрашиваю, какого поведения мог быть Сущов, содержась почти всю свою службу на гауптвахте под караулом? и могли ли офицеры, не погреша против совести, делать оценку такому человеку. Он был по убедительной его просьбе и по бедному состоянию принят мною в дивизионную школу, откуда в непродолжительном времени за разные низкие поступки выгнан, о чем не только все юнкера, но все офицеры штаба дивизии знали, за что жаловался на меня корпусному командиру письмом, о чем повторительно слышал я от г. генерал-майора Вахтена.

В ето время дело взяло другой оборот. Юнкер Сущов вошел на меня в формальный донос через майора Вержейского, который тогда за разные злодеяния, поступки г. Орловым был предан суду, и скоропостижно помер, о чем я узнал от отставного 32 Егерского полка штабс-капитана Прокопова.

Сей Сущов, грозя утопить меня, опирался на силу г. Корпусного начальника, — обещав представить какую-то бумагу! но не представил. Я желал знать, какая это бумага, но её при деле не оказалось. По сей-то причине писал я письмо к г. полковому командиру, которое и послужило в числе первоначальной причины моего ареста, по коему объяснился я в отчетах по следственному делу.

Наконец, когда следственное дело окончилось и послано по инстанциям, юнкер **Сущов**, убоясь, конечно, худых последствий всех своих черных поступков, опять **бежал**. Для отыскания его посланы были корпусные жандармы и, наконец, по прошествии 6—7 дней найден он был в камышах, ибо за неумением плавать не мог переправиться через Днестр.

Господину корпусному командиру угодно было, не наказывая поступка столь противного и дисциплине и нравственности, счесть сей побег за какую-то **меланхолию,** пригласить его ежедневно обедать с собой и поручить ему воспитание сына лекаря Шиповского.

Поручик и юнкер братья Михайловские: 1-й за претерпенные побои от флотских офицеров и драку и за грабеж роты был лишен оной; но после лжесвидетельства на меня дана ему другая рота. Но после вновь по жалобе солдат отнята за лихоимства, за что следовало бы предать суду.

Брат его, юнкер Михайловский, будучи и слишком молод и слабоумен более следовал внушениям посторонним и говорил едва ли сам понимая что. За пьянство и другие развратные поступки через два месяца был из корпусной школы выгнан, вместе с юнкером Перхаловым. Михайловский 1-й произвел кулачную драку и был прибит моряками и офицерами в Измаиле, но в Аккермане после очной ставки ему вскоре дана рота.

Полицмейстер Витязь, отрешенный за лихоимство в Измаиле по жалобе жителей, вскоре после лжесвидетельства отрешен и в Аккермане.

Фельдфебель 2-й роты Иванов, убоясь угроз или желая угодить начальству, показал то, что под присягой ни один солдат в роте по ссылкам его не подтверждал, ни один солдат под присягой не повторял клеветы.

Он оба раза, как по судному, так и следственному делу, был допрашиваем самим корпусным командиром в корпусной квартире, куда нарочно был привозим.

Вот люди, вот свидетели, на которых лежит участь моя!

Есть ли из них хоть один, не заклейменный пороком или бесславием? Могут ли те люди дорожить присягой, кои никогда не дорожили своей честью и совестью? Можно ли, опираясь на них, решить участь и жизнь офицера, не покрытую еще ни одним худым поступком?

Пусть отымут от дела **сих подозрительных людей и** личных недоброжелателей моих и бесспристрастное начальство ясно увидит в чем состоит не преступление, а вина моя, за которую я уже слишком строго наказан полуторагодовым арестом.

Остальные офицеры составляли эхо или отголосок весьма нестройный: если бы не было сих внушителей, они не знали бы что показывать.

Полковой командир ничего почти не показал.

Полковник Нейман и майор Барсуков совершенно отперлись от своих показаний.

Майор Загорский в статье о конституции на очной ставке сознался со мной, остальное ничего важного не заключает.

Майор Юмин написал три страницы таких неясностей и такого хаоса, что не сыскать ни одного офицера, ни даже юнкера, который бы подтвердил то, что с трудом сочинить можно, чего никогда не знал и не слыхал. Причина тому, что Юмин сгоряча написал это в Кишиневе по **особенному** запросу г-на корпусного командира.

Если никто в полку не слыхал всего того, что он показывает, так от кого же он слышать мог? Вот донос, который требует гораздо полнейшего исследования.

Прапорщик Муромцов, говоря о комнатных моих разговорах, не мог представить никого во вторые свидетели.

Некоторые из остальных офицеров показали то, что они слышали от других, но от кого именно и когда никто не говорит. Только подполковник Нейман и поручик Сохацкий решились или ошиблись показать на Цыха и Гомановского. Следовательно, вот откуда произошли слухи сии, (как и из следственного дела оказалось) с намерением от себя или по внушению посторонних лиц, распущенные между офицерами.

По следственному делу юнкера под присягой учинили показания, из коих ясно видно, что им точь-в-точь, слово в слово продиктовано то в чем нужно было обвинить меня (ибо все их показания просто списаны одно с другого).

По судному же делу сих показаний, конечно, оказывалось недостаточно и те же самые юнкера вслед за Сущовым стали показывать совершенно другое, оставя свои прежние показания.

В полку по судному делу при всей жестокости опросов следственное дело оказалось увеличенным, искаженным и наполовину ложным. Между юнкерами оно увеличилось, украсилось новыми вымыслами и пустословием.

Вот причина: юнкера переведены в корпусную школу—ближе к делу, зависимые от корпусного начальства, слишком молоды, следственно, более боязливы, более способны к разврату, обольщению и страху, как дети. Большей частью из низкой молдаванской и польской шляхты, они считали законом желание сильнейшего начальника, не имея еще понятия о благородстве и чести. Сколько эти дети оказали себя лживыми и двуязычными, столько напротив солдаты были тверды и праводушны. Ни рота моя, ни песельники 3-й карабинерской роты, ни обе ланкастерские школы ничего не показали! Меня обвиняют во вредных внушениях нижним чинам, где же эти внушения, когда изо всей массы солдат, состоящих под командой моей, никто ничего не слышал?

А в добавление представляю высшему начальству на рассмотрение положение солдат: **с одной стороны,** корпусный и бригадный генералы, офицеры полка и фельдфебель роты, при них... палки, власть, угрозы, обольщения и страх будущего гонения, с **другой,** —одна присяга и заключенный, содержимый подобно преступнику офицер, от которого не только защиты, но даже благодарности ожидать невозможно было. И беззащитные, но праводушные, не убоялись ничего, дабы остаться в мире с верою и совестью.

Ежели бы рота, или лично я учинил какое-либо гибельное деяние, законами в число преступлений включенное, тогда допускаю (хотя незаконно) все меры пыток, употребленные на вынуждение истины. Но рота, которая сдана уже была около 2-х лет и после командования 3-х начальников должна была почти забыть меня, тем более что я находился в полку, могла быть вынуждаема подобными угрозами к показанию того, чего не ведала, не слыхала и слышать и ведать не могла.

Наконец, оканчивая ввод сей, к оправданию моему служащий, я, приступаю к **протесту** против незаконного производства дела моего военно-судною Комиссиею.

Оставляя начало дела, заточение мое и жестокое со мной обращение во время ареста, как волю власти, имею честь вышнему начальству представить на рассмотрение нижеследующее:

Причиной или предлогом моего ареста было:

1) **письмо моё к полковнику Непенину,** 2) донос юнкера, будто бы я сказал, что не боюсь Сабанеева, 3) разговор мой с рядовым Кузьминым о поступках **г-на корпуского начальника** и 4) пред сим донос юнкера Сущова, прямо ли от себя или через майора Вержейского утвердительно сказать не могу.

Справка и исследование в полку поручено было г-ну генерал-майору Черемисову, который был уже в неудовольствии на меня.

Фельдфебеля роты арестовали и, когда он ничего не показывал, отправили в корпусную квартиру, песельников роты взяли на допрос, а юнкеров Сущова и Михайловского для убеждения солдат отправили в Измаил, в полк, из корпусной квартиры.

Каким образом допрашивал генерал Черемисов беспристрастное начальство увидеть может, опросивши их самих. Арест, угрозы, ругательства, крик были предварением тех мер, кои учинены или взяты по судному делу.

По первому допросу под присягой фельдфебель и песельники (и после рота) ничего не показали. Вскоре засим фельдфебель возвратился из корпусной квартиры и вторительным предписанием корпусного начальника велено вновь допросить роту.

Фельдфебель с нарочным запиской или словесно предупредил роту, чтоб показывали то о чем спрашивать будут.

Песельников и роту окружили офицеры, угрожали, ласкали и говорили: **он уже и без того погиб! Говорите, показывайте; он будет сослан в Сибирь, а вы останетесь! Вы его не спасете, а сами погибнете;** на чем они основывали мою погибель или будущую погибель солдат неизвестно.

Но подобные угрозы посторонних лиц суть уже незаконные меры.

Генерал-майор Черемисов то прогонял, то снова призывал людей, угрожая им разными жестокостями (страх и угрозы кнута, ссылка в Сибирь); наконец, нашел лучшее средство — он просто в кругу песельников начал читать, что говорить, повторяя: «ведь говорил!» Солдаты не понимали ни вопросов, ни чего от них хотят: одни говорили **да** другие—**нет**, а генерал-майор Черемисов просто велел подписать грамотным — и тем кончил допрос.

Вот отчего существует по следственному делу согласие показаний, по судному: разногласие, а на **очной ставке** совершенное сознание со мной. Но в роте подобные меры не имели желаемого успеха — и порознь и все вместе солдаты остались при своем прежнем показании и не решились произнести — да, или—говорил. И все желания принудить их к тому были безуспешны.

Тоже последовало и в допросе 3 карабинерной роты, тоже и с солдатами ланкастерской школы.

Пусть отдалят от нынешнего начальства этих людей, и они откроют способ допросов и меры вынудительные.

1. Вот первый незаконный поступок, разрушающий всё дело.

В деле, которое проистекло от подозрения или от личного неудовольствия начальника, не довольно ли было одной присяги, которая для нижнего сословия гораздо священнее нежели для других, к чему ж угрозы и переспросы, ибо повторяю, что ни рота, ни я не учинили никакого деяния, по коему бы подобные меры необходимы были.

Между офицерами г. корпусный начальник гораздо сильнее обнаружил свою личную ненависть. Он вытребовал майора Загорского, прапорщика Муромцова и подпоручика князя Вяземского в корпусную квартиру и здесь делал им личные запросы. Что после сих запросов показали первые два видно из дела, а князь Вяземский за то, что не решился или не согласился говорить того, чего не знал был послан на гауптвахту в караул с угрозами, что пробудет там три года и был на гауптвахте до того времени, пока заболел и из корпусного госпиталя, уже по выздоровлении, отправился в полк, после чего и переведен в Селенгинской полк, дабы не мог служить примером для других.

Пример князя Вяземского доказал офицерам полка, что говорить истину значит навлечь на себя гнев г. корпусного командира и гонение!

2) Вот второе притязание, недопустимое никаким законом!

По следственному делу я уже показал, что господин корпусной начальник призывал к себе по ночам юнкеров, о чем они сами объяснили, давал деньги юнкеру Сущову, но не сказал, что господин корпусной начальник, присутствовал сам в следственной Комиссии, сказал:

а) юнкеров я призывал по ночам, потому, что был окружен шпионами (какими?); б) деньги давал Сущову **взаймы** из лицейской суммы (Сущов тогда не был в Лицее). Хотя сей ответ не принадлежал мне, но я включаю его, потому что слова мои подтверждены собственными словами генерала в присутствии Комиссии.

Юнкера, переведенные в Корпусную школу из Дивизионной, торжествовали ружейными выстрелами, пьянством и грабежом мой

арест, — делали разные язвительные насмешки моему слуге и грабили муку из школы. Вместо обвинения и наказания виновных дело по суду замято и кончено одним запросом капитану Друганову. Представляю на рассмотрение — осмелились бы юнкера чинить подобные буйства, если б не уверены были, что этим угождают своему начальнику?

И остались бы они без наказания, если б начальство наблюдало строгую справедливость и должное уважение к правам, со званием моим сопряженным?

Но по жалобе моей в следственной Комиссии генерал Вахтен мне именно сказал: **что им за это ничего не будет.** Предполагаю и подозреваю, что к понуждению подобного разврата начальство имело свои виды. Теперь не на капитана Друганова ссылаюсь я, ибо он офицер, но опять на нижний класс. Мне это донес денщик мой Филипп Григорьев, который был поваром в школе; потом ссылаюсь на всех служителей школы и хозяев того дома, в котором производилось это буйство.

Нахожу нужным дополнить, что все юнкера, кои жаловались и переведены из дивизионной в корпусную школу, по окончанию моего дела **высланы вон,** кроме Сущова, который (как я выше сказал) воспитывает сына лекарши Шиповской и юнкера Чернолуцкого.

Прошу покорнейше рассмотреть их показания по следственному делу — есть ли там хоть слово о прописях, Вашингтоне, Равенстве, Свободе и прочих слов в веденных разговорах. Неужели, думая и пересматривая 7 месяцев в корпусной квартире, не могли они вспомнить столь нужных доказательств к введению в подозрение, а особливо Сущов, писавший сам эти прописи?

Государь император желает ли осуждения последнего из своих подданных? Может ли одобрить обвинение не по вине?

Хотя судная Комиссия была учреждена под непосредственным надзором того корпусного начальника, который обвинял меня, но для того ли, чтобы осудить непременно, несмотря ни на какие законы, ни на вину? Я твердо уверен в противном и потому то оправдываюсь безбоязненно.

Г. корпусный начальник отзывался мне везде волей вышней власти государя, даже говорил, что ему писали из Петербурга **«что, доживши до седых волос, его превосходительство не видит, что у него делается в корпусе или в дивизии».** Впрочем, этого я лично не слыхал, это был общий слух. Но если он справедлив, то господин корпусный начальник, основываясь на этом, должен был взять строже меры в 16 дивизии. Но почему же буря упала на меня? Какое сношение буйной поступок одной роты Камчатского полка имел с дивизией, и в особенности со мной? Тогда как я и в 32 полку, и в дивизии, и при дивизионной квартире находился весьма недавно. Будучи переведен из другого полка и из другой армии, в первый раз в Кишиневе увидел я тот полк, который называется Камчатским? Одна школа принадлежала мне, где находился я почти безвыходно. Успехи юнкеров и благодарность дивизионного начальника оправдывали труды мои.

Судная Комиссия была составлена из штаб и обер-офицеров того же корпуса, то-есть совершенно зависимых людей от кор-

пусного начальника. Из них 4 инвалидных офицера—людей семейных, бедных и больных, следственно, дорожащих более покоем и своими местами, нежели правосудием.

Те люди, кои должны были соблюдать правосудие, выходили по ночам и подговаривали солдат. И даже один из членов рядового Иванова оклеветал, который и был посажен под арест. Присутствие продолжалось иногда заполночь. Корпусной начальник при допросе изо всей силы своеручно бил солдат по плечам, называл кнутобойцами.

Эти члены приступили к производству дела под председательством г-на корпусного начальника. Я ни одного из них не знал (кроме аудитора), а потому не мог отвергать их и тем еще более, что знал лучше других и дела и вину мою —следственно, не боялся худых последствий.

Во 2-е заседание г. корпусной начальник, разгорячась на меня, в присутствии Комиссии сказал мне: «Я бы сам смолчал, но когда вы тронули меня, когда стали рассуждать обо мне с солдатами, то... извините меня, сударь».

Эти слова были сказаны в Комиссии и с угрозой: чего же мне было ожидать, когда главный мой судья обнаружил так явно свое негодование?

Мог ли член, говорящий мне о собственной обиде, быть справедлив? Презус суда г-н подполковник Албучев и прочие члены это слышали, но я не протестовал тогда же потому, что государь император повелел его превосходительству судить меня, следственно, — это значило некоторым образом противиться власти, священной для меня и для каждого подданного.

Во время первых заседаний неизвестно почему Сущов находился в Комиссии за дверью в другой комнате, — отчего произошло, что юнкер Сущов, когда разговор шел о словах конституция, свобода и пр. (о коих показывал подполковник Нейман по следственному делу), не разобравшись хорошо о чем говорили, по клику корпусного начальника вошел и подтвердил, что точно — слова свобода, равенство и конституция были на прописях в дивизионной школе! Эта ошибка внесена в дело. Мог ли он забыть это и не показать по следственному делу, когда сам писал эти прописи? Вслед за сим Сущов с дерзкой усмешкой начал рассказывать разный вздор, который к делу нельзя было приклеить, наконец добавил — «говорил с похвалою о Ровиго», — тогда командир подхватил: — «не о Ровиго, а о Квироге». — «Точно так, Ваше превосходительство!». И это поступило в дело.

А за сим на другой или на третий день призваны были все юнкера. Ответы были написаны и в них то заключались те показания, кои видны из суднопроизводства. — Юнкера, переведенные в корпусную школу, все вместе были введены в Комиссию.

Корпусный командир сам спрашивал—говорил ли майор Раевский то-то и то-то? Ответ на все вопросы в один голос был — **говорил!**

Видя явное наущение, зная хорошо своих юнкеров, я спросил Чернолуцкого: «Что я говорил?»

«Вы говорили, что Вашингтон писал разные стишки против своего короля и ему бросали цветы, когда он въезжал в Мадрид».

Ежели Комиссия имеет довольно духу, она не откажется подтвердить сии слова.

Я улыбнулся и сказал корпусному начальнику: — «Вот как они слышали!» — «Молчите!» — был ответ и с сим вместе юнкера были высланы, очные ставки кончены и Комиссия разошлась.

Когда я повторил еще раз жалобу в присутствии юнкера Сущова в Комиссии, то аудитор отвечал: «На это есть воля Ивана Васильевича».

Не думаю, чтобы в Комиссии военного суда была другая воля, кроме законов. Вышняя власть поручила г.-лейтенанту Сабанееву надзор над Комиссией не для того, чтобы в Комиссии присутствовала воля Ивана Васильевича, но закон.

Изложа сие, протестуюсь!

3) Комиссия совершенно незаконно допустила юнкера Сущова находиться с переписывающим писарем в другой комнате и не вняла просьбе моей.

В России суды не суть гласны, следственно—производство постороннему лицу не должно быть известно, тем более доносщику и свидетелю.

4) Также незаконно на личную ставку взяли всех юнкеров вместе, где делалась улика фронтом, как торжественное «ура»!.

5) Еще более беззаконно допустили во свидетели сего Сущова, как подозрительного человека, ибо он: а) жаловался на меня письмом, б) входил с формальным доносом бумагой прямо и через майора Вержейского, с) выгнан был мною за низкие поступки из школы, д) и до того учинивший уже два побега из службы.

6) Угрозы же и упрек в личной обиде представляю на рассмотрение и рассуждение вышнего начальства, ибо судить о сем не решаюсь сам.

После личной ставки юнкера Сущова отправили вперед, а за сим и Комиссия отправилась в Кишинев.

7) Здесь также юнкера были введены в Комиссию фронтом и поэтому то, наконец, подтвердились частью показания Сущова, но не все, ибо те самые, кои писали с прописей, ничего не показали, а именно Княжевичи 1 и 2, Ясинский, Ровский, Никимчь и проч. и проч.

Солдаты ланкастерской школы по сему вопросу ровно ничего не показали, хотя унт. офицеру Духу делались разные истязания, угрожали ему, сажали под арест и пр. Комиссия, не зная, в чем обвинить меня по сей статье, вменила мне в преступление, что унтер-офицер Дух читал **Сын отечества**, а другой какой то рядовой брал из школы на квартиру **Плутарха для юношества**, и как о государственном преступлении упомянули в Сентенции военного суда.

Книги, тетради и прочее находится налицо, в коих ничего нет противного цензурным постановлениям.

А строгое мое обращение с юнкерами и самая жалоба их не доказывали ли, что я слишком далёк был от тех причин, под которые подвести желала меня Комиссия военного суда.

Если беспристрастное начальство прикажет вновь допросить

юнкеров, то я уверен, что большая часть из них сознается во лжи или вовсе отопрется от своих прежних показаний, ибо они молоды и мало понимали сами, что говорили.

Прежде нежели приступлю к объяснению производства дела моего по полку, как главную причину моего Протеста, считаю необходимым объяснить нижеследующее: заключают ли письма мои к Охотникову, полковнику Непенину и опечатанные бумаги что-нибудь противное узаконениям духовным и гражданским?

Почему же Комиссия в сентенции своей «сильно подозревает» меня в каких то сношенных с кап. Охотниковым? Ужели говорить о добродетели, о благородстве, излагать свои мысли о частных обстоятельствах и лицах есть преступление? Но, оставя сие, спрашиваю: Ежели бы я действительно что-либо говорил, почему Комиссия почитает это непременно знаком худых намерений, а еще более—заключающим в себе важный смысл?

На каком базисе утвердиться могли они, когда все поступки мои доказывают противное? Почему в столь темном случае не справились они с наказом великой Екатерины?

Засим обращаюсь: Юнкер Сущов опять отправлен был вперед. За ним вскоре—Комиссия — в полк, в крепость Аккерман.

Здесь 15 дней продолжался от утра до ночи допрос.

Не буду говорить о многих неважных подробностях. Изложу только то, что я видел и слышал сам, находясь дверь об дверь на одной квартире с г. корпусным командиром.

8) Г. корпусной командир объявил офицерам, что те, кои ничего не покажут, будут государем императором взяты на замечание, обойдены и полк раскассирован.

Употребленное здесь имя государя императора, как средство принудительное, я считаю одним из важнейших мест моего Протеста, ибо я вижу ясно, что вышняя власть не желала моего обвинения, но открытие истины. — Какое же право имел г. корпусной командир употреблять это средство?

Это не только я сам слышал, но мне еще сказывали подпоручик Реуд и Венжиноруций.

Начальник 6 пехотного корпуса генерал-лейтенант Сабанеев собственными руками бил рядового до того, что он весь окровавленный вышел из его спальни, равно унтер-офицера Колесникова, рядового и кавалера Шеловского — всех 3-х перед допросом.

Всё это я видел и слышал сам.

Умалчиваю о тех, коих я не видел, оставляю то, что при допросе в комнату корпусного командира приносимы были пуками палки и громкие угрозы какого-то камчатского кнута (конечно, того самого, который употреблен был в Камчатском полку).

Прошу только спросить солдат полка и дело обнаружится со всей ясностью.

10) В комнатах г. корпусного начальника Сущов убеждал к лжесвидетельству рядовых Платонова и Шеловского, обещая, что они будут произведены в унтер-офицеры, что слышал и конвойный мой жандарм Чернышенко.

11) Капитан Бучевский был посажен при допросе под арест на гауптвахту. — Это был второй пример для офицеров после князя Вяземского.

Комиссия, желая моим же Оправданием обвинить меня, делала и тянула наистрожайшее исследование о записке фельдфебеля.

Можно ли, чтобы фельдфебель, склоненный уже к нарушению присяги и показывающий то, чего требовали, стал склонять роту к показанию истины или к показанию того, что могло обличить его? В руках Комиссии и чернила, и перья, и бумага — она могла дать какой хотела толк этому обстоятельству, изобразить его как хотела.

Спрашиваю—мог ли фельдфебель, приехавший из корпусной квартиры после нарушения присяги, склонить людей к противному показанию, который обвинил бы его? Но я говорю о деле, как оно было и почему инако быть не могло и всякой равнодушный к делу судия усмотрит ясно к чему клонились эти спросы, перепросы и разыскания.

Вся 9 Егерская рота и школа ланкастерская, кои были под командою моею, совершенно ничего не показали, кроме рядового Платонова, выкреста из жидов и самого худого поведения, которого Сущов обещал произвести в унтер-офицеры.

12) Одна из важнейших незаконностей—вся очная ставка производилась только при двух членах Комиссии—инвалидном майоре Терещенке и Апасове. Презус был болен. Этого одного уже достаточно, дабы опровергнуть комиссию. Сверх того, обеим им не доверяю я, по причинам, которые представляют ниже.

Офицеры были собраны в одну комнату, по два и по три приходили в Комиссию. Всякой с грозным и важным лицом говорил то, что хотел, а показания прапорщика Якоби доказывает, что всякий вздор принимался за дело важное, ибо когда у него спросили, на чем основывает он свои показания о дружеском обращении майора Раевского с нижними чинами — «На том, — отвечал он, — что я сам слышал, как майор Раевский, подходя к роте, говорил: «здорово, друзья!»

Весьма достаточное доказательство! и вот первоначально от каких слухов началось и постепенно возросло дело до той высоты, с которой решено лишить меня жизни.

Не протестую против того, что корпусной командир на очной ставке при всяком сознании со мной выходил из себя и кричал как на меня, так и на свидетелей. Упускаю из виду то, о чем сказано мной в объяснении противу выписки.

Оставляю и то, что при очной ставке присутствовали и полицейские, и чиновники, и офицеры без всякой надобности вместе. Но обращаюсь к тому предмету, который обнаружил явно те истязания, с каковыми допрашиваемы были нижние чины.

Песельники и прочие солдаты входили в Комиссию по одному на личную ставку.

13) Когда рядовой Шеловский стал ссылаться на свидетельство сперва одного, потом другого офицера, тогда аудитор сказал в присутствии корпусного командира: — «Врешь, там никого не было», — и Шеловский подтвердил: «Никого». Что обнаруживало, как мало Шеловский был приготовлен к моему вопросу; аудитор также, кажется, упустил это из виду и поправил слишком неосторожно.

14) Когда пять человек из песельников показали так, как я уже сказал в объяснении моем против выписки дела, тогда г. корпусной начальник, оставя должное к месту судилища уважение, не взирая на нахождение обвиняемого и обвиняющих, начал кричать, ругать и поносить солдат подлецами, канальями, мошенниками, прибавляя «Я вас» и другими бранными словами, которые не только писать на бумаге, но и говорить неприлично. Засим, уже не в силах будучи удерживать себя, вышел вон.

15) И, выйдя, прислал с квартиры записку, чтобы Комиссия не расходилась пока дело совсем кончено не будет.

Спрашиваю, имел ли право на сие г-н корпусной начальник? Представляю разбору вышнего начальства.

Мне ничего более не позволено было говорить кроме **да** или **нет**, — но мог ли я убеждать, делать доводы и доказывать? По сим то двум причинам присуждение по всем личным ставкам кончилось в несколько часов.

16) По выходе корпусного начальника оба члена начали ругать солдат за то, что они рассердили Его превосходительство.

Юнкера всегда с Сущовым вместе входили в присутствие. Из показания юнкера Михайловского явствует, что он везде был эхом Сущова:

Когда сей говорил — вспыхнет, как пожар, Михайловский повторял — **загорится, как солома!**

Это видно из судного дела. Но когда Сущов вышел, когда я стал уличать Михайловского во лжи по разговору о 3 карабинерной роте 32 полка, тогда он сказал: «Да, вы сказали **если б это случилось в моей роте, то** —,» в другой комнате, в которую дверь была растворена и где находились все офицеры, прикосновенные к делу, раздалось громкое — тс! . . Он поставлен был у самых дверей. Аудитор и члены Комиссии сказали — «Ну, это еще не значит сознание» и дали время Михайловскому оправиться, который и остался при этом показании, не заключающем никакого смысла. После чего присоединены к нему и другие юнкера, кои все вместе поставлены были близ самых дверей, где находились офицеры.

Когда же в отсутствии корпусного командира я стал доказывать юнкерам их ложь, тогда майор Терещенко надменно сказал:— **«Вы много говорите! Оканчивайте скорей, ибо нам для вас здесь не мерзнуть!»**.

Я усмехнулся только, видя, что инвалидный майор принял на себя и вид и тон корпусного начальника, генерал-лейтенанта Сабанеева. Но когда оба члена, забывши обязанность свою, присягу, честь и совесть, начали писать не то, что говорено, а то, что им хотелось, тогда я решительно объявил Комиссии, что более отвечать не могу, что протестуюсь против дела и с сим вместе оставил Комиссию.

17) Вот многие причины, на коих основываясь, я имею полное право опровергнуть производство всего дела.

Члены Комиссии пошли к г. корпусному начальнику, куда потребовали и меня. Корпусной начальник спросил у меня довольно умеренно: — «Кого я считаю пристрастным?»

— Не зная говорить двуязычно, я отвечал: — «Никого, кроме вас самих!»

Его превосходительство на это не сказал ни слова, но велел продолжать при себе очную ставку. Здесь то включили статью о деспотизме с пустозвучными доказательствами Михайловского и Перхалова.

Я не подписал черновой очной ставки (и даже не прочитывал), но корпусной начальник, недовольный моим справедливым негодованием, в присутствии членов, своих адъютантов и людей называл меня **преступником,** поведение мое мерзостным, угрожал **крепостью** и, делая колкости, говорил: — «Вы не **Катон** и не **Брут»**. К чему здесь упомянут Катон и Брут мне неизвестно.

18) Подобные грубые обиды, неуважение к званию моему, нарушения личных прав означают личную ненависть и мщение, а не беспристрастный суд. А так как г. корпусной начальник был сам главой суда, то не потеряла ли Комиссия сим, по нанесенным мне личным оскорблениям, право судить меня? На другой день, когда мне прочли очные ставки, тогда я объявил, что показание людей внесены несправедливо, что все, кроме Платонова и Шеловского, сознались со мною, даже некоторые говорили, что они и по следственному делу так показывали.

Новые угрозы и повелительный тон и, наконец, собственный рассудок заставил меня подписать то, что сделано против совести, чести и закону, но, подписываясь, я решительно сказал: что буду протестовать против дела.

Если бы Комиссия была права, она тут же потребовала у меня объяснения: почему я не хотел отвечать на очных ставках, на что я хочу протестовать? Беспристрастное начальство при окончании протеста увидит, в каких я был обстоятельствах и что воспоследовать могло от подобного сопротивления.

19) По двум моим ссылкам не допрошены ни 6-я Егерская рота, ни 9-я. Что опущено единственно потому, что Комиссия уверена была, что людей к показанию склонить невозможно будет и дабы не обнаружить явно бессовестной лжи.

20) Здесь Комиссия опять допустила Сущова свидетельствовать за то время, когда он находился под судом. По пожарному делу я имею одно и верное оправдание т. е. следственное производство, которое подал по начальству комендант креп. Аккерманской подполковник Кюрто. Если оно будет вытребовано, то начальство легко увидит, что включение о нем был только предлог запутать меня в чем-нибудь более. О пристрастии прочих допросов как-то: 1-й карабинерной роты, рот 2-го баталиона и пр. умалчиваю. Достаточно заметить, что унтер-офицер Грузин, на ком лежало дело Цыха и фельдфебель 9 роты Иванов перед самым судным делом были уволены в домовой отпуск, что фельдфебелю с нижними чинами не дали очной ставки и нижним чинам между собой, т. е. песельникам, кои показывали различно в одном и том же случае.

21) При допросе офицеров 2 баталиона на очной ставке находились не только все офицеры вместе, но баталионный командир майор Барсуков и оба адъютанта г-на корпусного начальника.

Сущов и в этом баталионе был послан вперед, где, как видно из показаний прапорщика Нера 2, напоминал офицерам о том, что говорить нужно.

Впрочем, если описывать подробно все производство дела по полку, то это будет бесконечная цепь несправедливостей, коею связаны были права и голос мой, ибо вместо правосудия председательствовала там воля пристрастного начальника.

Комиссия вскоре возвратилась в корпусную квартиру, куда вытребован был вернувшийся из отпуска фельдфебель.

Очная ставка производилась на квартире корпусного командира. Фельдфебель начинал сознаваться, что видно из дела, но в то время аудитор тотчас дал знать корпусному командиру и фельдфебель с трепетом по вопросам корпусного командира отвечал: «говорил!»

Юнкер Екульский в отсутствие корпусного начальника перед Комиссией совершенно сознался во лжи и отрекся от своих показаний (что видно из очной ставки), но когда корпусной командир, коему дали знать, вошел с шумом, не говоря ни слова, не расспрашивая дела, закричал на меня — «бунтовщик» и с шумом, повторяя прежние, обидные выражения, — сам последние два пункта не спрашивал, но диктовал, тогда оробевший юнкер подтвердил два пункта; корпусной командир вышел. Тем кончилось это заседание.

22) Вот доказательство того своевластия с какими не судил, но приготовлял меня к приговору г-н корпусной начальник.

23) И, наконец, г-н корпусной начальник угрожал разжаловать унтер-офицера Ревазова в рядовые, ежели он не подтвердит показаний двух братьев Михайловских, а г. аудитор Бобышев в выписке из дела сказал, что он отперся, тогда как он просто не подтвердил. В отметке сделано, что он за дурное поведение выключен, но не сам ли корпусной командир за месяц перед тем представил его к производству в офицеры, проведя сперва при корпусной квартире в унтер-офицеры?

Вот 23 беззаконных поступка в производстве столь малого дела. Конечно, я многое упустил, многого еще не знаю, находясь в таковом заключении, но полагаю, что и этого слишком достаточно для доказательства вышнему и беспристрастному начальству:

Это дело мое было в руках тех людей, кои имели целью обвинить, и строгим приговором заглушить голос, требующий справедливости.

Ибо я два или три раза говорил Комиссии военного суда, что если это не правосудие, а воля вышнего начальства — начальства армии, — то я буду жаловаться самому государю императору.

Но корпусной начальник гораздо лучше это упредил и устроил он просто. Заключа меня на гауптвахту, особенным повелением запретил мне писать, исключая родственникам, и то распечатанные письма отсылая ему. Я спрашивал дежурных и караульных офицеров могу ли я писать к вышнему начальству? Мне начисто отказали, отзываясь посланным на то воспрещением.

Воспрещение писать к начальству, когда еще дело не кончено, не есть ли злонамерие и несправдливость?

Сверх того: вопросные пункты писались не в Комиссии, но в квартире корпусного начальника; в квартире его содержание некоторых переменялись после ответов. Я уверен даже, что члены узнавали о чем спрашивают только по ответам моим, кои я давал

или читал в Комиссии. И если спросить некоторых из членов в чем состоит дело мое, то они не знают или знают по одной только сентенции, которую подписали.

Вот судилище, которое так скоро, так хладнокровно решило участь мою! Комиссия не разыскивала, кажется, дела, а всё старание употребила приискать 2-х свидетелей под каждое показание!

После отправления дела подпоручик Венжикоруцкий, когда я стал упрекать его в нелепостях, кои показал, ответил: «Ах! если бы знали, что со мной делали? Сущов еще не к тому меня склонял, корпусной командир говорил, что я пропаду, если не покажу». . . и проч. и проч. Это откровение доброго офицера обнаружило, какую личину носил Сущов, будучи орудием сей властной воли и в чем состояло его ремесло в продолжении дела.

Презус суда подполковник Албучев на вопрос мой почему комиссия подписала столь несправедливую сентенцию ответил: «Что же было делать? Если б мы не подписали эту сентенцию, то корпусной командир положил бы самое строгое мнение!» Как будто бы Комиссия должна была для облегчения моего подписывать приговор смерти! и сообразовываться не с законами, но с волей начальника, который этим одним доводом ввел в несправедливость людей, кои чувствовали, что они делают несправедливость.

Капитан Зотов (что ныне майор), член Комиссии, на подобный же, сделанный мной вопрос, отвечал: — «Презус суда и я не хотели подписывать этой сентенции. Аудитор раза три ходил к корпусному командиру—. . .—Но почему же вы подписали? — Потому, что не хотел быть **за это обойден**. . . Треснул себя по лысине и подписал!»

Вот самый законный довод! Вот каким средством Комиссия вынуждена была к подписке этого дела. Где производились угрозы самим членам, там свидетели, особливо нижние чины, не должны ли были трепетать? Здесь надо заметить, что если члены не хотели подписывать сентенции, то она составлена была не ими, а им, конечно, только подписать приказано.

Наконец, оставя собственные рассуждения по сему предмету, я заключаю, что во всем этом деле **не закон был судья, но судья законом,** как сказано в печатном катехизисе генерала Сабанеева для солдат.

Когда мне прочли сентенцию военного суда и я сказал Комиссии, что буду жаловаться и протестовать, тогда аудитор сказал мне: «вы не можете ни протестовать, ни **жаловаться против сентенции военного суда, Комиссия сама за себя** отвечает»; но я не имел намерения жаловаться против сентенции, но против членов, кои подписали оную.

Но (как я выше сказал) все меры были взяты по сему предмету; особенное секретное повеление дано было как коменданту, так и должностным офицерам. Вышнему начальству, конечно, небезызвестно под каким жестоким арестом находился я здесь: мне запрещено было всякое сообщение и разговор, с каким бы то ни было лицом, и в продолжении 19 месяцев — два с половиной только я имел право ходить из моего заключения по крепости на тех же строгих правилах: двойной внутренний и наружный караул охранял меня, а внутренний страж и ночью даже находился со мной в одной небольшой и неудобной комнате.

Когда я говел, тогда за двойным конвоем дежурного офицера и унтер-офицера конвоировали меня в церковь.

Все, видевшие меня, показывали на меня, как на ужаснейшего преступника в государстве!

Конечно, самые гнусные и черные слухи распущены были, ибо все обегали меня. Жаловаться я не мог. Перья и чернила были у меня отобраны. К кому? Как я мог жаловаться? И самого слугу моего не подпускали без конвоя.

Отдаю на суд высшего начальства, не как строгих исполнителей законов, но как человеков, не потерял ли бы самый мужественный и невинный человек при подобных мерах всю бодрость свою? Кому я мог жаловаться?

Обвинители мои были моими судьями, но я не терял надежды оправдаться и с твердостью переносил всё. Я не мог знать всех мер привлекаемых против меня, следственно, мог ли упорством доказать мою правость и неправосудие судей?

За всякий ответ, за всякую улику, за всякое открытие несправедливости получил бы я возмездие сторицей: и судьи, и свидетели были в руках негодующего начальника! Не имел ли бы он силы и средства опровергнуть, доказать и найти еще несколько судей, подобных Сущову и Михайловскому?

Жалобы мои должны были проходить через руки моих обвинителей, мог ли я быть уверен, что они дойдут верно?

Всякое упорство в подписке дел сопричислено бы было к числу прежних (так называемых) преступлений и послужило бы к подтверждению обвинений. Кому бы в этой борьбе предубежденное начальство должно было дать доверие? Корпусному командиру и всем членам суда или обвиненному офицеру? Государь император, вверяя производство суда самому обвинителю, мог ли думать, что доверенность его нарушится во всей мере?

Не доказывает ли моей невинности уже то, что все солдаты под присягой и неоднократными истязательными допросами ничего не показали, а те, кои показали из боязни или ласкательства, отперлись на очной ставке. Самое число свидетелей, взятых из тех же рядовых, не доказывает ли, что они не могли слышать того, чего не слышали их товарищи.

Я ожидал **выписки из судного моего дела,** я ее подписал и начал Протест, но что же произошло из этого? За первую статью: **о приглашении к переходу за Днестр** — в 11 часов ночи явился в мою темницу ко мне дежурный штаб-офицер Кравченко с дежурным по караулам офицером штабс-капитаном Гриневичем, с грубым видом ввели двух солдат и начали делать обыск, забрали все, что я имел, кроме постели и одежды, сбросили простыню и наволочки, хотели пороть тюфяк, но удовольствовались одним передвиганием и сбрасыванием, арестовали моего слугу, отправили под караул, — и, наконец, забрали все, что я имел, кроме одежды и постели и забросили меня в таком положении.

На другой день возвратили мне все вещи, не найдя ничего, чем бы мне нанести новое оскорбление и привязку, кроме стальной печати, которую 4 года назад привез мне из Тулы слуга мой Матвей Красников. Как таинственную эмблему чего то, заключающую в себе важные тайны, с прочими, прежними бумагами, отправили далее. Этого недостаточно. Слугу моего совершенно

отняли и отправили при военной команде в дом к моему отцу. Я остался без прислуги, без повара, без средств, к которым от детства имел я привычку.

Что я мог писать после этого? Я ожидал, что за подобное ж объяснение на меня наденут кандалы, а потому то продолжение моего **объяснения против выписки** было слабо, ибо, признаюсь, после этого поступка я потерял много того хладнокровия, с коим до этого сносил мое заточение и наказание.

Прошу покорнейше вышнее начальство бросить человеколюбивый взгляд на мое положение. Я служил государю и отечеству 11 лет, я видел войну, выслужил чины, отличия военным трудом и ревностью — и вдруг уничтожен и смешан с (разрядом) высочайших преступников. Я не знал, что происходило вокруг меня и подобные поступки мог почитать волей вышней власти. Но когда мне прочли сентенцию и облегчили мою участь отправлением на гауптвахту, тогда я имел время обдумать все, удостовериться, что вышняя власть не желала обвинения моего, но открытия дела, тогда я решился дожидаться приезда беспристрастного и великодушного начальника и ему вверить жалобы мои.

Мне дозволено оправдываться и потому безбоязненно излагаю кратко ход моего дела, прошу убедительно вышнее начальство внять голосу, просящему не помилования, а правосудия.

Подсудимый 32 Егерского полка майор Раевский

№ 1. Гауптвахта крепости Тираспольской, 1823 год. Сентября, 1 дня.

---

3. ОПРАВДАНИЕ

С милостивого разрешения высочайше учрежденного комитета осмеливаюсь представить оправдания мои относительно судного дела, произведенного надо мною при 6-м пехотном корпусе; и в сих же оправданиях изложить некоторые пояснения на запрос, мне данный, о управлении моем дивизионной школою при 16 дивизии...

Я всегда благоволил перед законами и Протесты мои суть неоспоримое доказательство моей беспредельной веры в правосудие государево и законы, нам данные.

Вся неправильность мнений состояла в отзывах о власти частной, о деяниях и поступках частных. Вот почему, разделяя все изложение на 3 части, в первой поместил я некоторые примеры, доказывающие, какие существуют в том кругу, в котором говорил я, понятия о законах, чести, нравственности и проч. — не как донос, но как предисловие, к отзывам моих служащие, во второй: **о словах,** на коих основали понятие о мнении моем, в третьей **о мнении...**

Понятие о законах

— «Смеешь ли ты быть прав, когда генерал отдал тебя **под суд?»** — говорил Томского пехотного полка капитан Готовцов, Презус суда, дивизионному писарю, который совершенно оправдался по суду.

— «Изорвать эти вопросы! дать ему такие, по которым бы он непременно был виноват. Я не хочу за него отвечать перед Генералом!»

Того ж полка штабс-капитану Гуленко был возвращен рапорт, как дерзость, в котором осмелился он по запросу баталионного командира сослаться на высочайший приказ и другие постановления.

Беру смелость заметить, что во всех почти полках высочайшие приказы и другие постановления хранятся в полковых канцеляриях, как тайна.

33-го Егерского полка поручик Коломейцев арестован был **именно** за то, что не хотел принять гнилой муки из Тираспольского магазейна для батальона. «Я тебя продержу под караулом до тех пор, пока ты не поешь все эти 25 четвертей, — сказал ему, сажая под арест, генерал Желтухин.

Сия весьма важная статья, к несчастью слишком справедлива. Солдаты при тягости караулов должны были есть несколько месяцев хлеб, которого не смел бы дать прикащик домашним животным у богатого помещика. — Я это доказать могу.

Юнкер Сущов находился полтора года слишком в побегах. Его поймали в России, посадили в острог, потом, по объявлении своего звания, прислали в полк, там предали суду. Лекарь дал свидетельство, что он учинил побег в сумасшествии и довольно: он оправдан, и опять принят юнкером в тот же полк. Какой пример?

34-го Егерского полка капитан Гренцевич, разсердясь на часового, велел подать палок и тут же, на часах, наказал его. А Колыванского пехотного полка полковой командир, произведенному в **тот же полк** из фельдфебелей, подпоручику Левданскому дал 40 или 50 тесаков, о коем не только высочайший, но приказ по армии и в полку уже был только отдан. Сверх того, сей Левданский имел **георгиевской крест.**

Денщик 34-го Егерского полка прапорщика Казанцова бежал и явился с жалобою к начальству. Его отдали под суд. Бригадный генерал Ведсмеер, рассматривая дело, заметил, что он осужден к наказанию шпицрутенами не по вине и к тому еще, что дело подписано как презусом, так и ассессорами разными чернилами. Он навел справку и оказалось: что дело производил писарь и, кончивши, отнес его для подписки на квартиру гг. членов, что ни один член ни разу не был в Комиссии, что денщик ни одного из них не видал.

Смею утвердительно сказать, что таковым образом во всех полках производятся судные дела над нижними чинами и потому никогда не раскрыто истинной причины столь необыкновенных побегов в нашем корпусе.

В 32 Егерском полку из 2-го батальона в один день бежал 21 человек. Мне предписано было расследовать это дело. Я открыл его со всеми подробностями и навлек на себя не только жалобы виновных ротных командиров, но негодование самого начальства. Дело впоследствии велено было переследовать и новая Комиссия никого не нашла виновным. Натурально ли, чтобы эти люди, из коих половина служила войну, другая состояла из отличных учебных солдат и ефрейторов, бежали безо всякой причины? В Екатеринбургском полку бежало в один месяц 140 человек, в 31-м

Егерском — 33 в один день, и причин не раскрыто. Их расстреливали, но побеги не уменьшались, только сделались искуснее.

Месяца 3 или 4 назад в 34-м Егерском полку, кажется, из одной роты бежало в один месяц 45 человек. Адъютант генерала Сабанеева послан был на следствие, узнал дело, раскрыл причины. — Но по отъезде корпусного начальника дело велено было переследовать и следствие, произведенное подполковником Липранди, адъютантом его, оказалось несправедливо.

Я бы указал на Серково, Камчатское, Охотское и другие селения, цветущие и ежедневно возрастающие на правом берегу Дуная, как на следствие сих судов и весьма немногих других причин, но я не смею входить в толико тонкие исследования. Я бы почел себя особенно счастливым, и неволю мою вдвое легче, если бы в моем положении высочайше учрежденный Комитет дозволил мне изложить мнение мое: **о прочном основании Судебной части в полках** и повелел представить на усмотрение его.

Еще двух месяцев не прошло, как дивизионный начальник 17 дивизии, подъехавши к 1-му батальону 34-го Егерского полка, батальонному командиру сказал: «Сдери с солдат шкуру от затылка до пяток, а офицеров переверни кверху ногами. **Не бойся ничего, я тебя поддержу!»** Вот законы! и майор Гимбут, который уже был под судом за жестокое обхождение с нижними чинами, в точности исполнил приказание сие. Я не смею при толико важных особах говорить о страшных и беззаконных поступках его, но при снятии с меня ответов по новому делу, я обо всем объявил господину корпусному начальнику.

Понятие о чести

33-го Егерского полка один офицер по общему свидетельству за дурное поведение был исключен из службы. Полковой командир сдал полк другому и офицеры, раскаиваясь, что лишили чести товарища без всяких причин, дали ему новое свидетельство в отличном его поведении в полку; офицер представил его и требовал исследования,—тогда по новому соглашению ли или приказанию они подписали **третье,** что он дурного поведения. Того удивительней случилось в Томском полку при производстве известного дела полкового казначея Мельникова. По требованию дивизионного начальника большая часть офицеров подписала свидетельство в том, что **Мельников всегда был дурного поведения:** то-есть казначей полка, избранный ими.

32-го Егерского полка капитан Цых, подрезавши печать или нижнюю доску ящика, похитил своей роты все артельные деньги, и в то же время написал фальшивую расписку за почтмейстера и отослал к майору Загорскому, намереваясь утаить должные ему 150 рублей.

31-го Егерского полка адъютант послал солдата украсть деньги у одного своего знакомого и солдат принес ему 800 левов.

34-го Егерского полка поручик Палешко поссорился с прапорщиком Алексиано, вызвал на дуэль, потом пошол жаловаться. Алексиано представил вызывную записку и тем оправдался перед полковым командиром. Палешко взял несколько молодых офицеров, напоил их, вломился ночью в квартиру Алексиано, забил ему рот,

закрутил голову простыней и бил его кулаками и палками до тех пор, пока молодой и слабой офицер не потерял чувств. И этому Палешко обещано покровительство от начальства гласно. Умалчиваю о кулачных распрях... они весьма обыкновенны. Если развернуть дивизионного начальника 17 дивизии приказы, то сия статья наполнилась бы несколькими десятками примеров более.

О нравственности

Один офицер 32-го Егерского полка от пьянства испустил дух на месте.

Охотского пехотного полка майор Вержейский, за то, что унтер-офицер Кочнев солдатку его батальона, с которой он был в непозволительных связях, назвал непотребной женщиной, дал 700 ударов палками и тесаками по обнаженному телу и когда тот не кричал, велел принести несколько пригоршней соли и, втерши ему в спину, дал еще 300 ударов: всего 1000.

За сие же унтер-офицеру Матвееву, кавалеру, дал 300 ударов. В следственном моем деле я уже объявил, что оба унтер-офицера были закованы и отосланы в 33 Егерский полк за то, что жаловались генералу Орлову.

Дело Селенгинского полка капитана Борозды и 34 Егерского капитана Созоновича. Оба противуестественные, черные и почти неслыханные, но совершенно противоположные, уже решены.

Переведенный из Екатеринбургского полка в 31 Егерский майор Горбачевский, похитя у своего приятеля шкатулку с деньгами, отнес ее на кладбище, разломал долотом и тем же долотом, на том же кладбище, зарезал солдата!

Я бы мог представить более ста таковых примеров, но это значило бы входить в донос, которого я боюсь и чуждаюсь. Это значило бы тронуть лица, коих мне оскорблять не следует. (В 6 корпусе и теперь от 20 до 30 офицеров находится под судом и следствием. Это число редко уменьшается). Я изложил свежие обстоятельства, скользнувшие в памяти моей, как доводы. В оправданиях трудно изобразить уничижение офицеров и презрительное с ними обхождение начальников. Приказы, отдаваемые по 17 пехотной дивизии, суть письменные доводы, которые в подкрепление слов моих привести могу. Не мое дело определять, где начало, где точные причины сих действий...

О словах

При таковых-то понятиях о законах, чести, нравственности началось дело мое.

Орудиями обвинения избраны были юнкера, переведенные по жалобе их на меня из Дивизионной школы в Корпусную. Если не токмо подчиненные, но вышние офицеры, как я изобразил в первой статье, так мало ценили честь свою, такое имели понятие о законах, чего ж было ожидать от сего сбора бедной польской шляхты и молдаванских мазил, возросших в нищете и уничижении и закоснелых от детства в черных пороках и разврате, для которых честь, благородство и верность присяге были знаки или письмена жрецов египетских? Для половины сих свидетелей не нужен был страх солдатских лямок или обещание чинов офицерских — сахар

или розы заставили бы их говорить против отца и матери... **Членами Комиссии** были два линейных офицера, один подавший в Гарнизон и 4 инвалидных, из подвижных рот, при корпусе состоящих, избранные и назначенные самим корпусным начальником. Мне кажется, если бы генерал Сабанеев хотел соблюсти беспристрастие, или вид справедливости, не мог ли он требовать членов в Судную Комиссию из другого Корпуса? . .

В чем состояло обвинение? В словах и суждениях о некоторых деяниях господина Корпусного начальника в Кишиневе, кои дошли до него в искаженном и преувеличенном виде. Осмеливаюсь сослаться на начало дела моего и Протесты, мною поданные. Если бы я был опытен, если бы я более знал людей, если бы я действительно был человек вредный, но умел скрывать помыслы мои, и в суждениях более смотреть на лица и последствия, на силу, а не на законы, конечно б столь ужасная буря не разразилась надо мною и слишком четырехлетней неволею и бедами не заплатил бы я за чистосердечие, любовь к добру и веру в законы. . .

Один только взлелеянный и закоснелый в пороках человек мог равнодушно смотреть на подобные предметы. Если сильно чувствовать, если иногда при избытке сих чувствований невольно изражать свое мнение или негодование есть вина или заблуждение, я прошу снисхождения в сей вине или заблуждении: основанием оных не было зло. . .

Кто были свидетели? В полку: 3 офицера, из коих два уже преданы суду, не за мнение. Первой из них штабс-капитан Михаловский за растрату артельных и прочих солдатских денег, за незаконные поступки с нижними чинами и проч.; другой — Цых, о котором упомянул я в 1 статье; в школах: оный — упомянутый мною Сущов и за ним несколько юнкеров. Люди, большей частию заклейменные бесславием. . .

При всех усилиях обвинить меня, при всех мерах жестоких и обольстительных, какой успех имели обвинители между солдатами полковой и дивизионной ланкастерских школ? Вековыми опытами дознали, что обет, на вере основанный, крепче и потому-то, во всем моем деле солдаты составляли краеугольный камень, о который все попытки обвинителей и клевета дробились. . .

4. РАССУЖДЕНИЕ О РАБСТВЕ КРЕСТЬЯН И НЕОБХОДИМОСТИ СКОРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Вступление

Назад тому года с два попалась мне в руки тетрадь о необходимости рабства в России. Четкими словами имя Растопчина (как сочинителя) было означено на обертке.

Странно и досадно русскому читать такой сброд мыслей и суждений. — Если можно допустить, что сочинитель рассуждать умеет, то все, что можно было понять из этого хаоса литер и слов, состояло в том, что господские крестьяне пользуются всеми выгодами, каких и самый век Астреи не представляет нам. Между тем эти щастливцы в изорванных рубищах, с бледными, изнуренными лицами и тусклыми взорами просят не у людей, ибо владельцы их суть тираны, но у судьбы пищи, отдыха и смерти.

Равенство в мире быть не может, ибо физические и нравственные причины суть уже тому причиною, —но кто дал человеку право называть человека **моим и собственным?** По какому праву тело, имущество и даже душа одного может принадлежать другому? Откуда взят закон торговать, менять, проигрывать, дарить и тиранить подобных себе человеков?

Не из источника ли грубого, неистового невежества, злодейского эгоизма, скотских страстей и бесчеловечия? — Взирая на помещика русского, я всегда воображаю, что он вспоен слезами и кровавым потом своих подданных, что атмосфера, которою он дышит, составлена из вздохов сих нещастных, что елемент его есть корысть и безчувствие.

Предки наши, свободные предки, с ужасом взглянули бы на презрительное состояние своих потомков, они в трепетном изумлении не дерзали бы верить, что русские сделались **рабами.** И мы, чье имя и власть от неприступного северного полюса до берегов Дуная, от моря Балтийского до Каспийского дает бесчисленным племенам и народам законы и права, мы, внутри самого нашего величия, не видим своего унижения в рабстве народном. Какое позорище для каждого патриота видеть вериги, наложенные на народ правом смутных обстоятельств и своекорыстием. Зло слишком очевидно, чтобы самый недальновидный зритель не постигал его.

Но, руководимый собственным опытом и вниманием на состояние господских крестьян в России, я решил самым кратким образом изобразить то, что называет необходимостью и даже

благом для народа русского (я говорю о господских крестьянах). Цель моя есть: 1) открыть глаза и вывести из заблужденья не знающих, 2) выставить на сцену софизм безчувственных егоистов и тиранов народных.

Странно и бесполезно бы было, если б я стал опровергать мнение и пустые доказательства сочинителя о необходимости рабства русских крестьян, вышедшие под именем Растопчина: верить не можно и не должно, чтобы человек мыслящий, как человек, мог написать такой вздор. Сочинитель, конечно, не видал, не знал и едва ли слышал, в какое ужасное состояние повергнута большая часть крестьян господских.

Нельзя без содроганья смотреть на быстрый переход от невинности и простоты к закоснелости, развращению нравов народа русского.

Угнетение произвело в них отчаянное бездействие. Пример невежествующих или развращенных дворян поработил и самые чувства их к одной цели: пьянство и, что всего вреднее, что самые законы, коих исполнители суть дворяне, весьма слабо ограждают от насилия безопасность, дом, имения, жен, дочерей и самую жизнь бедных и нещастных крестьян от владельцев. Екатерина уничтожила слово рабство на бумаге, почему же не уничтожила его сущности дела? Весьма справедливо сказал Гельвеций, что дворяне есть класс народа, присвоивший себе право на праздность. Но дворяне наши, позволяющие себе все и запрещающие другим все, есть класс самый невежествующий и развращеннейший в народах Европы.

Ниже сего я примерами изложу сколь вредно рабство для народа русского, рожденного быть свободным. Александр в речи своей к полякам обещал дать конституцию народу русскому. Он медлит, и миллионы скрывают свое отчаяние до первой искры. А если бы его взоры могли обнять все мною сказанное, он бы не медлил ни минуты.

Досадно и смешно слышать весьма частые повторения, что народу русскому дать Свободу и права, ограждающие безопасность каждого, рано. — Как будто бы делать добро и творить суд правды может быть рано! **Ум может стариться, как и тело** — сказал Аристотель. Точно так законы в государстве. Россия, весьма быстро восшедшая на степень своей гигантской славы из своего прежнего хаоса и управляемая прежними законами с сильно поврежденными переменами, требует необходимого и скорого преобразования. Воинственный и коммерческий народ требует большой деятельности. Необходимы свободные права. Просвещение, как бы внезапно вторгнувшееся в умы граждан, заставило многих устремить взоры свои на **благоденствие** отечества, ибо могущество его при рыхлом основании может также скоро обратиться в ничтожество, как и степень возвышения его. Причина зла — дворянство русское, погрязшее в роскоши, разврате, бездействии и самовластии не требует перемен их, — с ужасом смотрит на скорую необходимость потерять тираническое владычество над нещастными поселянами. Но, граждане! тут не слабые меры нужны, но решительность и внезапный удар! — В Греции ареопаг осудил на смерть ребенка, который выколол глаза птице. Я могу более

тысячи примеров предложить, где злодеяния помещиков превышали всякое вероятие.

При самой мысли невольно содрогаешься о правилах и самоуправии искаженных наших патрициев. Сколько уголовных преступлений без окончания решения сокрыто в архивах в отношении преступлений дворян против крестьян?! Я изложу вкратце главные причины, побуждающие к скорой свободе поселян и перемены образа управления*.

1) Сколь бы сильно законы не ограждали право несчастных, слабых поселян, но **подданный** своему владельцу, он остается всегда в раболепном унижении и низость его состояния делает его подобным бессловесным. **Не человек созревает для свободы, но свобода делает его человеком** и развертывает его способности, ибо почти справедливо заключает Аристотель, что добродетели не были свойственны рабам**.

2) Продажа детей от отцов, отцов от детей и продажа вообще людей есть дело, не требующее никаких доказательств своего ужасного и гнусного начала. Отсюда возрождается и бесчувствие поселян господских.

Может ли сын уважать отца своего, когда оторванный от него из колыбели он привык видеть над собою сильнейшую власть и участь свою и одичалость***), зависящую единственно от помещика. Как часто сын по приказанию господина должен палками или розгами сечь угнетенного отца своего. При единой сей мысли чувствительное сердце требует скорого действия и уничтожения злодеяний!!...

3) Гнусное и насильственное заведение сералей сделалось с некоторого времени обыкновением подлых дворян русских. Крестьянин, не уверенный в собственности приобретенного им имущества, равно не уверен в принадлежности себе жены и юных дочерей своих. Единственное достояние, его семейство — делает его часто жертвою гонений. Наружная красота жены требует отдачи его в солдаты. Красота дочери лишает его семейных удовольствий, ибо от него насильственно отрывают подпору его старости.

В Курской и Воронежской губерниях я видел часто старцев в сединах, трудящихся в кровавом поте лица, без отдыха, для того, чтобы седой прелюбодей — господин имел способы купить хорошее платье для наложницы своей: его дочери. Отсюда начинается развращение нравов.

Каждое семейство крестьян встречает и провожает солнце в печали. Каждое почти семейство помещиково заключает содом

---

*) ПРИМЕЧАНИЕ: поселяне русские всегда были свободные, но необходимость порядка и недостаток прав сделали их на время рабами и время это длится уже столетия.

**) ПРИМЕЧАНИЕ: голос некоторых невежд «еще рано, еще умы не готовы» значит или выражает отголосок деспотизма и малодушие. Делать добро и действовать благородно гораздо лучше рано, нежели поздно.

***) Каменский упал под топором.

сплетней и внутренних несогласий. Но польза ли дворян? права— нет!

4) Дворяне русские есть что-то варварское, но не азиатское. Вообще роскошь азиатская заключается в числе наложниц, уборе оружия и пышной одежде. У нас все это искажено и увеличено.

Определить можно, что посредственной помещик держит у себя музыку, певчих и множество тунеядцев под именами дворецких, конторщиков, камердинеров и пр. пр.: так, что верно можно предположить, что с 500 душ 50 лучших людей составляет дворню, — народ самый развращеннейший, тогда как эти 50 человек могли бы обрабатывать землю и приносить ощутительную пользу для отечества*.

В массе здесь начинает теряться начало политической экономии. И фабрика и все заведения вообще не суть полезны, когда мы не обратим взгляды на экономию рук человеческих. Я видел по нескольку десятков девок, трудящихся над плетением кружев и вязанием чулок, тогда как одна таковая другим и честным ремеслом могли бы зарабатывать вдвое и втрое более. Фабрики и заведения, приводимые в действие рабами, никогда не принесут такой выгоды как вольными, ибо — там воля, а здесь — принуждение, там — договор и плата, собственный расчёт, выгода и старание, здесь необходимость, страх наказаний — только.

5) Как бы сильно законы не ограждали и сколь бы правительство не обращало внимания и попечения о благосостоянии крестьян, но правосудие, находящееся в руках дворянских единственно, всегда будет употребляемо в защиту собственную, а не в утешение слабейших, по самому праву натуральному.

Крестьянин, не имеющий никакого голоса и не имеющий доносить и жаловаться и быть свидетелем на своего помещика, **может ли созреть для свободы?** Нет, отягощение приводит его в отчаяние, бездействие и невнимание к собственному. Не взирая на нищету семейства, на собственную наготу, он пропивает первые попавшиеся ему деньги, желая на минуту усыпить в скотском бесчувствии свое ужасное положение.

Полуразвалившиеся хижины их представляют первобытные поселения варваров. Безмолвное повиновение, ожесточая его, не приводит его к другому способу пропитать и удовлетворить нужды свои, как чрез грабежи и воровство. — Отсюда проистекает— начало уголовных преступлений**.

---

*) **ПРИМЕЧАНИЕ:** из этого числа надо исключить имения богатых бояр русских и почти неприметное число людей благомыслящих в среднем классе, где поселянин платит небольшой оброк без всякого отягощения.

Для сих последних свобода и теперешнее их состояние не будут иметь различия.

) **ПРИМЕЧАНИЕ: по губерниям Курской, Орловской и Воронежской воровство есть вещь весьма обыкновенная. Я знаю лично помещиков, кои принуждают к нему своих поселян и в случае открытия преступления суть их вернейшие защитники и ходатаи.

Безвременные и чрезмерные работы, отягощая все физические силы человека, изнуряют его преждевременно и открывают путь к ранней смерти. Засим, несоблюдение правил и обрядов церковных (ибо они часто бывают принуждаемы работать в воскресные и праздничные дни) послабевают силу веры: одну опору и утешение человека, ибо, не имея времени исполнить долг христианский, он непременным образом отвыкает от священной обязанности, и, будучи поврежден первыми началами, впадает в ужаснейшее положение грубого безверия.

6) Хлебопашец в принуждении может ли достигнуть когда-либо до усовершенствования искусства земледелия? Тем паче, когда вся собственность его принадлежит господину? И если помещик учит грамоте некоторых из подданных своих, то не для чего иначе, чтобы иметь то же употребление, какое должен иметь в виду берейтор, обучающий лошадь. Как часто последняя жатва пропадает у нещастного кресьянина за непогодою потому, что помещик мыслит единственно о исполнении каких-нибудь проектов. Винокуренные заводы, большей частью производимые в действие подданными, служат решительным средством к их гибели, а роскошь помещиков совершенно довершает (при потере экономии политической) упадок внутреннего промысла и коммерции.

Наконец, скажу вместе с неподражаемым Монтескье: «что люди здесь имеют один удел с бессловесными: внутреннее влечение, повиновение, казнь. — Нельзя отговариваться природными чувствиями: почтением к родителю, любовию к детям и женам, законами чести, здоровьем: приказ отдан и должен исполниться».

Заключение

Аристотель не может верить, чтобы добродетели были свойственны рабам и весьма справедливо. Причины, изложенные здесь, не требуют ли побуждения к скорому общему преобразованию? и не имеют ли права упрекать нас иностранцы в варварстве? Благоденствие нации не заключается в благоденствии **нескольких** сотен людей. Протекшее время Екатерина, послабя все пружины в махине государства, очевидную готовила нам гибель. Посеянные ею семена зла и разврата, пустившие глубокий корень, не представляется иным: плоды самые ядотворные в царствовании Александра. Нет, не честолюбие увлекает меня на поприще деятельной жизни, да любовь есть страсть минутная, влекущая за собой раскаяния, — но патриотизм, сей светильник жизни гражданской, сия таинственная сила управляет мною! Могу ли видеть порабощение народа, моих сограждан, печальные ризы сынов отчизны, всеобщий ропот, боязнь и слезы слабых, бурное негодование и ожесточение сильных и — не сострадать им? О Брут! о Вашингтон! я не унижу себя. Я не буду слабым, бездушным рабом, — или с презрением да произносит имя мое мой ближний!...

5. О СУЩЕСТВЕ ЗАКОНОВ МОНТЕСКИЕ

Опровержение случайного творения. Следственно—есть вина первоначальная, и законы суть отношения, находящиеся между ею и разными существами, и отношения сих разных существ между

собою. — Каждое разнообразие есть **единообразие,** каждая перемена есть **непременность.** К чувству своей слабости человек присоединил бы чувство своих нерв, почему второй естественный закон был бы тот, который заставил его искать своего пропитания.

Но признаки **взаимного** страха скоро заставили бы людей сблизиться. — Сверх того, прелесть, внушаемая взаимно обоими полами, своею разностию умножила бы удовольствие и естественное прошение, всегда ими друг другу делаемое, — было бы третьим законом.

Желание жить в обществе есть четвертый закон естественный.

Люди, вступая в общество, теряют чувствие слабости, равенство прекращается и бранное состояние начинается.

Каждое общество, частные люди в обществе начинают чувствовать свою силу и, желая обратить в свою пользу главные выгоды, производят бранное состояние.

Право политическое основано на отношении, какое имеют управляющие к управляемым.

Гражданское—на взаимном отношении граждан. Цель брани есть победа, цель победы — завоевание, цель завоевания — сохранение.

Из сего должно проистекать право **народное. Соединение всех сих частных,** — говорит Гравина, — составляет то, что называется **состоянием политическим.**

Держава политическая соединяет в себе необходимо многие семейства.

Соединение воль частных, — говорит Гравина, — составляет **состояние гражданское.**

Законы должны быть приличны климату, физическому и нравственному состоянию народа, роду жизни и проч.

Если весь народ в республике имеет власть верховную, тогда зывается **демократия,** если только часть оного — аристократия.

В Афинах наказывали смертию, — говорит Либиний, — чужестранца, который вмешивался в народное собрание, ибо он похищал власть самодержавия.

В Риме не было определено число голосов при народном собрании.

В Лакедемоне должно было быть 10. 000 граждан. Чем более **аристократия** будет подходить к **демократии,** тем она совершеннее, но она будет тем несовершеннее, **чем** ближе будет подходить к **монархии.**

Несовершеннейшая или худшая есть та, в которой повинующаяся часть народа находится в **гражданском рабстве** у той, которая повелевает, как была польская аристократия, где крестьяне **были рабы дворянства.**

Власти посредствующие, подчиненные и зависимые составляют свойство правления **монархического.**

Невежество, свойственное дворянству, его презрение к гражданскому правительству, требует, чтобы было сословие, которое беспрестанно извлекало бы законы из мрака, которым бы они совсем покрыты могли.

В монархии один правит по коренным законам. Между **свой-**

ством правления и его **началом** есть то различие: что свойство его есть то, что заставляет его быть таким, а **начало,** что заставляет его действовать. Республики держутся сверх законов **Добродетелью.**

В монархии политика заставляет производить дела, а не добродетель.

А умеренность есть душа (этих правлений). Я разумею умеренность, основанную на добродетели, а не на лености и подлости души.

В монархиях очень трудно быть добродетельным народу.

Честолюбие в праздности, подлость в гордости, желание обогащаться без труда, отвращение от истины; лесть, измена, коварство, пренебрежение всех обязательств, презрение должности гражданина, страх от государевых добродетельных надежд к его слабости, и, что всего более, беспрестанное осмеяние добродетели составляют, кажется, свойство большей части придворных, ознаменовавших во всех местах и во всех временах.

Кардинал Решилье в своем политическом завещании советует бояться государю употреблять в дела честного, но бедного человека, «ибо, говорит он, — они слишком строги и упрямы». — Но в монархическом правлении заменяет **честь** добродетель и представляет ее повсюду лично. **Честь** приводит в движение все части тела политического, она связует их самым своим действием: и выходит то, что каждый стремится к общему благу, думая, что идет к частным своим выгодам.

У деспота нет никакого правила, и его своеправие истребляет все протчие. — Честь в деспотизме не имеет никакого значения.

Как в республике **добродетель,** в монархии честь, так в деспотическом правлении нужен **страх.**

Свойство деспотического правления требует крайнего повиновения. — Здесь нет ни умеренности, ни соглашений, ни изменений, ни слов, ни замен, ни переговоров, ни представлений, нельзя предлагать ничего равного или лучшего. Человек есть тварь, повинующаяся твари, которая хочет.

Люди имеют здесь один удел с бессловесными: внутренее влечение, повиновение, казнь. — Нельзя отговариваться природными чувствиями: почтением к родителю, любовию к детям и женам, законами чести, здоровьем: приказ отдан и должен исполниться.

Знание здесь будет пагубно, соревнование опасно, а что касается до добродетелей, то Аристотель не может верить, чтобы какая-нибудь добродетель была рабам свойственна: отчего воспитание в этом правлении весьма ограничивается.

Никогда не слыхано, чтобы государи не любили монархии, а деспоты ненавидели деспотизм. Мы, краснеясь, читаем у Плутарха, что фивяне, для смягчения нравов своего юношества, установили законами такую любовь, которую запретить должны бы были все народы. — В Афинах был закон, который позволял жениться на сестре безинокровной, а не единокровной.

В Спарте напротив. — Солон сделал из праздности преступление и хотел, чтобы каждый гражданин давал отчет, каким способом снискивает он себе пропитание.

УМ МОЖЕТ СТАРИТЬСЯ, КАК И ТЕЛО, — говорит **Аристотель.**

В монархии цензоры не нужны; они основаны на чести. Свойство чести таково, что она хочет иметь цензором весь свет.— Всякий человек, не имеющий чести, подвергается укоризне тех самых, у которых ее также нет.

По мере того как суды умножаются в монархиях, законоведение обременяется приговорами, которые иногда друг другу противоречат.

Все люди равны в республиканском правлении; они все равны и в деспотическом правлении; в первом—оттого, что они составляют всё, во втором — оттого, что ничего не значат.

II. НЕИЗДАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И ПРОЗАИЧЕСКИЙ ОТРЫВОК

1
ПЕСНЬ ВОИНОВ ПЕРЕД БИТВОЙ

Заутра, други, станем в строй!
Ударит бурный час отмщенья,
Нам сладко битвы приближенье,
Нальёмте ж кубок круговой!...
О, дети полуночи хладной!
Неведом нам постыдный страх,
Мы зрели блеск мечей стократно
И обращали дерзких впрах!
Шумит от севера ветр бурный,
Ветр с милых отческих полей
Принес — отмщенья зов Перунный:
Смерть за братий, за друзей,
Падем с мечом на поле чести!
Дадим урок стотысячным врагам.
Сей кубок духу бранной мести.
Заутра, братья, к знаменам.
Ура!
Пусть дети неги средь покоя,
С увялой рабскою душой,
Дрожат при зове грозна боя
И укрывают трепет свой
В кругу красавиц прихотливых.
Их битва — с взором дев стыдливых,
Их слава — жёнам подражать,
Победа — слабых обольщать.
Презренье низким! нам награда
Отчизны благородный клик.
Низвергнем сонмы супостата!
Велик наш бог — им росс велик.
Жуковский сильно грянет в струны
И славы дух воспламенит,
Во длани грозные Перуны
И враг стомощный побежит.
Ура!..

Нам неизвестно униженье
И лесть — пред знатным гордецом.
Рабам, искателям — презренье!
Клянёмся гибельным мечём
Не постыдиться пред собою
Средь счастья — братий узнавать,
Быть в дружбе с честью, правотою,
В нещастьи — слёз не проливать;
Нести врагам до гроба мщенье,
Струить тиранов хищных кровь!
Покорным — руку и прощенье,
А слабым — братскую любовь.
Судьба нам меч и власть вручила,
Чтобы насильствие смирять;
Мила за родину могила —
Не дважды, други, умирать!
За бором скрылся месяц светлый,
Туман редеет по холмам,
Несется утра гром приветный,
Пробуд раздался по полкам.
И ратник сон свой покидает,
Берет свой щит из-под голов,
Копьем тяжелым потрясает
И взор вперил на стан врагов.
Туда зовёт его отмщенье—
Там сонмы буйных пришлецов;
Он жаждет близкого сраженья
И смерть за родину принять готов!
Сигнал раздался!... Други, к бою!
Допьемте кубки — край о край...
Перун дробится за горою
И по рядам гремит: ступай!

2

Давно ль сей юноша щастливый
Любовь со славой разделял?
Друг Лилы, друг любимый,
За чашей светлой ликовал?
Давно ль на брани невредимый,
Булатный меч в руке сверкал?
Давно ли конь неутомимый,
Как вихрь из строя в строй летал?
Сквозь огнь, сквозь бурные пучины
Давно ль его бесстрашные дружины,
Как к пиршеству стремились в бой,
Когда он вёл их за собой?
Ужасно над его главою
Враг лютый стрелы рассыпал!
Мечем и грудию стальною
Он путь к победе пролагал!
Изломан меч окровавленный,
И спутник — конь осиротел,
И ратных голос отдаленный

От хладной скорби онемел.
Там туча тмит восход денницы,
Здесь жребий гибельный смежил
Предвременно его (весёлые) зеницы
И пламень груди погасил!
И весть жестокая, холодною молвою,
К его любезной долетит,
И скорбь унылая слезою
В чужбине гроб не оросит.
Друзья! А наш обет герою —
Как жены слез не проливать,
Но с первой бранною трубою
В рядах врагов — наш долг отдать! !

3

ПЕСНЯ

Полно плакать и кручиниться,
Полно слёзы лить горючие:
Честь и родина любезные
Мне велят с тобой не видеться.
О, девица, о, красавица,
Осуши слезу горячую,
Дай прижать тебя к груди моей!
В поле знамя развевается
И товарищи любезные
С кликом радостным волнуются,
В ожиданьи время бранного.
О, девица, о, красавица. . . (припев)
Полно плакать и кручиниться.
Если любишь друга верного,
С верою к богу, к другу с верностью,
Дожидайся возвращения.
О, девица, о, красавица. . . (припев)
Не захочет дева русская
Посрамить стыдом любезного,
Что бы он священну родину
Позабыл для страсти пламенной.
О, девица, о, красавица. . . (припев)
Если я погибну с честию,
Мы с тобою **там** обымемся.
Если я останусь с славою,
Нам любовь сто раз прелестнее.
О, девица, о, красавица,
Осуши слезу горячую,
Дай прижать тебя к груди моей.

4

ПОСЛАНИЕ Петру Григорьевичу ПРИКЛОНСКОМУ

Покорствовать судьбе коварной, переменной
Велит рассудок нам, но твердость в нищете,
Смиренье и любовь честей на высоте
Суть признаки души свободной, неизменной.

Сколь часто видим мы невежду и глупца,
С титулом княжеским в чаду преослепленья,
Который с гордостью бросает взор презренья
На участь скромную и бедность мудреца.
Но тратит ли, мой друг, мудрец свои надежды
Фортуне вопреки покоем обладать?
Нет, тою же стезею он скрылся от невежды,
Под кров (беспечности) о слабом сострадать.
И в рубище Солон дал Крезу наставленье:
Как смежны щастье и слава с нищетой;
Пред Киром на костре — от смерти роковой
Спасло нежданное щастливца предреченье.
Лишённого очей, в темнице и в цепях,
Зри Велизария и с ним превратность доли.
Давно ль Наполеон, пол-света бич и страх,
Мечтал оспаривать и власть и силу бога?
Где ж гром его побед? фортуна за собой
Триумфы, почести и славу удалила.
Нет постоянного для смертных под луной.
Превратность — жребий наш, а верное — могила!
Мой друг! брось верный взгляд на сей превратный свет:
От трона царского до хижины убогой
Везде увидишь след богини быстроногой.
Но постоянного для ней приюта нет.
Чем выше здание, тем ближе к разрушенью.
Опасен скользкий путь титулов и честей,
Опасны милости и дружество царей! . .
К престолу ближе кто, тот ближе к униженью.
Чины и почести и всех богатств собор,
Когда нет мудрости, нас скукой отягчают.
Прельщается ль резцом и кистью грубый взор?
Безумцы ль гения в потомстве лаврами венчают?
Нет, нет, врага ума они в кругу своём предвозвещают;
Франклина мудрого и Кромвеля Лжедмитрию равняют,
Херила нашего Пиндаром называют
И восхищаются Беатуса умом.
Сословие невежд, гордящихся породой,
Без знаний, без заслуг, но с рабскою душой
И с знаньем в происках до степени высокой,
Идут надменною и быстрою стопой.
Презренные льстецы с коленопреклоненьем
Им строят алтари, им курят фимиам! —
Но нам ли унижать себя предразсужденьем?
И нам ли, не стыдясь, завидовать слепцам?
Рабы бездушные, на камень падше семя,
Для посмеяния природой созданы;
Земле, себе самим и смертным тяжко бремя
Без злата и чинов, что были бы они?
Но равенства мечтатели желают!
В природе равенства не может быть и нет:
Одних смирение, таланты отличают,
Других невежество и преступлений след;
Одним назначено дней миром наслаждаться,
Другим убийством жить и в дебрях пресмыкаться;

Родится гений, ум, родится и глупец —
Ужель природы дар не должен брать первенства.
Начало всем одно, и всем один конец.
Но в мире нравственном не может быть равенства.
Дух независимый есть мудрого черта —
Под гибельным ярмом тирана он свободен;
Для пользы ближнего жить сладкая мечта
Тому кто чувствами, кто духом благороден!
Он тайно не острит на братий грозный меч,
Не жаждет для венка бессмертия и славы
Природы попирать священные уставы,
Жилища мирные в добычу брани жечь
И доблесть исчислять числом убийств и мести;
Ему неведом путь покорства, низкой лести,
Пред низким гордецом — вельможею царя,
Он в доле средственной нужды ни в чем не знает.
Чужд прихоти, суэт — спокойно засыпает
С подругою своей до радостного дня.
Природы добрый сын, в объятиях природы
Он верно свой покой и благо обретёт,
Не алчен к золоту, он ищет лишь свободы
И в новый свет искать сокровищ не плывет!
Приклонский, щастие еще не за горами,
И если от него нас жребий отлучил,
То опыт гибельный стократно научил,
Как радости ловить удачными часами.
Желанье, прихоти и страсти обуздать
Должны разсудком мы, чтоб в меру наслаждаться;
Довольно, милый друг, за призраком гоняться —
Не время ль у моря погоды ожидать?
Ярмолинцы, 1817 г.

5

ЭЛЕГИЯ 1-я

Раздался звон глухой. . . Я слышу скорбный глас,
Песнь погребальную вдали протяжным хором
И гроб, преследуем печальных лиц собором. . .
То юноша предвремянно угас!
Смерть кровожадная невинного сразила,
Со светлой радостью первоначальных дней,
С друзьями, с милыми и с миром разлучила,
Для слёз оставленных и милых и друзей.
Где ж истинный закон природы, путь прямой,
По коему всему назначено теченье в цепи круговращенья?
Устав непостижим природы всеблагой;
Устройства в мире нет, повсюду измененье.
Здесь юноша погас, там старец век-другой
Пол-мертв и полужив и смертию забытый,
Живет и в жизни нем для радости испитой!
Здесь добродетельный, гонимый злой судьбой,
Пристанища себе от бури и ненастья,
Носимый по волнам, ждет в бездне роковой!
Злодей на пиршествах, на ложе сладострастья,

С убитой совестью фиал утехи пьет
И с новою зарей веселий новых ждет! . .
Как луч во мраке света ранние денницы
Дни юные мои средь горестей текут.
Покой и щастие в предверии гробницы
Меня к ничтожности таинственной ведут.
Но с смертию мой дух ужель не возродится?
Ужель душа моя исчезнет вся со мной?
Ужели снедь червей под крышей гробовой
Мысль, разум навсегда, как тело, истребится?
Я жив, величие природы, естество —
Сквозь мрак незнания, завесу сокровенну
Являет чудный мир, и в мире — божество.
И я свой слабый взор бросаю на вселенну —
Порядок общий зрю: течение светил,
Одногодичное природы измененье,
Ко гробу общее от жизни назначенье —
Которыя (некто) как сильный утвердил.
Почто же человек путем скорбей, страданья,
Гонений, нищеты к погибели идет?
Почто безвременно смерть лютая сечет
Жизнь юноши среди любви очарованья?
Почто разврат, корысть, тиранство ставят трон
На гибели добра, невинности покою?
Почто нещастных жертв струится кровь рекою,
И сирых, и вдовиц не умолкает стон?
Убийца покровен Правительства рукою,
И суеверие, омывшися в крови,
Безвинного на казнь кровавою стезёю
Влечет, читая гимн смиренью и любви! . .
Землетрясение, убийства и пожары,
Болезни, нищету и язвы лютой кары
Кто в мире произвесть устроенном возмог?
Ужель творец добра, ужели сильный бог? . .
Как в разнозвучии ручей быстротекущий
Ревет в утесах гор, шумит в тени древес,
Рвёт узы и, за собой оставя мрачный лес,
Стремится по полям, поит луга цветущи
И, в море падая, теряется в волнах,
Так смертный, мыслями земной оставя прах,
Превыше суэты и слабосильных мнений
Возносится горе и гаснет в тьме сомнений!
О, юноша! Твой век, как утренний восход
При отблеске лучей за тучею сокрылся,
Твой чёлн над бездною кипящей не носился
И путь окончен твой при бреге тихих вод!
Мир светлый, красотой весенней облеченный,
Увы! в последний раз в твоих очах сиял,
Природы прелестью улыбкой оживлённый,
Ты сладкою мечтой в надежде исчезал!
Но рок неумолим и суэтность земная
Потухла для тебя с последнею звездой.
Так бурю грозную пловец предупреждая,
Щастлив, когда найдёт и пристань и покой!

Сын вечности, воззри — в сей бездне злоключений,
Порока, зависти и ядовитых мнений,
Кто не завидует о участи твоей?

Мудрец начало зрит в причине разрушенья,
Один злодей дрожит о участи своей:
Бессмертие души есть казнь для преступленья! . .
Что ж наши замыслы в юдоли треволнений?
Коль Лейбниц и Ньютон под гробовой доской!
Нет, нет! их тлен в земле, но светлою душой
И в будущих веках живёт всесильный гений!
О, смертный! не ропщи. Таинственный удел
Является уму картиною природы.
Мерцает бледный луч, волной взмутились воды,
Лист падает с дерев, последний цвет слетел;
День ночью сменится, за веком век пройдет,
Неизмеримое число переменяя,
И время, сильною рукою разрушая,
В природе тьмы существ произведет.

6
ЭЛЕГИЯ 2-я

Шумит осенний ветр, долины опустели!
Уныние тайное встречает смутный взор!
Луга зелёные, дубравы пожелтели,
Склонясь под бурею скрипит столетний бор!
В ущельях гор гигант полночный ополчился
И в воды пал с высот огнекрылатый змий...
И вид гармонии чудесной пременился
В нестройство зримое враждующих стихий.
С порывом в берега гранитные плескает
Свирепый океан пенистою волной!
Бездонной пропастью воздушна хлябь зияет,
День смежен с вечностью, а свет его — со тьмой!...
Таков движений ход, таков закон природы. . .

***

О, смертный! ты ль дерзнул роптать на промысл твой?
Могущество ума, дух сильный, дар свободы —
Не высят ли тебя превыше тьмы земной?...
Скажи, не ты ль дерзнул проникнуть сокровенье?
И Прометеев огнь предерзостно возжечь?
Измерить разумом миров круговращенье,
И силу дивную и огнь громов пресечь?
По влаге гибельной открыть пути нещетны,
В пространстве целого атом едва приметный,
Взор к солнцу устремя, в эфире воспарить?
И искру божества возжечь уразуменьем,
До сил единого, до зодчаго миров?
О сколь твой дух велик минутным появленьем;
Твой век есть миг, но миг приметный в тьме веков;
Твой глас струнами лир народам передастся.
И творческой рукой их мрак преобразит,
Светельник возгорит! . . Гармония раздастся. . .
И в будущих веках звук стройный отразит!..

***

Но кто сей человек, не духом возвышенный,
Но властью грозною народа облечен?
Зачем в его руках сей пламенник возженный,
Зачем он стражею тройною окружен?
Отец своих сынов не может устрашиться,
Иль жертв рыдающих тирану страшен вид?
Призрак отмщения в душе его гнездится,
Тогда как рабства цепь народ слепой теснит.
Так! раболепствуйте, то участь униженных,
Природы смутен взор: она и вам есть мать;
Чего вы ищите средь братий убиенных?
Почто дерзаете в безумии роптать
На провидение, на зло и трон порока?
Жизнь ваша — слепота, а смерть — истленья миг
И к цели слабых душ ничтожеству дорога. . .
Безумцы дерзкие, не вы ль природы исказали лик. . .

***

Свирепствуй грозный день! . . Да страшною грозою
Промчится не в возврат невинных скорбь и стон,
Да адские дела померкнут адской тьмою...
И в бездну упадет железный злобы трон!
И яростью стихий минутное нестройство
Устройство вечное и радость возродит!...
Врата отверзутся свободы и спокойства —
И добродетели и правды луч ясный возблестит.

7
ПЛАЧ НЕГРА

Задумчив, устремя к луне унылы очи,
Несчастный сын степей под пальмою родной
Стоял недвижимо в часы глубокой ночи.
Колчан и пращ его, и лук его с губительной стрелой
Разбросаны, и конь, товарищ бурной битвы,
По шелковой траве медлительно бродил.
И пес—сей верный страж—сей быстрый друг ловитвы,
Лежит и лай ночной — с боязнию притих.
И мрак и тишина полуночной природы
Питали мысль его отчаянной мечтой.
И он — сей белых бич — сей гордый сын свободы,
Ланиты оросил горячею слезой!!
Нет радости в мире, нет Зоры со мною!
Я видел ветрила вдали кораблей,
Несущи — добычу драгую — стрелою
Далеко, от мирных отчизны полей!
Ах! мог ли провидеть я отмщение рока?
Сегодня — зарею, колено склоня
Пред ярким сияньем светила востока.
Я чувствовал благость небесну огня!
От братий веселых, чрез дебри и горы
Помчался я — к мирным родным шалашам!
Ласкаясь мечтою в объятиях Зоры
И в ласках младенца дать отдых трудам!

8

ЭКЛОГА

Меликл

Один, уединясь под дубом наклоненным,
Где тихой ручеек струи свои катил
И тихим ропотом к забвенью приводил,
Меликл задумчивой, со взором потупленным,
Оставя посох свой, овечек и свирель,
Так тайну скорби пел:
«Жестокая судьба, где дней моих отрада?
Где радость юных лет, о коей я мечтал?
Как в тучах солнца луч, мне счастья свет пропал,
Взамену радостей мне слезы лить — награда.
Напрасно юная Коринна милый взор
Ко мне наедине с улыбкой устремляет,
Ее старание и нежный разговор
В груди еще сильней тяжелый вздох стесняет.
Бесчувственный! Вчера, томимая тоской,
Печальным голосом она еще сказала:
Меликл! милый друг, что сделалось с тобой?
Ты плачешь?— и слеза из глаз ее упала. . .
Уже ль не видишь ты забавы пастухов,
Их радость общую, шум песней, хороводы,
Мое томление, мою к тебе любовь?
Чего недостает тебе, скажи? . . Свободы! . .
Как пленник средь оков,
От братий, от друзей в край дальний увлеченный,
В пустынной Таврии, средь грубых пастухов,
Жестокою судьбой нежданно занесенный,
Я должен слезы проливать.
Из милой родины сияния денницы,
Ни голос утренней приветливой певицы,
Сюда умерить грусть мою не долетят.
Жестокой Коритей устав моих страданий
Бесчувственной рукой до гроба начертал
И отческим полям колючий терн устлал
Мой путь, лишив меня и самых ожиданий.
Почто не скрылся я под дружеский покров,
Когда гремел вдали гром бурный предо мною?
Почто я тешился обманчивой мечтою
И тихо ожидал дней ясных средь громов?
Стада нещетные среди лугов шелковых,
Сады, где сочный плод деревья бременит,
Поля, что жатвою Церера золотит,
Пруды зеркальные для рыб златых —
Несут годичный дар тому, кто бед виной.
Но в доле бедственной сравнюсь и я с тобою!
Рука богов хранит страдальца под грозою,
Ты в щастьи, но страшись — их мщенье над тобой!

Соколино.

9
КАРТИНА БУРИ

Солнце покрылось серою мглой.
Тучи, спираясь, быстро несутся.
Вихрь сотрясает листья с дерев,
С шумом и силою дол пробегая.
Пыль подымает кверху столбом!
Враны над лесом стаей виются.
Пес, притаяся, лежит.
Подернут горизонт полуночною тьмой,
И молния, виясь, из бурных туч сверкает,
Перун отзывами грохочет за горой!
И эхо гул его сторицей повторяет.
С ветром холодным падает дождь,
Сосны и ели с скрипом трясутся,
Воды взмутились быстрой волной,
Пеною желтой в берег плеская;
Дикие гуси скрылись в тросник.
Шумом внезапным вол устрашенный,
Вкруг озираясь, ревет!
Гигантов бурных строй по высоте летит
И молния сильней на горизонте блещет;
Удар удару вслед гром яростный вторит
И смертоносные Перуны долу мещет!..
Все в бледном трепете молчит.
Взор робкий к небу устремляя,
Оратай в хижину сокрыт,
Пловец в волнах погибель зрит
И странник к лесу устремился.
Сильнее хладный дождь шумит,
Во мраке бледный огнь мерцает,
Перун из горных туч летит
И. . .раздробленный дуб пылает! . .

Ермолинцы

10
ГЛАС ПРАВДЫ

Сатурн губительной рукою
Изгладит зданья городов,
Дела героев, мудрецов,
Туманною покроет тьмою,
Иссушит глубину морей,
Воздвигнет горы средь степей,
И любопытный взор потомков
Не тщетно ль будет вопрошать,
Где царства падшие искать
Среди рассеянных обломков?
Где ж будет твой ничтожный прах
Сын персти слабый, но надменный?
Куда погибель, смерть и страх
Несешь по трупам искаженным?
Воззри, там алтари священны

Являют пепла и углей горы,
Здесь веси мирные кругом
Обращены в могильны своды
И где резвились хороводы,
Там слышен вопль и бурный гром!..
А ты, бездушный сибарит,
Млеком тщеславия вспоенный
И даром жизни утомленный,
Скажи, куда твой дух парит
Среди угрюмой, черной лени?
Вокруг тебя мелькают тени
Наемных ветренных цирцей,
Столы роскошные накрыты
И кубки светлые налиты,
Но ты вздыхаешь, раб страстей!
Вельможа, друг царя надежный,
Личиной истины прямой
Покрыл порок корысти злой
И ухищренья дух мятежный.
Злодей, ужель и сирых робкий стон,
И рабства гибельный закон,
И слезы страждущих в темнице,
И в рубищах народ простой,
К тебе молящий со слезой,
Не видишь ты под багряницей?..
А вы, ничтожные рабы
Пороков, зла и ухищрений,
Склонивши выю и колени,
Почто возносите мольбы
К творцу добра, не преступлений!
И клирный глас и псалмопенье
Ярем позорный не сотрут!
Погрязшим в тьме разврата
Вотще в раскаяньи — отрада,
Везде позор, и стыд вас ждут!
Цари, любимцы шумной славы,
Дерзнете ль в слепоте своей
Мечтать о вечности честей
И презирать судьбы уставы?
Жизнь наша — переменный сон.
И быстро исчезает он!
Где ж луч отрады, цель стремлений?..
В душе, свободной от суэт,
Покой и радости прямые
Не горы золота дают:
Слепцы за призраком бегут...
И вкруг обломки гробовые
И разрушения следы,
Печать всеобщей череды,
Им участь жалкую являют...
Нет! — средственность и путь прямой,
Свобода, власть рассудка над мечтой —
Жизнь миром озаряют!..

11
ПОСЛАНИЕ

Когда над Родиной моей
Из тучи молния сверкала,
Когда Москва в цепях страдала
Среди убийства и огней,
Когда губительной рукою
Война носила смерть и страх
И кровь струилася рекою
Отчизны милой на полях,
Тогда в душей моей свободной
Я узы в первый раз узнал
И, видя скорби глас народный,
От соучастья трепетал.
Тиран из стонущей столицы,
Оставя гибель за собой,
Как в сумрак блеск зарницы,
Стремился быстро в бег толпой
И вслед им сильный бог отмщенья,
Во мзду их преступленья,
Перуны грозные бросал.

Я видел бурю мести
И взор невольно отвратил,
Сочувства голос пробудил
В душе глас человечества и чести.
И непредвидимой судьбой
Среди всеобщего волненья
Мой друг! Я разлучен с тобой.
Тогда под знаменами славы,
При клике радости побед,
Ты зрел врагов преступных след
И путь их гибели кровавый.
Ты видел гордой Эльбы ток,
Ты видел города чудесны,
Ты видел горы близ небесны.
Куда достичь никто не мог
И где льды вечные блистают;
Ты видел Рейнской водоскат,
Где блеском радуги горят
И взор и чувства утомляют;
Столицу бедствий посещал,
Привыкшею к боям рукою,
За чашей полной, золотою,
Прелестниц чуждых обнимал
И на лилейной груди страстной
С своею Гебою прекрасной
В восторгах сладких засыпал;
Ты видел, как народ свободный
Венки из лавров соплетал
И русских воинов венчал,
И слышал глас вокруг народный
Вослед спасителей царей:
«Они достойны алтарей!»

И средь веселий и забавы,
При кликах торжества и славы,
Простился с ложной суэтой
И путь направил в край далекой,
Где вечный холод, снег глубокой,
Где Лена, Обь своей волной
В гранитные брега плескают
И меж незнаемых лесов
До моря ледяных брегов,
Волнуясь быстро пробегают;
Где все в забвеньи мрачном спит,
Где чуть лишь слышен глас природы,
Но где живут сыны **свободы,**
Где **луч учения блестит.**
Твои там отческие лары,
Там мир и щастие с тобой,
Туда кровавою рукой
Войны губительные кары
Не принесет никто с собой;
Там, упиваяся блаженством,
Ты с милой Лизою своей
Счастливей мрачных богачей
И, не гордясь своим первенством,
Облегшись в неге на грудь к ней,
Лобзаешь руки белоснежны;
Встречаешь взор в восторге нежный,
Неведомый сердцам царей;
Иль, сидя у огня, мечтаешь
О друге — воине твоем
И дни, когда с тобой вдвоем
Мы были, ты воспоминаешь;
Но я, мой друг, в краю чужом,
Как путник **сирый и бездомный,**
Всегда в своих желаньях скромный,
Не знаю, где и отчий дом?
Блажен, кто в утренний рассвет
За дымом горним не стремился;
А я среди цветущих лет
С семейной жизнию простился,
Гонимый лютостью судьбины,
Я нем среди толпы людей.
С оледенелою душей
Конца я **тайной жду причины.**
И струны скромные цевницы
Звучат напев печальный мой
И чувства им вторят слезой
При появлении денницы.
В груди моей пермесской жар,
Среди столь бедственных волнений,
Не угасил мой ангел-гений;
Природою мне данный дар
Лучем ученья озарился.
И я свободною душей
Перед могущею рукой

Еще не преклонился.
Для неизвестного певца
Потомство не сплетет венца,
Но мне талант мой в утешенье.
Дружбы беспристрастной глас
Мне будет радостней сто раз,
Чем тысячи зоилов мненье.
Но кто, мой друг, не испытал
В сем океане бурь волнений
И кто без сильных преткновений
До цели верной достигал?
Здесь все подвержено сомненью.
Начало и конец один.
Надежда — спутник огорченья.
И щастья развращенный сын,
Средь неги, роскоши забвенья.
Пьет чашу гибели своей
И на груди неверных фей
Томится сам от пресыщенья.
Быть может, колесо скользнет
Фортуны в оборотах быстрой,
И мне из тучи свет блеснет,
И путь мой твердый, каменистый
Везде цветами поростет.
И я, как путник утомленный,
Для жизни новой пробужденный,
Взгляну на пристань и покой
И брошу гибкой посох свой.

12
СЕТОВАНИЕ

В младенчестве моем я радости не знал.
Когда лишь с чувствами, с невинностью знакомый,
К родителям моим я руки простирал,
Врожденной добротой влекомый,
Я нежной ласки ожидал.
Увы! Тогда мой взор суровый взгляд встречал.
Я плакал, но еще нещастия не знал!
В те дни, как чувствами природой оживленный,
Я помнить стал себя, предметы различать —
Стал чувствовать добро — незнаньем увлеченный,
Я мнил любезных мне в восторге обнимать!
Но, ах! нещастного удел определенный
Лишь горести встречать.
Я плакал, но еще мог слезы забывать!..

13
ЧАС МЕЛАНХОЛИИ

Меня ничто не веселит,
Я щастья под луной не знаю —
Средь игр лишь горести встречаю,
Покой всегда меня бежит.

Увы! в мечтаниях одних
Зарю дней ясных представляю,
Но где она того не знаю?
С собою сам, в слезах моих,
Себе отраду обретаю.
Ничто мне в мире сем не льстит,
Средь юности тоской убит
Увы! не знаю наслаждений,
Любви опасных обольщений.
Для красоты и дев младых —
Угас мой взор, огнь чувств моих,
И время медленной рукою
Длит жизнь. Под тучей громовою
Удел мой горесть испытать.
Стремлюсь я к вечному покою,
Хочу под гробовой доскою,
Что есть бессмертие узнать?
Почто мне в цвете дней моих
Страдать назначено судьбою?
Надежда, я забыт тобой,
Не вижу радостей твоих.
О, друг, товарищ огорченный,
Почто не вместе я с тобой?
Почто час грозный, роковой,
Час гибельных моих мучений
Делить не можешь ты со мной?
Сей ад в душе, тоска сердечна,
Предчувствия глас — быть может — вечно
Я не увижуся с тобой.
Мой гроб открыт и червь голодный
Спешит мой синий труп глодать,
Скелет останется лежать
В могиле мрачной и холодной;
Не буду я тогда роптать
На рок безчувственный, жестокой —
Я буду мертвой, одинокой...
Но буду ль я тогда страдать?
Никто винить меня не будет,
Враги забудут осуждать
И — следственно — могу ль роптать,
Что недруг мой меня забудет?
Я зла не сделал никому
И зло казалось мне загадкой,
Я часто слёзы лил украдкой —
И сердцу верил одному;
В душе моей явились страсти
И счастья свет, как миг протёк.
Со тьмой явилися напасти, —
Неумолим жестокий рок!
Злой яд кипит в душе моей
И дух унынием томится.
Ах! Долго ль казнь моя продлиться,
Дождуся ль в жизни ясных дней? . .

14

ХЛОЕ

(из Боало)

О, Хлоя — роза! признаюсь, что огнь любви виной
Во мне сей перемены злой!
Я в страсти пламенной к нещастью безнадежной,
Забыл себя и целый свет.
Томится дух в груди мятежной
Среди моих цветущих лет.
И бросил я свою расстроенную лиру. . .
Но ты смущаешься — спешишь мне дать ответ,
Оставь напрасный труд... ведь я люблю — Эльвиру!

15

ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЬ

Друзья! Алмазною струёй
Бьёт нектар благовонный
И девы юные чредой
Подносят кубки полны.
Сей кубок страстным девам в дар,
Их ласкам и улыбке нежной —
Пусть в чувствах запылает жар
Любви не безнадежной.
Ещё румянцы на щеках,
Во взорах сладострастье,
Желанье, роскошь на устах
Не погасило щастье,
Иорка страшные врата
Еще для нас закрыты —
И с нами сладкая мечта,
И резвые хариты.
И улыбке тихой щастья, —
Ещё в сердцах пылает жар
И сила сладострастья.
Пускай слепцы под сединой
За злато покупают
Любовь Киприды — дар святой —
И с завистью взирают
На сей свободы полный дух.
Наш путь покрыт цветами,
Гармония ласкает слух
И Вакх вожатый с нами!
Сей кубок Вакху, други, в дар
И богу песнопенья —
Они воспламеняют жар
И силу наслажденья! . .
Пускай бессмысленный совет
Внимает малодушный,
В ком страсти есть, в том страха нет,
Стыдитесь быть послушны
Рабам отжившим под луной;
Здесь парками забыты,

Они забыли жребий свой
И страшный брег Коциты!..
Друзья! сей кубок без боязни в дар
Осушим духом смелым!
Да воскреснет жизни жар
В душе всегда веселый!
Друзья! мы смерть предупредим
На ложе упоенья
И клятвенный обет дадим
Не ждать чредой явленья.
Скрепим и длани и сердца
И бестрепетной душою
Испьём фиал утех до дна
И ступим в гроб ногою.
Сей кубок клятве верной в дар
И клятвы исполненью...
Друзья! Зовет нас тайный жар
И девы к наслажденью!..

16

РОПОТ

Где вы, о призраки щастливых обольщений,
Куда сокрылися восторги и любовь?
Я вижу тень одну прошедших наслаждений!
Светильник гаснет мой и леденеет кровь!..
На то ли Прометей рукою дерзновенной
Похитил у богов дар жизни, огнь святой, —
Что б житель сей земли, кругом несовершенной!
Терял сей самый дар с рассветшею зарей?
Давно ли девами на играх окруженный
Я им задумчиво внимал!
И Терпсихорою в круг шумный увлеченный,
С прикосновением взор робкий опускал.
О сколь сладостны часы любви первоначальной!
Душа исполнена восторгом и собой, —
Сколь юность сладостна беспечностью златою!
Лаская прихотям, невинностью самою,
Являла всюду рай, блаженство и покой!
О сладострастие, восторг неизъяснимой!
Могу ль изобразить сей тихий, сладкой жар,
Стремленье робкое души нетерпеливой...
И упоение — как богов чистейший дар.
Я помню первое в свиданье дерзновенье.
Я коснулся. Мертвый хлад по членам пробегал.
И огнь его сменил и бурных чувств горенье
Слабело, гаснуло... и дух мой исчезал!
Но к жаждущим устам коварный сын Киприды,
Как нектар, страшный яд с улыбкой подавал
И цепи грозные, под блеском роз сокрыты —
Со взором радостным на чувства налагал!
И чувства гаснули в пучине заблуждений...
Неопытный я тек легчайшею стезей
К причине гибельной минутных упоений

И жертвой сделался безмерности страстей...
О Геба юная, услышь мое моленье
И в чувствах воскреси почти погасший жар!
Дай силу прежнюю и право наслажденья —
Умеренность — тебе мой будет первый дар!..

17

ПЕСНЬ ПРИРОДЕ

О музы кроткие, простите дерзновенью
Певца безвестного, летящего на Пинд
Не лавры пожинать в награду песнопенью,
Но видеть ваш привет, улыбку пиерид!
Природе всеблагой слагаю песнь хвалебну.
В благоговении, с поникшей головой,
Объемлю таинство и стройность совершенну,
К ней духом возношусь — она вожатый мой.

18

МОЕ ПРОСТИ ДРУЗЬЯМ

Кислицыну, Приклонскому

Друзья, налейте кубки!
Ударим край о край —
И в скорбный час разлуки
Запьём своё прощай!
Не глас иноплеменных,
Не пушек близкий гром,
Не клик врагов надменных,
С увенчанным челом,
Но нежный глас природы,
Восторги и любовь
Под верный дружбы кров —
В объятия свободы
От вас меня зовут.
О, други! между вами
И мой тернистый путь
Усеян был цветами;
Довольно ясных дней
Близ вас я видел, други!
Клянусь во дни разлуки
Вас часто вспоминать,
В мечтах одушевлять
Час дружеской беседы,
Где острых слов победы
Вы знали замечать
И в шутках повторять!
Где царства и народы,
В кругу прямой свободы,
За чашей пуншевой,
При дыме трубок сидя,
Пристрастье ненавидя,
Судили пред собой!
Где тайной скорби силу

И близкую могилу
Я с вами забывал,
И радостью щастливой,
В час думы молчаливой,
Мой дух воспламенял!
Где злобу и пороки
Безчувственных людей,
Тщету заслуг, честей,
И скрытые дороги
Искателей, льстецов,
И странное сужденье
И к истине презренье —
Смешных лже-мудрецов,
Где суд невежд пристрастный
Даёт невеждам путь
Ко славе безопасной,
Где знания безгласны,
Где ум — талант гнетут —
Мы видели — учились. . .
И к почестям стремились
Не рабскою стезей...
Исчезни пламень мой,
Когда я вас забуду!
Свободные друзья,
Вот вам рука моя —
Что свято помнить буду
Союз сердец святой,
Скорее луч денницы
В предверии гробницы
Угаснет надо мной!..
Друзья! налейте кубки!
Ударим край о край
И в скорбный час разлуки
Запьём своё п р о щ а й !
Приклонский! нам с тобою,
Ещё сквозь мрачных туч
Блестит надежды луч.
Быть может, Марс трубою
Из мертвого покою
Нас в поле воззовет
Приманчивые славы,
И след войны кровавой
Нас к цели доведет.
Быть может, сокровенье
Кто может предузнать,
В пылу огней сраженья,
Как к рати двигнет рать
Погибельной стезей,
Нам суждено с тобой,
В добычу смерти злой,
Предвремянну могилу
Узреть в земле чужой!
Но нет! и мысль унылу
Забвенью предадим,

За чашей круговою,
Веселою мечтою
Свой слух воспламеним.
Оставя жизни бурной
Неласковый прием
И блеск честей мишурный,
Ты истинным путем,
Кислицын, друг свободы,
Под сень святой природы
С беспечностью идешь,
Где время золотое
В довольстве и покое
И в неге проведешь!
Ни громы в отдаленьи,
Ни ядер звонких шум
В минуты сладких дум,
В часы отдохновенья
Тебя не воззовут! . .
Там с милою семьёю
Все радости с тобою!..
И мудрости привет...
И дни твои беспечно,
Но быстро, скоротечно,
В довольстве пробегут.
Доколе юность с нами
И огненная кровь
С свободными сердцами,
Друзья! дотоль **любовь**
И дружбы глас священный,
И кубок позлащенный
С пенящимся вином,
Честь, истина с добром —
Нам будут утешеньем
И долгом — в жизни сей...
Прямое наслажденье —
Не блеск пустых честей,
Не славы шаткой сила,
Не милости царей,
Не злато богачей:
Их ранняя могила —
Во мраке погребет...
Нет, к счастию ведет
Путь **чести** благородный,
Где **ум, душа свободны,**
Где **совести** покой
Упрекам неподвластен,
Где голос беспристрастный
С рассудком и душой,
И с честию согласен!
— Но, други, час бежит...
День ясный вечереет,
И в кубках дно яснеет,
Природа в неге спит,
Луна путеводитель —

Путь дальний серебрит...
Да гений покровитель —
В разлуке вас хранит...
Итак, друзья, налейте ж кубки,
Ударим край о край —
И в скорбный час разлуки
Запьём своё прощай!

Каменец-Подольск.

19

Безумцы, оградясь обрядами, мольбой
И верой, следствием вериг предрассужденья,
Чем ближе к крыше гробовой,
Тем злоба их сильней и чаще преступленья.
В груди с эхидною, с поникшею главой,
Со взором алчущим неутолимой мести,
Слепцы под сединой
Идут порокам вслед, как вслед добра и чести.
Отец в неистовстве гнетет своих детей
И чистую их радость,
И наслажденье юных дней,
И окрыленну младость
Мрачит гонением, геенною страстей.
И юность во слезах — течет невозвратимо:
Не милы нивы ей отеческих полей,
Не ясен и ручей родимый.
И прелесть счастия здесь денницею златой
Проходит, как мечта — и гибнет жизни сладость.

20

Я видел часто как блистает
Стекло в оправе золотой;
Я видел — как безумцев рой
В среду величия вступает;
Я видел подлость, дерзость, лесть,
Которая в венце сияет!
И как безумец унижает
Таланты, разум, правду, честь!
Презренье им! такой стезею
Могу ль — бессмертье получить?
Я был моей отчизны щит —
Теперь пора спешить к покою!

* * *

Под кровом родины святой,
С пером и книгами в беседе,
Я верный путь найду к победе,
Не льстясь наружной мишурой!
Глупцам оставя разсужденье,
Льстецов и низких душ содом,
Где чтут безумие умом

И ложь — за истинное мненье,
Где пустословие толпой
Часы у мудрых отымает!
Нет! Нет! В отчизне ожидает
Меня утраченный покой!

21

ПОСЛАНИЕ Г. С. БАТЕНЬКОВУ

Когда над родиной моей
Из тучи молния сверкала,
Когда Москва в цепях страдала
Среди убийства и огней,
Когда губительной рукою
Война носила смерть и страх
И разливала кровь рекою
На милых отческих полях, —
Тогда в душе моей свободной
Я узы в первый раз узнал
И, видя скорби глас народный,
От соучастья трепетал...
Как быстро гибнет блеск зарницы —
Так из разрушенной столицы
Тиран стремительной стопой
Вспять хлынул с хищною ордой!
И вслед ему бог бранный мщенья,
Во мзду насильств и преступленья,
Перуны грозные бросал
И путь гробами застилал...
Орудие сей грозной мести,
Я взор печальный отвратил
От поприща кровавой чести
И острый меч в ножны вложил...
Но ты, мой друг! при шуме славы,
Среди триумфов и побед,
Среди громов борьбы кровавой,
Идя преступникам вослед,
Свидетель россов смелых силы,
Смиренья их и правоты, —
Поведай мне, что мыслишь ты,
Зря цепь изрытыя могилы?
Скажи ужель увеселял
Тебя трофей, в крови омытый,
Ужель венок, корыстью свитый,
Рассудка силу заглушал?..
И мрачная завеса пала!..
Атропа гибельным резцом
Едва нить жизни не прервала
Твою под роковым мечем
При сече грозной роковой.....
Простясь с неласковой судьбою,
С печальным опытом, с мечтой,
Ты удалился на покой

Туда, где Лена, Обь волною
В гранитные брега плескают
И по седым во мгле лесам,
К Гиперборейским берегам,
Во льдах, волнуясь, протекают,
Где всё в глухом молчаньи спит,
Где чуть приметен блеск природы,
Но где живут сыны свободы,
Где луч учения горит!
Твои там отческие лары,
Там мир и радости с тобой,
Туда кровавою рукой
Войну, убийства и пожары
Не понесет никто с собой!.
В беседе там красноречивой
С тобой великий Архимед,
Декарт и Кант трудолюбивой,
И Гершель с циркулом планет!
И всё в гармонии с душою
И чужд клевет и злобы слух. . .
А я в кругу предрассуждений,
Порока, зависти, суэт.
Нелепых, ядовитых мнений,
И поминутно — новых бед —
В отчизне милой, — но безродной,
Пловец — над пропастью бездонной,
Носим по зыблющим валам,—
Зрю пристань. . . руки простираю,
Стремясь к желанным берегам,
И—снова в море уплываю.

22
К СЕЛЬСКОМУ УБЕЖИЩУ

Смиренных душ приют, безбедная обитель,
Меня мой гений покровитель
Под сень твою сокрыл от сильных бурных бед.
Я рано жизнию ненастной утомился,
Встречая пред собой гонений мрачный след
И посох путничий в руках моих сломился.
Оставя для других блеск пагубных честей,
Под кровлею твоей
Ужель я не найду желанного покою?
Ужели, брошенный на жертву бурных волн
Безчувственной судьбою,
О скалу бедствий злых мой раздробится чёлн?
Нет, нет! здесь щастие прямое обитает,
Здесь сон предчувствами меня не устрашает,
Здесь голос петела и трели соловья,
При блеске утреннем природы,
Приятной, легкой сон уносят от меня
И с каждым днем мой дух живит огонь свободы.
Фортуна в жизни сей

В удел мне не дела ни злата, ни честей
И путь мой иглами терновыми покрыла,
Зато природа в дар мне тайну стройно петь
На лире фебовой открыла,
Чтоб в ней усладу зреть,
Чтоб ей хвалы греметь.
Природе-матери мое благодаренье,
Фортуне и чинам и золоту презренье.
Пускай мечтатели спешат (неразобр.) к концу
И прихотливый рок о благе умоляют,
Пусть курят фимиам неверному слепцу
И с трепетом его веленья исполняют.

В уединении моем
Мне чужд тот гибельный ярем,
Который тяготит безумцев ослепленных.
Я видел бурный свет—я видел в нем людей,
У коих на сердцах, от злобы закаленных,
Таится страшный яд для ближних, для друзей.
Под небом неродным назначено судьбою
Мне примирение с собою
И след поросший зреть к обители отца.
Но будь благословен стократ приют смиренный,
Где нежат радости свободного певца —
Среди природы оживленной!

23

ОСЕНЬ

Идиллия

Давно ль природа воскресила
Из мертвой тишины
И юная весна рукою рассыпала
По бархатным лугам душистые цветы?
Давно ли голос Филомелы
Авроры золотой приветствовал приход
И сельских граций хороводы
В забавах воспевал природу, май веселый?
Утихли песни их, пернатых смолкнул хор.
И птицы стаями в край теплый отлетают,
Туманы серые долины покрывают
И листья сбросил бор!
Свирели стройный звук в полях не раздается,
Ветр буйный с севера несется,
И хладный дождь шумит. . .
Усталый селянин под кровлею смиренной,
От шума удаленный,
Плоды трудов своих с родной семьею делит.
Цветы поблекшие, деревья обнажены,
Сей молчаливый вид природы, скрытой в мгле,
Изображает путь вечерний утомленных
Страдальцев на земле.
И нам назначено таинственной рукою

Премену быструю невидимо узнать,
Зреть радость и восторг рассветшею зарею,
Дней в полдень жребия превратность испытать —
И скользкою стопой стремиться к назначенью! . .
Щастлив, стократ щастлив, кто поздних дней приход
И солнца ясного последний оборот
Встречает, не страшась, под дружескою сенью,
Кто сильных тайных мук на сердце не узнал,
Чей чёлн покойно тёк вдали подводных скал,
Вдали от непогод и бурных треволнений,
Чей кормчий был—устав свободы золотой,
И цель стремления—природа и покой.
Стезей неровною опасных приключений
Куда стремимся мы за славою пустой?
Невольники суэт, страстей и предубеждений,
Дает ли слава вам и благо, и покой,
И право чистых наслаждений?
Нет, слабой человек родится для забот.
С издетства от святой природы отвыкает,
Его на скользкий путь свет пагубно зовет,
Где ослепление умами управляет
И век его, как сон невидимой летит,
Который изредка мечтою сладкой льстит,
А чаще — мрачные виденья представляет...
И парки лютые, прервавши жизни нить,
Его для вечности сокрытой пробуждают!
С приходом первые весны
Природа в красоте, в величьи возродится,
Но возродятся ль блеск, почести, чины,
Когда назначенный путь жизни совершится?

24

Пришлец! Здесь родина твоя!
Здесь первая заря
Твой взор печальный осветила,
Здесь первые дары природа излила
На ум младенческий и чувства откровенны
И жертвою судьбы коварной обреченный,
Познал ты здесь еще волнения страстей,
Как туча над тобой гремела грозовая.
Ах! милые поля отчизны оставляя,
Оставил навсегда ты радость светлых дней.
О дубы стройные, и вы росли со мною,
Под тенью вашею я некогда играл
И с светом незнаком, с душевною борьбою,
Я вам, завидуя, расти скорей желал.
Здесь те ж источника кристалловидны воды,—
Близ коих я в часы туманной непогоды
Смотрел на радужный восход
И взором измерял стремленье туч бегущих;
Иль неба светлый свод
Сличал с поверхностью его быстротекущей.
Все та же красота

Разнообразная природы!
Но скрылась резвая мечта
С утратой прежнего блаженства и свободы!
И тщетно ищет взор
Для сердца и души пленительной картины.
С холодным опытом, с изменою судьбины,
Все наши радости — воздушный метеор!
Прости ж, ручей родной, прохладные дубравы,
Быть может, навсегда я покидаю вас.
Я не раб — свободен от желаний, славы,
Мне дорог радостей и мира каждый час.
В далекой стороне, среди степей Тавриды,
Найду я, может быть, золотой покой
И в укор фортуне злой,
В беседе с гением творца Феодицеи,
Я все ничтожное забвению предам.

25

ПОСЛАНИЕ К ДРУГУ

Как отшельник, в долине —
От суэт, затей и славы,
Сделавшись беглец забавы,
В красном старом колпаке,
Без придворной хитрой маски,
Не прельщаясь мишурой,
Чужд вельмож надутых ласки;
Не в числе толпы большой
Обезьян пустоголовых
И отъявленных льстецов,
Кои лижут пыль следов
Истуканов многославных;
Без расчетливых друзей,
Кои в книжку записную
Вносят дружество князей,
Иль министров речь пустую. . .
Я, беглец и тех умов,
Кои славною стезею,
Не средь гибели и бою,
Достигают всех чинов,
И сатрапу вместо скуки,
. . . .
Круговую в такт трясут. . .
Иль турецкою игрою,
: . . . .
В центр, опасный штурм ведут—
Или сродны к перемене,
Уморившись так и сяк,
Забавляются в трик-трак!!
Ты все знаешь:
Где ж за ними вслед поспеть?
И с моей ли головою,
Столь чудесною игрою,

В славном подвиге успеть?
О! их слава, слава мира,
Подвиг их греми гудок,
Иль Грицка охрипша лира
Средь корчмы под вечерок!
Есть ли б мне, на зло природе,
Кисть свою Рафаэль дал,
Я бы верно, весь по моде,
Мой обращик начертал;
Или Фидия рукою
Нимфу, Вакха пред тобою
В сапогах изобразил,
И в мундире, в эполетах,
В шарфе, в шляпе и в штиблетах
На колени посадил!
Или, следуя Грессету,
Лирой нежной очертил
И с Вертером выдал свету!
Но могу ль за ними вслед
В храм бессмертия стремиться?
Надо с вольностью проститься,
Запереться в кабинет
И пустить свой дар в оценку,
Чтоб на смех в съестных рядах
Стали и в моих стихах
Продавать пирог в копейку.
И, о горе! вечный срам!
Если князь, венцом покрытый,
Завернёт туда со свитой
И увидит честь его, дела и славу,
Зря прильнувшу к пирогам,
Кои в красоте своей
Едокам дают забаву
С пирогом за пять грошей! . .
Но прости—заговорился
И на рынок с ним пустился,
Время даром упустил
И о деле позабыл;—
Там не нужно испытанье
Мрачных тягостных наук,
Но приятен тесный круг,
Где блестит одно познанье.
(Ах, почто во тьме наук
Я учением томился
И премудрости лишился,
Коею сей славен круг!)
Интегралы, бомб паденье,
Логарифмы, уравненье—
Им не нужны, милый друг!
Там науки обитают,
Кои ум не отягчают,
Всем делам и направленью,
Скуке, делу и безделью. . .

Вместо Вобана — Кассини,
Фридрих иль Жомини,
На столе у них лежит
Календарь Грекура возле святец,
Где близ голого амура
Голая Венера спит!
И in folio картины
Из палерояльских стен,
Где семнадцать перемен
Вкруг творит Приап ярливый!
Друг мой! если все писать,
Что я знаю под рукою,
То, клянуся головою,
Надо две стопы связать! . .
Там я видел возвышенье
Инославных-подлецов,
Силу их и униженье
Заразительных умов;
Видел злых невежд собранье,
По уму—весь желтый дом,
И навозных куч сиянье!;
Видел я, как генерал
Табакерку подымает
И платочком подтирает,
Что сатрап его з......л;
Видел много чуда и слыхал,
Как превнятными словами,
Некий голос вдруг шептал:
«Князь с ослиными ушами»,
Видел, слышал и сказал:
«Здесь тебе не место чести,
«Ты не знаешь подлой лести
«И к тому ж злой жребий дал
«Тебе странную фигуру:
«Кверху нос, язык ножом,
«Впалый лоб в лице рябом,
«И кривую позитуру,
«В двадцать лет оброс брадой,
«В дерзких взорах то сияет,
«Что невольно выражает
«Вид Иронии презлой!
«Нет, беги от них скорее!
Лутче в хижине простой
Жить с скотами, с простотой,
Чем с людьми скотов глупее!
Дымный воздух и сырой,
Стены зеленью покрыты,
Пухлый пол, в местах изрытый
И в дверях навоз рекой,
Друг мой! мне сто раз дороже,
Чем то с почестями ложе,
На котором князи спят!

И в ночи, о удивленье—
Бедным прачкам на мученье,—
Без свечей ландкрат чертят! . .
Отрасль Мида, Россов честь,
Не пойми мой глас за лесть—
Я цевницей тихострунной
Не пою всех славных дел,
Кои я узнать успел!
Будь спокоен, мир безумный
Не лишит тебя ума;
На челе твоем дубовом
Отрасль Селены взошла
И свилась с венком лавровым!
Finis! час уже молчать.
Я пойду в бауле лени
Пополам с нуждою спать,
Ты в роскошно-сладкой сени
Креатур твоих лобзать...

26

САТИРА НА НРАВЫ

Мой друг! в наш дивный век — науками, искусством
И россов доблестью и благородства чувством
Любви к отечеству достойных сограждан,
В сей самый век, когда вселенные властитель и тиран
Несметных орд к нам внёс убийства и пожары
И Провидения испытывал удары,
Сея в триумф побед постыдный бег и страх
И трупы хищников рассеяны в полях;
Когда прошедшее из книги современной
Мечем росс вырубал и славой покровенный
Секване (буйственной) начертал постыдный приговор;
Когда вселенной взор
России быстрый бег к величью измеряет
И подвиги ее в истории читает,
Тогда, мой друг, забыв сей подвиг славы,
Здесь дети робкие с изнеженной душой,
Чудесно исказя и нрав и разум свой,
В очах невежества чтут модные уставы,
И наши знатные отечества **столбы**
О марсовых делах с восторгом рассуждают. . .
С утра до вечера за картами зевают,
А жены их, смеясь, в боскетах нежны лбы
Иноплеменными рогами украшают.
Напрасно умный наш певец,
Любовью чистою к отчизне возбужденный,
И нравам и умам чумы иноплеменной
С войною — хочет дать конец!
Мартышка — весь свой век не устает кривляться,
Для подражания — бесхвостый, без ушей
Престанет ли осел кряхтеть и спотыкаться?
Из всех гражданских зол всего опасней, злей

Для духа нации есть чуждым подражанье;
Но спорить не хочу, чтобы в осьмнадцать лет
В уборе дедовском явиться в шумный свет
И с важностью начать другое подражанье.
Но, друг мой! Переждем — эпоха началась
И наше сбудется желанье. . .
Орел с одним орлом стремится в состязанье.
В России гражданства искра в нас зажглась
И просвещение спасительной рукою
Бальзам свой разольет в болезненных умах,
И с новою зарею
Русское любить пройдет безумный страх.
Но свет орангутанг; мы живем в том свете,
Где дым тщеславия рассудок закурил—
И многих мудрецов в паяцы нарядил.
У всякого одно в предмете—
И бедный Ир с клюкой
Подчас себя с Юпитером равняет. . .
И кучи золота, и царства рассыпает,
И наслаждается мечтой! . .
Все в свете допустить возможно,
Но быть игрушкою шутов и обезьян
В сей славный век для нас постыдно и безбожно.

27

Там далее сидит провинциал Минос
И указательным перстом чертит законы;
С улыбкой важною, подрявши красный нос,
Он проповедывает как межевать загоны,
Как Ева и Адам
В раю наказаны за несогласность мненья,
Как Гавриил их бил пребольно по плечам;
Как трудно было им тягаться по судам
За родовое их отцовское именье;
Как был когда-то царь, ему прозванье Петр,
Что первый он завел в России фраков моды;
Что есть орудие, названьем барометр. . .
Что за морем живут арабы иль уроды...
И все в безмолвии, с преклонной головой,
Глаголу мудреца столь важного внимают
И изредка, когда он скажет вздор пустой,
Они с почтением ему рукоплескают.
И сей великий муж, сей грозный судия,
Уездный меценат и удивленье света,
Из милости свой взор бросит на меня
Наместо пышного ответа.
Представь же, добрый мой и несравненный друг,
Сей свет, исполненный столь дивными умами,—
Там злобу и разврат, а здесь безумцев круг,
Там царедворцев строй с предлинными ушами,
Здесь женщин, дышущих коварством, суетой,
И новых Мессалин в нимфоманьи злобной. . .
Презренье им! О сколько раз с собой
Я в изысканиях терялся отвлеченных.

Здесь видел образец создания смешной,
А там великое — но с целию презренной!
Напрасно б стал тебе систему созидать
Вслед Канту, Шиллингу и многим им подобным.
Субъект его — (сущий вздор). Объект велит молчать
О пышной глупости всех тварей земнородных.
Я знаю цель мою и сей ничтожный дар,
Дар жизни, связь души с началом разрушенья,
И слабый мой талант и песнопенья жар
Слабеет с мыслью (минутного явленья).
Никто не вразумил, что нас за гробом ждет:
Ни тысячи волхвов, ни книги Моисея,
Ни мужи дивные, гласящи шумный зброд,
Ни гений Лейбница в листах Феодицеи.
И червь, и я, и ты, и целый смертных род
Для будущих времен пройдет, как блеск Эиды.
Скажи мне, где народ обширной Атлантиды?
Вот связь — всех сущих здесь и общий ей закон,
Неиспытающий в движеньях перемены!
А смертных глупый род, пуская глупый стон,
В веригах алчности, злодейств, убийств, измены,
Вседневно к алтарю Химеры вопиет. . .
И мнит пустой мольбой обресть своё спасенье,
Бессмертия то здесь, то там (в безвестном) ждет
И гибнет жертвой скорбей и злоключенья. . .
Безумцы, оградясь обрядами, мольбой
И верой — следствием вериг предрассуждений,
Чем ближе шествуют над крышей гробовой,
Тем злоба их сильней, тем чаще преступленья.
В груди с эхидною, с поникшею главой,
Со взором, алчущим неутомимой мести,
Слепцы под сединой
Идут порокам вслед, как вслед добра и чести!
О сколько я страшусь и бегаю обществ и судей,
Где слышу грозное пифическое мненье,
Глагол бессмысленных речей,
Где все против меня кричат с ожесточеньем —
Не верит кошкам он, не верит чесноку,
Не верит мумии всесильной,
Не верить он дерзнул спасителю-быку
И храмы позабыл священные Мемфиса...
Страшись, мой друг, простым пером
Не изобразить картины преступлений,
Века насильств и рабства гибельный ярем,
Терзающий народ жезлом постановлений!
Кровавый пот с лица и смутный взор,
Согбены рамена и впалые ланиты,
И дряхлость ранняя, и вкруг детей собор:
То раб, — истлевшим рубищем покрытый.
Шалаш от вьюг и холода, от бури и ненастья,
Не защищаемый и кровлею простой,
И вкруг следы нужды, печалей и нещастья —
Суть признаки судьбы тех жертв, которые

В трудах свой век для гордых чад корысти сокращают!
И все сокровища из недр земли
Для расточения бесчувственных владельцев извлекают!
И в довершенье — невинных дочерей
И юных жен, — одно несчастных достоянье, —
Влачит к растлению седой прелюбодей...
И на уста кладет ударами молчанье!
Но полно, я боюсь, чтоб чувств свободный жар
Не сделал скучною столь важную картину,
Чтоб друга твоего несовершенный дар
Выразил не так ужасных зол причину!
Возможно ль, видя зло, душой не сострадать?
Льзя ль в обществе невежд, средь зла и преступленья,
Где добродетель есть, как злоехидный тать,
Где зависть черная под личиною любви и уваженья,
Где воздух заражен пороков смрадной мглою, —
Возможно ль, говорю, довольным быть судьбою
И мизантропии одежду не носить?
Дитя и женщины бегут за мишурою,
А сердце робкое, нетвердый, слабый ум
Доволен призраком и тешится мечтою;
Но человек среди своих великих дум
Зреть должен — истину, прелестну наготою.

28

Нет, нет, не изменюсь свободною душою
И в самой стране приветливых цирцей,
Где взоры их горят под дымкою сквозною
Желаньем, негою и пламенем страстей,
Где воздух кажется любови жар вдыхает.
Взлелеянный в чаду пороков сибарит
Пред девой каждою пусть выю преклоняет
И низкий раб страстей душой порочной спит.
Мой друг, я буду твой, не изменюсь душой.
И чувства юные, восторг и пламень мой,
И ложе роскоши не разделю с другой.
И будет в ревности упрек напрасен твой.

29

О милая, прости минутному стремленью:
Желаньем движимый причину благ познать,
Могу ли слабый я всесильному влеченью
Природы матери в борьбе противустать
И чувства покорить холодному сужденью?
Лауры пламенный певец,
Лаурой вдохновенный,
При рукоплесканьях лавровый венец
В награду получил за свой талант смиренный!
Поэту юному мне ль вслед ему парить?
Бессмертие удел феномену поэту!
Я не могу, как он быть изумленьем света,
Но пламенней его могу тебя любить!

30
Г. С. БАТЕНЬКОВУ

Хотя глас дружества молчанью твоему
Без прекословия и укоризн прощает,
Но можно ль нежность дать холодному уму,
Который действие с причиной разбирает?
Ужели хладная и мертвая Сибирь,
Где видны ужасы неласковой природы,
Где вьюги и мороз, и вихорь богатырь,
От точки полюса под знаменем свободы
Стремятся по горам пустынным бушевать,
Могла твой прежний дух и дружбы уверенья,
Как кедра силой ветр главу поколебать...
И силлогизма дать софизму заключенье.
Беспечный друг! ужель разлуки свинцовый час
Покрыл прошедшее невозвратимой тьмою,
Ужель он заглушил влеченья тайный глас,
Который юношей нас съединил с тобою?
Иль долгу верный раб в союзе с суэтой,
Злобою, нуждами и бедством окруженный,
Не мог ты жертвовать минутою одной
Для друга ежедневно?
Конечно, в те часы, как ты мыслию летал
С Невтоном, с Гершелем в планетах отдаленных,
Движенья их, часы, минуты исчислял,
Их жителям давал законы неприменны,
Чужд бренности земной
О друге забывал, как о пылинке бренной?
И гений добрый твой
На время остановил тебя мечтой химерной.
Прости, мой друг.
Метафорическим моим уподобленьем!
С тяжелой головой, с унынием сам друг,
Могу ли услаждать приятным песнопеньем,
Твой к бурям приобыкший слух;
К тому ж вожатый мой, Вакх дерзостный и юный,
Тогда как я пишу, волнуя бурный дух, —
Мои наладил струны...
Напрасно б стал тебе забавы воспевать,
О радостях вещать дрожащими устами
И подвиги мои с улыбкой исчислять
На поле...
Погибло все, как сон с младенческой мечтой.
Любитель некогда военной непогоды
С прискорбием теперь меч обнажаю свой,
Как чадо смелое безвластия, свободы!..
Я свет печальный созерцал
И волос дыбом становился!
Когда же глубину души людей познал, —
Я с светом раздружился!..
Руссо и Тимани невольно оправдал...
И им последовать готовый,

Чем более людей боялся и бежал,
Тем делались сносней тяжелые оковы!
С пустынею в душе, с сомненьем ко всему,
Не доверяющий сим тварям ослепленным,
Которы в гордости невежеству, а не уму,
Возносят алтари... и гонят ум смиренный...
— О, сколько перемен с тех пор, как я с тобой
— На берегах Невы в последний час простился...
Но прочь сомненье, ты тот же должен быть:
Те ж чувства, чуждые и низости и лести,
И ум возвышенный, способный отличить
Талант от глупости, дым суетный от чести,
Те ж мысли правоты, размер во всех делах,
Поступь, сродная закону протяжений,
Те ж Эйлер и Лонграж горят в смеющихся глазах
По тем же степеням высоких уравнений...

31

СМЕЮСЬ И ПЛАЧУ

(Подражание Вольтеру)

Смотря на глупости, коварство, хитрость, лесть,
Смотря, как смертные с холодною душою
Друг друга режут, жгут и кровь течет рекою
За громозвучну честь,
Смотря, как визири, пошевеля усами,
Простого спагиса, но подлого душой,
Вдруг делают пашой,
Дают луну, бунчуг — и правит областями,
Как знатный вертопрах, бездушный пустослов,
Ивана à revoir с Семеном гнет на двойку
Иль бедных поселян, отнявши у отцов,
Меняет на скворца, на пуделя иль сойку!
И правом знатности везде уважен он!..
Как лицемер-ханжа, презря святой закон,
В разврате поседев, гарем по праву власти,
Творит из слабых жертв его презренной страсти, —
Когда невинных стон волнует грудь мою,
Я слезы лью!
Но если на меня Фортуна улыбнется
И если, как сатрап персидской на коврах,
Я нежуся в Армидиных садах,
Тогда как вкруг меня толпою радость вьется
И милая ко мне с улыбкою идет,
И страстный поцелуй в объятиях дает
В награду прежних мук, в залог любови нежной,
И я вкушаю рай на груди белоснежной! —
Или в кругу друзей на вакховых пирах,
Когда суждения людей, заботы, горе
Мы топим в пуншевое море,
Румянец розовый пылает на щеках
И взоры радостью блистают,

И беспристрастные друзья
Сужденью смелому, шумя рукоплескают —
Тогда смеюсь и я!..
Взирая, как Сократ, Овидий и Сенека,
Лукреций, Тасс, Колумб, Камодж и Галилей
Погибли жертвою предрассуждений века,
Интриг и зависти, иль жертвою страстей!..
Смотря, как в нищете томятся, погибают,
Безумцы ум гнетут, знать **право** воспрещают,
Как гордый Александр Херила другом звал,
Как конь Калигулы в Сенате заседал,
Как в Мексике, в Перу, в Бразилии, в Канаде
За веру предают людей огню, мечу —
На человечество в несноснейшей досаде
Я слезы лью!
Но после отдыха, когда в моей прихожей
Не кредиторов строй докучливых стоит, —
Но вестник радостный от девушки пригожей,
Которая «люблю! люблю» мне говорит!
Когда печальный свет в мечтах позабываю
И в патриаршески века переношусь,
Пасу стада в венце, их скиптром подгоняю,
Астреи вижу век, но вдруг опять проснусь
И чудо новое: Хво(стова) сочиненья,
Я вижу, Глазунов **за деньги** продает,
А к довершению чудес чудотворенья —
Они раскуплены, наш бард купцов не ждет!..
Иль Сумарокова, Фон-Визина, Крылова,
Когда внимаю я — и вижу вкруг себя
Премудрость под седлом, Скотинина.....
Тогда смеюсь и я!..

32

ПОСЛАНИЕ к К-ву

Изгнанник с маем и весной
Тебя приветствует, друг милой.
Опять зимы безмолвной и унылой
Темничный образ пред тобой
Природы девственной сменился красотой...
А для меня прошла весна!...
Очаровательной улыбкою она
Тоски по родине, привычного роптанья,
Печальных дум и бед воспоминанья
Не истребит в душе отжившей и немой.
Там, за вершинами Урала,
Осталось все, что дух питало мой,
И вера и любовь, я внес сюда с собой
Лишь муки страшные Тантала!
Зачем затворника надежда обольщала?
Зачем алкал он видеть край родной?
Прижать друзей к груди, измученной тоской,
И шестилетнюю неволю,

Борьбу с судьбой, страдальческую долю —
Опять в беседе вечевой,
При кликах радости мятежной,
Забыть за чашей круговой?
Или с любовницей младой
Отдать все прошлое порывам страсти нежной? . .
Зачем коварные мечты
Мой ум младенческой прельщали?
Зачем прекрасные цветы
Над бездной путь терновой застилали?
К чему коварный этот сон?
Я был давно к страданьям приучен, —
Шесть лет дышал темничною печалью
И грозный рок мне грудь сковал
Нещастием, как закаленной сталью.
Зачем я благ земных желал,
Сдружившись с жизнью неземною
И примирения искал
С людьми и грозною судьбою?
Они смеялись надо мною...
О, если б сто подземных жерл
Дохнуло пламенною лавой
На этот род безумный и лукавый!
Без слез, без горести б смотрел
На гибель их, на огненные волны,
И провидением довольный
Я б этот час благославлял,
Как будто б заблистал мне первый луч денницы!
Но нет! Зачем удар карающей десницы
Противу немощных слепцов?
Они из приторных наемницы сосцов,
Еще повитые, как цепью, пеленами,
Глотали алчными устами
Всё грязное, всё низкое, как прах!
Ярем невольничий — их доля в колыбели,
Болезнь младенчества — их доля в сединах.
Знакомо ль им стремленье к славной цели,
К стяжанию победного венца?
Нет! Нет! Не внятен им волшебный глас певца,
Волнующий возвышенные страсти,
Вливающий небесный дух в сердца
И возвышающий наш дух среди напасти!
В душе бесчувственность и на челе позор,
Пред слабым — власти наглый взор
И рабство — пред судьбой и силой,
Неверие в устах и бледность пред могилой, —
Не есть ли их постыдное клеймо?
Нет! Нет! Не обменю моей жестокой доли
На это славное ярмо,
На эту цепь приманчивой неволи!
Я здесь, сюда коварный рок
Из бурных волн, пучин и бездны,
Отбросил утлый мой челнок;

Я здесь, и звук знакомый и любезный
Не тронет слуха моего;
Мой смутный взор и бледное чело
Опять зарей весны не просияют,
Уста мои — лишь ропот и печаль
Невнятным звуком выражают...
Напрасно б взгляд бросал в безвестну даль,
Напрасно б ждал щастливой перемены:
Подземный стон, и вековыя стены,
Затвор железный, звук цепей
И тайный зов утраченных друзей
Меня и здесь тревожат в сновиденьи,
И отдаление в моем воображеньи
Не истребит сей пагубной мечты.
И все высокие картины
Природы грозной красоты:
Саяна снежные вершины
И мрачный вид безвыходной тайги,
Бурана рев и лом, и треск реки,
Подавленной, стесненной в беге льдами,
И торосы, вскипевшие стенами,
Как вековых руин следы,
И племена рассеянной орды,
Полярных дикарей воинственные нравы,
Их разум гибкой и лукавый,
Коварный взгляд, нестройный звук речей;
Повсюду грабежи, убийства, как забавы,
И резкие черты и буйных дух людей,
Которых страсти, заблужденье,
Гоненье, клевета, порок и преступленье,
Как крепкое к звену звено
Сковали в общество одно...
Страна, где каждый дом есть книга приключений,
Где вся земля — отверженных есть дом,
Где Минихов и Меньшикова гений
Ни славой прежнею, ни лавровым венцом,
Не различен убийц презренных с долей.
Все это дивное для смелой кисти поле,
Какой-то новостью еще блестит для глаз,
Но мой восторг давно в душе погас.
О милый друг! Все прелести чужбины,
Все красоты волшебной сей картины,
Не радуют: оне не в родине моей.
Скажи, кому отдам сердечные томленья,
Кто мысль мою и тайные движенья
Души поймет? Чей сладкий звук речей
Вольет в больную грудь минутную отраду?
Кто руку даст изгнаннику, как брату?
С кем лето знойное я жизни разделю?
Кто скажет мне, потупя взор стыдливой,
И руку сжав рукою боязливой,
Невнятным шопотом прекрасное: **люблю.**
Цветы поблекшие еще передо мною, —

Мне их дала младая дева в дар,
И с ними чувств и тайной страсти жар;
Я взял цветы холодною рукою
И руку ей с признательностью сжал,
И девственную грудь с улыбкой целовал...
Я розы рвал... но их благоуханье
Далеко ветр противный уносил.
Дерзну ль назвать минутное желанье,
Обманчивый восторг моих душевных сил,
Любовью чистою и нежной?
Нет, Нет. Любовь—одно мне с верой и надеждой.
Во мне их рок суровый умертвил!..
Ты знаешь сам, мой друг, мои страданья,
Ты сам темничною заразою дышал...
Но долго ли твои продлились испытанья?
Ты тягость бытия одну минуту знал...
А я? Могу ль предать прошедшее забвенью!
Оставить все, что сердце тяготит?
Не я ли верил с улыбкой в провиденье?
В борьбе с судьбой упал сей хрупкий щит.
Исчезло все!.. Под сводами темницы
Погиб мой дар с прелестною мечтой!
Невнятен звук моей цевницы —
Согласен он с моей душой;
Дерзну ли трепетной рукою
Завесу истины ужасной
Поднять пред суетной толпой?
Сей труд бесплодный и опасный
Душевных ран не исцелит;
И для изгнанника сиянье
Прошедших дней не возвратит;
Мое ужасно упованье!
В . . . . . вера — вот мой щит,
Души отжившей ожиданья.
Давно прошли, как миг один,
Как сладкий сон, лета мои младые —
И с ними радости земные...
Как счастия беспечный сын
Близ лар под кровлею родною,
Довольный светом и судьбою,
В моем неведеньи я счастье находил!..
Как вольное дитя природы,
Я только неба видел своды;
И легкой утренний зефир
Эмблемой был моей свободы...
И славы дым, ея кумир,
Для глаз завистливых блестящий мишурою,
С поклонников безумною толпою,
Души невинной не прельщал...
Тогда ни следствий, ни начал,
Добра, страстей и преступлений,
В хаосе споров, жарких прений,
Расторгнуть ум мой не алкал.

Мой взор беспечно созерцал
Лишь блеск светил в орбитах их движенья,
В лугах я свежих роз искал.
Не тайны дивной обновленья,
Не свист железа и свинца,
Не гром из медных жерл и стали,
Не лютый в битве клик бойца
Тогда мой робкий слух прельщали:
Любил я сладостный напев,
Как май веселых, сельских дев
Под звук задумчивой свирели,
Любил в тени густых дерев
Я слушать птичек нежных трели,
Иль звонкой голос соловья...
Любил журчание ручья...
Любил вечернею порой у колыбели
С безмолвием внимать,
Как нежная сквозь слезы мать,
Прижав к груди младенца, прорекала
Разлуку с кровлею родной,
Борьбу с людьми, борьбу с судьбой,
И провиденье умоляла
Младенцу дать удел благой!..
Прошло неведенье святое!
Мой час пробил!.. В душе моей простой
Все страсти, спавшие в покое,
Вскипели бурною волной!
Недетской взор сквозь мрак густой
Я бросил к новой, тайной цели...
И радость скрылась от очей,
Как в тучах блеск дневных лучей.
Мой взор горел и страсти пламенели,
Вдали я видел бледный свет
И скорбь стеснила грудь, ланиты побледнели,
Поблек прекрасной веры цвет,
Сомненья срезанный косою.
О добродетель! пред тобою
Я упал во прах, я слезы лил,
И с умилением молил
Отдать мне прошлое, отдать мне мир с собою!
С людьми я мира не просил,
Я их узнал, я их чуждался —
Приветов, ласки их боялся
И дружбы, как вражды крамольной трепетал.
Я видел, как, укрыв отточенный кинжал,
Мне руки жмет с улыбкою лукавой
И крест на грудь кладет рукой еще кровавой
По человечеству мой брат!
Везде я слышал плач и жалобные стоны;
Я видел, как в пыли потоптаны лежали
Права народные, щит слабого — законы;
С безмолвным трепетом раскрыл
Я Клии крепкие скрижали,

Но хладный пот чело мое покрыл,
Глубокие черты на обагренной стали
Мне жребий царств, народов и царей,
События грядущих дней
И настоящего в протекшем указали.
Давно мне этот мир, как степь безбрежная Сахары,
Где дышит ветр песчаною волной,
Как океан, где грозные удары
Валов не устают греметь над головой.
Мне этот край одно пространное кладбище,
В котором ищет взор безбедного жилища
Среди преступничьих гробов!
И мой ударит час всеобщею чредою,
И знак сотрет с земли моих следов.
И снег завеет дерн над крышей гробовою;
Весной оттает снег, за годом год пройдет,
Могильный холм сравняется с землею
И крест без надписи падет!..
Жестокой Крон безжалостной рукою
Разрушит гордые чертоги городов,
Дела героев, мудрецов
Туманною покроет тьмою,
Иссушит глубину морей,
Воздвигнет горы средь степей
И любопытный взор потомков
Не тщетно ль будет вопрошать,
Где царства падшия искать,
Среди рассеянных обломков?..
Куда же мой отвеет время прах?
Где денутся все призраки златые?
Куда отделится таинственное я?
Где будет след минутный бытия,
Надежды, суеты, желания земныя?
Давно погибло все, чего мой дух алкал!
Чего ж я жду с отжившею душою?
Кто к жизни мысль страдальца приковал?
И не в родстве ль давно я с прахом и землею?
Не время ль мне сделать шаг вперед
И снять покров с таинственной химеры?
В моих руках светильник чистой веры, —
Он свет в пути моем прольет!...

33

Не с болию, но с радостью душевной
Прощаюсь я с тобой листок родной.
Как быстрый взгляд, как мысли бег живой,
Из хижины убогой и смиренной
Лети туда, где был мой рай земной.

* * *

Ты был со мной, свидетель жизни мрачной
Изгнанника в суровой сей стране,
Где дни его в безвестной тишине
Текут волной то мутной, то прозрачной.

* * *

Здесь берег мой, предел надежд, желаний,
Гигантских дум и суетных страстей;
Здесь новый свет, здесь нет на мне цепей
И тихий мир взамену бед, страстей,
Светлеет вновь, как день в душе моей.

34.

Когда ты был младенцем в колыбели
И голосом невинным лепетал,
Кто жизни план младенцу начертал,
Назначил кто твой путь к опасной цели?
В объятиях кормилицы своей
Ты напрягал бессильные ручонки
И с криком разрывал, как цепь, свивальник тонкий!
Кто первый смысл родил в златой душе твоей
О вольности и тяжести цепей?
И в объятиях кормилицы твоей
Ты различал неволю от свободы...
И небо ясное любил
И ненавидел.

ПОВЕСТЬ О Р...

(Отрывок)

Я ехал с молдавских границ на милую родину. Лето было жаркое, пыль столбом вилась около повозки. Проехавши более шестисот верст, я чувствовал усталость.

Извощик, казалось, не замечал этого и беспрестанно погонял лошадей. Тише! — сказал я. Он взглянул на меня и улыбнулся. «Вы видно боитесь», — отвечал он и, как нарочно, пустил лошадей. Не более как через четверть часа мы очутились у почтовой станции. Я вышел, досадуя и на извозчика и на русские почты. Меня встретил на пороге станционный смотритель — с важною миной, в тиковом халате, с трубкою во рту и с цветущими фиалками на плоском лице. Я подал подорожную.

— Подождите немного, — сказал он охрипшим голосом, вздернув кверху свой красный нос.

— Не думаю, — отвечал я.

— Все лошади в расходе, да здесь и поважнее вас дожидаются.

— Мне не важность нужна, а лошади. Скорей запрягать!

— Потише, г. мой! Я сам 14 класса! Тут он начал рассказывать свои привилегии, кто ему покровительствует и как называется почтдиректор, как капитан Н. отдан под суд за грубость против господина смотрителя, как мало значат все жалобы господ проезжих. Изо всего я только то понять и заключить мог, что он обеспечен начальством делать всякие грубости и неприятности проезжающим, не рискуя за то никому отвечать своею персоною. Я умалчиваю о подробностях. Конечно, всякой читатель знает, что станционному смотрителю в этом случае нужно то, что Филиппу Македонскому при осаде городов, завоевании царства и истреблении неприятелей.

— По крайней мере, нет ли у вас чего нибудь поесть?

— Все что угодно, — отвечал многоглаголивый 14 класса господин

смотритель. Назад тому 8 дней обедал здесь генерал аншеф Р., в середу на прошлой неделе граф М., третьего дня господин генерал-майор Н., полковник Н., вице-губернатор Н., я не считаю протчих ничего незначащих проезжающих, — и все они были весьма довольны.

— Благодарю за комплимент, но, при всем моем ничего незначащем желудке, я так же хочу есть, как и г. генерал аншеф Р., граф М., генерал Н., полковник Б., вице-губернатор Н.

Он показал мне, сверх чаяния моего, довольно чистую комнату. Старик, которого черты при самом входе поразили меня какою-то оттенкою благородства, начал накрывать на стол. Какой-то тайный голос говорил мне в пользу его. Он тихо поклонился мне, спросил откуда еду, что велю подавать обедать?

— Все, что есть, — отвечал я.

Старик вышел. — Противу обыкновения всех чувствительных и замечательных путешественников я не стал читать путешествия по России по картам и ситуациям, — ибо, по щастию, ни одной подобной книги еще не вышло из-под прессу. Да и ненужно, ибо наши г-да дворяне почитают лучше заниматься ловлею зайцев и лисиц, нежели чтением Дюпати. К чему читать? Знаменитый Руссо очень ясно доказал, как вредно читать. И к чему послужит чтение, особливо, если предки происходят от царя Владимира, или от соотчичей князя Гедемина Желковского, от родственников Ягеллы или Кулды-хана.

Я лег и в сладкой мечте о свидании с милыми начал дремать...

— Кушать готово! — пробудило меня из сладкой неги и я с сожалением оставил твердое канапе, которое казалось мне тогда мягче лебединого ложа.

— Кто ты? — спросил я у замечательного старика, садясь за стол.

— Вольный человек! — сказал он с радостным движением.

— Откуда? Как тебя зовут?

— К.. губернии.., из Б.., Петр имя мое.

— Давно ли здесь?

— Нет!

Я долго распрашивал его, но ответы его были столь кратки, двузначительны и недоверчивы, что я наскучил говорить с ним.

Слова, сказанные с ласковою доброю улыбкою, — «Ах, любезный барин, вы недовольны», — пробудили во мне прежнее любопытство и внимание к нему.

— Почему ты это думаешь?

— Вы нахмурились и перестали спрашивать. — Я знаю, что вы хотите знать всё. Мы, маленькие люди, рассказываем, а после делаемся предметом ваших насмешек или обидного сожаления. Не все равны, не со всеми можно быть откровонному, как с покойным и нещастным моим барином Р... Слезы навернулись на глазах его.

Я почувствовал сотрясение во всех моих членах.

— Нещастный самоубийца, молодой Р... был твой барин, — сказал я, сильным движением оставя обед и вставая с моего стула.

— Точно так! — отвечал Петр с удивлением.

Воспоминания о смерти милого друга сделало во мне сильное волнение. — Увы! чувствительное его сердце не могло перенести несправедливости людей и жестокой судьбы; он сделался жертвою гонения совести и бесчувствия себе подобных! Я вижу гроб его и принесу дань временной разлуке! Слезы упали из глаз моих.

— Он был друг мой! — сказал я Петру, пробудясь от мрачной задумчивости.

— Вы капитан Р..?

— Да, любезный Петр! Я получил его последнее письмо. Оно со мною.

Я велел подать мой портфель. Между прочими бумагами долго искал письма, а добрый старик рассказывал мне о юности моего друга, о своей привязанности к нему, о печальной кончине. Наконец, я вынул письмо. — Мы любим говорить о любимом предмете часто, тем более с теми, которые его знают, близки к нему... Петр был его слуга, но слезы его убеждали меня, что он был ему ближе ничтожных, бесчувственных сотоварищей.

— Я подал ему письмо.

— Ах, это он, он! Мой добрый, любезный барин! Слезы не давали ему говорить. Он тысячу раз целовал письмо.

— Простите, — говорил старик рыдая.

Пропустя подробности, ненужные ни для читателей, ни для Петра, я прочел, следующее: «Так, друг мой! Я знаю, что меня будут винить в малодушии. Я прощаю безумцам. Их суждения ничтожны, их мнение и голос исчезают с ветром. Время сбросит остов, тягостный для духа. Сила рассудка превысила младенческие недуги суждений. Я покоен. Через два дня оставляю эту мрачную пустыню с удовольствием, люди не стоют сожаления: там примирюсь сам с собою, там — в ничтожестве или бессмертии — не буду страшиться ядовитых стрел гонений и безумия!

Если страдалец пьет чашу горького напитка, жертвует потерею членов ради минутного исцеления, почему же мне не сбросить тяжелое иго души для вечного забвения земного. Бог дал человеку свободу, я не употребил ее во зло. Для него я пренебрегаю жизнью и стремлюсь к соединению. Я не мог пережить самого себя.

Будущность казалась ужаснее настоящего. Я решился и в первый раз чувствую самодовольствие. Человек, у которого совесть не чиста, всего боится, он боится и самого бессмертия? Я покоен... ибо чувствую себя невинным...

Тебе известно всё... прими последнее прости от нелицемерного и за гробом друга».

— Ах, любезный барин, я перенес много горя, но смерть его для меня была всего ужаснее.

Я желал знать все подробности, всё о моем друге, жал руку почтенного Петра и умолял говорить все.

— Садись, добрый Петр, — сказал я ему. Верный слуга друга моего всегда любезен сердцу, всегда приятнее суэтного светского невежды.

Старик никак не соглашался, я не хотел принуждения и он начал:

— Я не могу, говоря о г. Р., умолчать о случае каким образом я узнал самого и достался его батюшке. Я родился в рабском состоянии, но принадлежал не г. Р... Щастье или нещастье было причиною, что граф М., объезжая свои деревни, увидел меня. Я ему понравился, он приказал мне ехать с собою в Москву. Мне было 13 лет. Сын зажиточного крестьянина, я более желал быть при дворе знатного моего господина; новое платье, новые сапоги, картуз с зеленым пером, всё, всё утешало меня. Въезжая в Москву, мне казалось, что я на том свете. Стоя за каретою, я смотрел во все стороны и, толкая своего собрата — слугу, беспрестанно кричал — «Алексей! Алексей! посмотри, какие хоромы! какая церковь!». Он унимал меня, и я весьма удивлялся его равнодушию, я думал не ослеп ли он?...

III.

ИЗ НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКИ РАЕВСКОГО [17]

ПИСЬМА К ПРИКЛОНСКОМУ

1

Извини меня, любезный друг Приклонский, что долгое время не писал к тебе. Ужасные хлопоты! .. Воинов хороший наездник, но самый нерешительный генерал. Он хотел меня взять в адъютанты и не сказал ничего вернаго, когда я к нему явился... **со временем... мы постараемся...** были его единственным ответом.

Итак, вот уже месяц, как я дома. Ездил в Курск, где корпус и дивизионные квартиры, заезжал в полк, коего штаб от нашей деревни 25 верст, Командир прекрасный, из гвардейских, но я не могу назвать его сотоварищем брани... Ты знаешь меня — следственно знаешь могу ли я быть кирасиром? Однакож я из этого переводу извлек некоторую пользу: отец позволил мне ехать на Кавказ. При моем расстроенном здоровье это остается единственное средство. Завтра подаю просьбу на 3 или 4 месяца, а между тем, рапортуясь больным, я буду жить дома в кругу родных, которые меня любят, всласть наслаждаться мечтательным покоем — хотя тебе известно, что беспокоит совесть мою! Друг мой! Прости моей слабости — это был ужасный урок моей неопытности. Со временем твердостию духа, а не малодушием, постараюсь уничтожить то, что безрассудность так скоро произвела...

Если только переслать тебе мои занятия — скажу в одном слове: я нежусь! как ленивец, — ни пера, ни книги в руки, — иногда с ружьем, и то не более как за версту, хожу стрелять.

Гипохондрия на некоторое время оставила меня. По возвращении с Кавказа решу участь мою: или перейду опять к вам, или в отставку, а здесь мне вовсе служить не хочется... К тому же у меня умер старший брат, который был в гвардии Уланском полку, а Андрею по гвардии достается штаб-ротмистр чрез несколько месяцев. Он первый по полку; вот как судьба играет людьми? .. Полтора года, как он определился. — Здесь я также стал первым штаб-ротмистром, и потому предполагаю чрез месяц или два пойдет представление в ротмистры. Без сомнения жить дома и приятно и спокойно, но ей! ей! бурные веселости наши приятней... Судьба, как нарочно, разлучает меня со всеми близкими к моему сердцу. Я ничего так не хочу, как памяти друзей моих и потому хочу, чтобы ты писал ко мне и только подробно обо всем, что может интересовать меня. — Прошу тебя иметь хотя вполовину чувств моих, Первое наше знакомство, казалось, было сигналом к продолжительной дружбе. Я надеюсь, что ты не изменишь слову твоему, а я с теми же простыми, но с истинными, чистыми чувствами дружбы остаюсь твой навсегда.

Влад. Раевский.

Мое истинное почтение Роману Федоровичу. — Скажи, что поспешу расквитаться с ним; а Лунину, Степанову, Алымому —поклон.

Адрес мой — Малороссийского Кирасирского полка штабс-ротмистру. Курской губерни, Старооскольского уезда, с. Хворостянка.

16 апреля.

Скажу тебе еще, что я непременно решился, есть ли возвращусь с Кавказа, проситься опять к вам — следственно, увидеться и жить опять с тобою.

2

Чтобы не быть у тебя в долгу несравненный Приклонский, я решился целой этот лист написать и ... объяснить всё, со мною случившееся по разлуке с тобою. — Тебе, я думаю, небезызвестно, что я выпил более обыкновенного с вами и потому приехал не совсем здоров. В полку ожидали меня письмо и деньги из дому; отец не совсем доволен моим определением и в документ приложил письмо к нему от Сипягина, где сей, последний, обещает ему сделать всё для нас. Два брата переведены в Гвардию — следственно и меня ожидала та же участь — но что же делать? Может быть война вознаградит потерянное.

Чрез два дни после моего сюда приезда полковник просил меня съездить в Бердичев для покупки инструментов. Я был доволен случаю и с капельмейстером отправился туда; был я у Шаф-Кагеля; самого не было дома. С 3000 рублей в кармане, определенными на инструмент, я полагал, что мне уступят книги за полцены, но ошибся: приступу нет! Однако, я купил на 30 рублей всякого вздору, в том числе изрядный атласик и последнюю часть Жомини; остальные хороши, но дороги. Однако на один месяц будет занятий! Обратный путь из Бердичева не был совсем щастлив, в Михновке переломилась ось с брички и мы должны были простоять до вечера, а ночью выехали: господи не введи нас во искушение и избави нас от немцов! Я ехал с капельмейстером, на каждом шагу кричал, бранился с извозчиком, а, наконец, к моей досаде и беде расслал человека и извозчика искать дороги — хотя они стояли на дороге — Ночь была холодная, он — то есть немец, стоял около брички держа в руках бас пузан, лошади тронулись с места, я крикнул извозчика: лошади рысью, — извозчик прибежал; лошади понесли — я, надеясь на свою легкость и ноги, сделал скачек и очутился в какой-то хате. Представь себе мое удивление, когда я открыл глаза? Изба! Мужики, лакей и немец все в слезах и все вдруг крикнули: он жив! Теперь я не верю бессмертию души, — я был 3 часа мертв; без всяких признаков жизни и не летал в идеальном свете: проснувшись лишен был понятий и памяти часа на 4. Немец с испугу прибил извозчика, извозчик с испугу ушел в Михновку, писарь, испугавшись, побежал к Сибирскому, а Сибирский, это обер-скотина, послал меня воротить назад, но это был я, следственно, через пять минут мне позволено было опять ехать и теперь чувствую еще кружение головы и боль в затылке.

Кальма не имел случая видеть. О тебе говорил Непенину, он в восхищении. При требовании списков к производству я поеду с ним в Херсон, полагаю тебе у нас будет вакансия. Если Непенин не поедет, я сам и один туда полечу. — Ты можешь быть во всем уверен. Ах! любезный друг! Какое удовольствие для меня служить с тобою вместе. Здесь все хорошо, но тебя не достает, чтобы я был совершенно доволен! .. Роты не принимал, да и не хочется, оставя выгоды и боясь невыгоды...

Я хотя не совсем здоров, но покоен и свободен! Чего более? .. Книги есть, занимаюсь, скоро ожидаю из Петербурга новых. Отец меня хотел перевести в кавалерию, но я сделал совершенный отказ...

Судьба меня познакомила с редким человеком. Вот его биография: он служил с Наполеоном. Всё время был в Испании, Италии, в России и, наконец, с ним же на Ельбе; после сражения при Ватерло перешел к австрийцам, там не понравилось и он переходит к нам в Россию: на службу. Щастие привело его к Непенину на глаза и он подал в наш полк. Молодой человек, хорошо говорит по-французски, по-немецки, итальянски и по-латыни. Рад случаю, я взял его к себе на квартиру и с ним-то провожу я большую часть времени. Сверх того ж, изранен и имеет много солидных познаний — фамилия его Вольфсберг, родом иллириец. Ты можешь судить, что при едакой находке я не скучаю (неразборчивое слово) признаться, познакомя меня ближе с философией и природой потемнили понятия, необходимыя для света. Хотя, впрочем, суетныя, но все необходимыя. Он пробудил их своими светлыми суждениями.

Второе мое знакомство есть полковник Пятин, про которого ты, я думаю, от Гейдахена часто слыхал. Он в отставке и живет от нас в 8 верстах, нередко здесь бывает.

Человек с большими познаниями. — Я радуюсь судьбе, которая дает мне способ видеть людей, у которых я заимствовать могу. Если будешь иметь время, приезжай сюда на 3 или 4 дни, моя квартира просторна и покойна... К. живет хотя в том же доме. Если не будешь иметь времени и охоты, то отпиши, когда я застать тебя могу Шкатулку как большую, так и маленькую — и сердце мое, полное дружества и привязанности—в залог терпения привезу. Непенина нет, он в Тульчине. — Прощай, будь здоров и покоен — мы от души постараемся быть в соседстве с тобою.

Твой навсегда Раевский.

25 октября.

Мне удивительно было это твое письмо: я так скоро получил, ибо первое получено 6 дней только.

Кланяйся Роману и Петру Федоровичу. Лунину и Степанову вели выпить за мое здоровие по стакану донского вина, от которого я был пьян.

3

Любезный и несравненный друг Приклонский! По прибытии моем в полк первые тринадцать часов мне казались адом — но прием столь благородного и любезного командира, каков Непенин, дал новое движение моему характеру и я — не раскаиваюсь в выборе моем; я нашел добрых товарищей, не тебя, не таких как ты, мой милый друг, но товарищей, с коими могу говорить, не опасаясь зависти и злословий — этого очень довольно. Я сожалею, очень сожалею, что ты не здесь в полку. Какая разница! Командир отец семейства, доброго и благородного, послушного; дебошей нет: порядок и дисциплина; — необходимость службы — без рабства действует; я против предложения Андрей Григорьевича не принимаю роты, а думаю до производства остаться так. Некоторые досадуют на меня за старшинство, но тебе известно, сколь много горд я противу невежд и людей низких. — Здесь получаются журналы, следственно, не без дела: читаю и читаю еще военный журнал, устав!

Здесь был (Орлов?) и весьма и весьма благодарил за полк, «нашёл чрезвычайно и всё исправным»...

Буде поедешь в Немиров к Кольму, уведомь, тогда там будешь, — я непременно приеду погостить. — Мой полковник дает мне пару лошадей и позволяет вояжировать, следственно, я, пользуясь сим случаем, отдам тебе долг дружбы.

Семенову отдай записочку и попроси исполнения. Я здоров и совсем не скучаю. — Напиши каково ты? И поправился ли хоть немного.— Будь здоров и щастлив и пиши к твоему верному другу **Раевскому.**

Мой адрес — в г. Липовец, Киевской губернии.

Князь Горчаков едет в Киев — вот новое.

Роману и Петру Федоровичу мое глубочайшее почтение засвидетельствуй. Товарищам поклон.

4

Получа письмо твое, несравненный Приклонский, я весь вспыхнул— если этим словом можно выразить волнение чувств, беспорядок мгновенный идей, как следствие неожиданной радости, душевного удовольствия. Воспоминание в минуту оживило прошедшее и постепенно склонило к созерцанию моей участи, которая так сильно переменилась в глазах твоих. Невольник коварной судьбы, я повиновался ей, но скрывая в себе мое состояние едва, едва не обязан был разлучиться с материалом моим. Ты все знаешь, по крайней мере видел. — При помощи всегда деятельного рассудка я, наконец, достигнул стези, от которой отдалило было меня зло свойственное, не человеку, но обществу людей, закоснелых в пороках, и разделенных с природою при самом рождении своем.

Окруженный милыми моему сердцу, я далек, весьма далек от самодовольствия, я вижу или смотрю на свет, как на пустыню; впечатление доброе или худое действует мгновенно и я чувствую себя почти бесполезным членом этой великой массы людей. Молодость любит свободу, раб страстей и желаний могу ли быть свободным? Наслаждение с сельскими полуневинными нимфами не дает права другу твоему наслаждаться в полной мере жизнью; ласки, милых добрых сестер еще пуще пробуждают усыпленное или отдыхающее сердце после бурь. Чтобы управлять людьми, надо прежде всего научиться управлять самим собою. Наука весьма тяжелая для человека в 24 года. Друг мой, не советую тебе оставлять службу, при всех ее невыгодах она делает человека человеком и дает тысячи средств к успокоению нравственному. Беспрерывная деятельность отвлекает от неги и малодушных желаний. Выбор общества зависит от тебя, а если фортуна улыбнется, легко и весьма легко достается право **быть на своем месте.** Ты теперь в состоянии том, где возвышение твое, или возвышение каждого члена, есть возвышение целого общества.

Чтобы достигнуть цели, надо сильней и беспрерывно действовать. При всем желании моего отца, чтоб я оставил поприще военное, я решился продолжать службу. Хотя по старшинству мне достается эскадрон (ты я думаю читал о моем производстве в ротмистры), но я оставляю эту службу и 10-го числа этого месяца решится мой жребий. Мы ожидаем Дибича. Полковник и бригадный генерал обещались просить его о переводе, ибо из Кирасирских полков запрещены переводы, если другого не поставить на место свое. Намерение мое служит у Кальма в полку, от которого я получил недавно письмо и пишу сегодня ответ.

С твоим письмом или на той же почте я получил письмо от К... Милый друг! Я краснею за самого себя, ты видишь могу ли я делать зло? Правда, страсти часто перевешивают во мне владычество рассудка, но он изобретает (хотя поздно) средство к поправлению оных. Воображала ли Кар..., что с потерею невинности, она заставит меня быть ей другом, который имеет целью переложить судьбу ее и состояние! .. Но ты так мало пишешь, так невнятно для сердца, что я жалею, почему письмо твое не было заполнено ею! Хотя она сама, madame и Rone ко мне пишут очень часто, но все они могут ли то сказать, что ты? Ты видел ее, нашел ли измену, нашел ли ту нравственную черту скромности и стыдливости, которая определит жребий ее? Но полно, ты меня слишком знаешь, дабы мог сомневаться в худых или добрых моих склонностях. Пускай безумцы и зоилы острят жало клеветы, человек должен дорожить мнением **человеков**; презирать их есть самое лучшее оружие в таком случае, думать о том, значит унижать самого себя.

Насчет свидания нашего я ничего верного сказать не могу, ниже назначить место. Разве только мне при переводе сделать крюку верст 300 и обнять тебя на твоем ротном дворе. Батеньков для меня сделал 900,— почему же мне для тебя не пожертвовать третьей частью того, тогда как я тебе обязан очень много? Я умею, любезный друг, чувствовать всю цену того, что ты делал для меня. Благодарность неразлучна с чистотою правил — на коих основал я всю силу моих действий. — Твое письмо во всех соотношениях так коротко, что, признаюсь, досадно было читать. Я его раз сто перечитывал и жалел даже, что оно было не бесконечное. Я так привык слушать или внимать тебе, что каждое твое слово рождало новую идею. Я не могу распространяться, ибо предметы меня окружающие незнакомы тебе, ты можешь и должен говорить много потому, что ты оставил и находишься еще теперь между людьми, которых я знаю.

Выпиши на этот год, 1820, **Украинский Вестник**, который издают при Харьковском университете, там иногда увидишь слабые опыты моего пера. Я прилагаю записочку и адрес. Это будет стоить 18 рублей, а найдешь всё, что и в других журналах.

Роману Федоровичу засвидетельствуй мое глубочайшее почтение, извини перед ним, что до сих пор не прислал долгу, — при будущем письме надеюсь расквитаться. Скажи, что я его помню и всегда помнить буду его благородное обхождение и сочувствие. Петру Федоровичу также.

Сотоварищам братский поклон, я сегодня выпью за их здоровье; сожалею очень, что вы переменили квартиры. Мы бы имели более средств чаще видеться. — Друг мой! Я все тот же, болезнию изнурилось тело мое, но чувства и воображения не охладели и я надеюсь, что ты будешь платить взаимностию за ту преданность и чистосердечие, с коими я по гроб мой останусь истинным другом твоим.

Ноября 1. **В. Раевский.**

ПИСЬМА К Г. С. БАТЕНЬКОВУ

1

При всяком случае, а в особенности теперь, рад писать к тебе Гавриил Степанович. Не ожидаю ответа, я извиняю тебя. Пожалуйста, пиши это Ив. Ив. Пущину. Я узнаю о тебе столько, сколько знает он.

Прощай, обнимаю тебя — **В. Раевский**.
Олонской крестьянин.

2

Но получив ни одного ответа на записочку и письма мои, я уже не знал писать ли или нет. Но необходимость облегчить и душу и сердечную тяжесть заставили высказаться, что меня немного это потревожило или тревожит. Не могу думать, чтобы это было следствием долгого отдаления, — некогда писать. Пущин И. И. здесь и тешит меня и всё семейство надеждой тебя увидеть. . . О если бы это сбылось, я бы записал важным событием в событии всей жизни моей.

Если я пишу к тебе записочку, это ни для твоего утешения, но ты знаешь, что всякому видеть Руссо, Лейбница и проч. весьма бы хотелось — следственно, понимаешь причину. Посылаю тебе очки, которые, полагаю, будет тебе по глазам. Не нашёл ничего, чтобы могло быть ближе к органу памяти. Прощай, обнимаю тебя.

Твой **Вл. Раевский.**

3

Письмо твоё из Калуги от 1? августа я получил, любезный друг мой Батеньков. Ты, конечно, хорошо понял из свидания твоего с сыном моим Юлием, из его поспешности явиться к тебе, как много я думал, любил и люблю тебя, и что 45 лет нимало не уменьшили тех юношеских сердечных привязанностей, которые сблизили нас. Твои редкие письма, твою холодность приписывал я двадцатилетнему твоему гробовому заточению... Твоё возвращение к жизни общественной и деятельной более удивительно, нежели свидание с сыном моим в Варшаве. Я думаю, он сказал тебе, что из дому, т. е. отцовского, я взял подорожную на Калугу, чтобы увидеть тебя и обнять, конечно, в последний раз в жизни. Но какой-то господин уверил меня, что тебя нет в Калуге, что ты был в разъездах. Это было в Туле 14 сентября 1858 года. Я не писал к тебе, потому что не имел адреса. Выезжая из Томска, ты уведомил меня только что ты едешь в Калужскую губернию к г. Елагиной в деревню. В душе радостно благословил я тебя на новый путь и лучшую жизнь и перекрестился от восторга, что и в России есть ещё такие благородные люди, как г. Елагина.

С коленопреклонением поцеловал бы я святую ручку, которой она писала к тебе. Я на моей родине был пришлец. Наследник слишком 1000 душ, я не имел родной крыши, где бы отдохнуть после шестилетней тюремной жизни, 30 летней ссылки и усиленных трудов.

Всё имение разделили сёстры и укрепили за своими мужьями перед приездом моим.

Ты пишешь, что Любенков в Москве, где он? Что он?

В 1812 году мы оба с ним поступили в самые боевые артиллерийские

роты он в 17 лёгкую батарею, я в 23 батарею Гулевича. Обе роты за отличие получили знаки на кивера, а офицеры золотые петлицы. На походе я виделся с ним два раза и с того времени я ничего не знаю о нём. Напиши мне адрес его. Кто комендантом в Варшаве — не знаю. Юлий мне не писал.

В Нижнем Новгороде, в Москве, в Петербурге много встретил я старых знакомых по службе и товарищей по университетскому благородному пансиону (который в 1827 г. уничтожен). Большая часть из них стоит на верхних ступенях Административной лестницы, но отношения наши остались не только те же, но кажется сильнее, скрепились после возвращения моего, как бы с того света. Из всех ссыльных, возвратившихся в Россию, я виделся только в Москве с Серг. Григор. Волконским и Мат. Апостолом — Муравьёвым, а в Нижнем с Алек. Ник. Муравьёвым (военным губернатором). Последний желал взять моего Юлия в адъютанты, но встретившись с Липранди я рассчитал, что при нём будет поучительнее, следственно, выгоднее и полезнее для будущности.

С Липранди мы служили вместе, оба в 32 Егерском полку, но жили в Кишинёве при Мих. Фёдор. Орлове, дивиз. начальнике. Я управлял военными школами, он в командировке. И тогда он был прилежно-скромный и благородный офицер. Сына моего он принял и обласкал, как родной. Мне уже 65 лет, два младших сына ещё в гимназии в III классе и дочь, которая только что поступила в институт, следственно, труды мои и заботы ещё не кончены. Здоровье мое всегда было не крепкое и только жизнию экономически рассчитанной, диэтически, гигиэнически и, пожалуй, математически—я ещё не дряхлею. У меня ещё нет седых волос и зубы крепки. Но отдохнуть всё таки приходится не на этом свете—в могиле.

Относительно настоящего и будущности России, я с сожалением смотрю на всё. Сначала я с жадностью читал журнальные статьи, но, наконец, уразумел, что все эти вопросы, гласность, советы, стремления, новые принципы, прогресс, даже комитеты — игра в меледу. Государство, где существуют привилегированные и исключительные касты и личности выше законов, где частицы власти суть сила и произвол без контроля и ответственности, где законы практикуются только над сословием или стадом людей, доведённых до скотоподобия, там не гомеопатические средства необходимы. В наше время освобождение крестьян было ближе к делу. Прежде всего следует крепостному рабу возвратить человеческие права, а потом толковать о поземельном праве, или о наделении землею. Человек, не имеющий права быть свидетелем против господина, у которого жена и дети, и сам он, и всё его имущество принадлежит по праву помещику, человек, которого господин имеет право отдать в солдаты, сослать в Сибирь, даже засечь без посторонних свидетелей, этот человек — человек ли? Конечно, он доведён уже до бессмыслия, скотоподобия, одеревянения и не чувствует своего нещастного и безвыходного положения. Тем более, что положение казённых или государственных крестьян, ничем не лучше в настоящее время — крепостного состояния.

Далеко поведут эти вопросы и если я коснулся их, так потому только, что они составляют предмет одинаково для всех сословий знаменательный. При проезде моём в России через лучшие губернии я видел и не узнал этого бойкого, бодрого, стройного русского человека. Так исказился он и изменился за эти 32 года! Хитрость, подлость, дерзость,

наглость так и отражаются на пьяном облике и в его рабских кривляньях и ухватках.

Прошедшая война доказала, как низко упал этот несчастный люд. А славянофилы, пожалуй, скажут, что это следы татарского ига?

Что же делать — спросишь ты. Указ! Указ! К другому средству мы не привыкли. 30 лет Россия не жила, но судорожно двигалась под барабанный бой. Александр Македонский после блестящих подвигов и завоений, ещё в силе и, можно сказать, молодости, как и чем завершил или увенчал свои подвиги? Он спился с кругу и повелел почитать себя Юпитером, приносить жертвы и поклоняться. . . Царь Македонский был ученик или воспитанник Аристотеля. Он знал законы Лакедемона и Афин. Следственно, не в учебных экзерциг-гаузах кончил курс учения, отчего ж такое нравственное падение? От того, что всё падало ниц, вправх перед его всемогуществом, потому что дела его не подлежали никакому контролю. Сумасбродство его было только следствием власти, силы, счастья и безответственности. Что же удивительного, если у нас по временам и довольно часто проявляются такие же Юпитеры? Ты сам был со Сперанским при его ревизии.

В последнее время при Муравьёве наехали к нам на службу лицеисты и не лицеисты, большею частию дети или родственники наших мандаринов, за получением чинов, орденов, денег и губернаторских мест. В короткое время они так усилились, что должности и награды совершенно зависят от них. Они так искусно окружили генерала, что ни одна жалоба, ни одно письмо даже не доходят до него без цензуры.

Возвратясь из России, меня поразила перемена слишком очевидная не только в Управлении, но в жизни общественной в Иркутске. Генерал принял меня попрежнему очень приветливо, но я узнал, что в отсутствие моё эти куликообразные старались ослабить его доверие ко мне. Сначала я смеялся, но когда рассмотрел, что кабала слишком сильна, что быть адвокатом народным я не могу, что с новыми убеждениями генерала я не слажу — я сошёл со сцены.

В апреле месяце прошлого года, по выезде Муравьева в Кяхту, а оттуда на Амур, опричники или аманаты (как их называют здесь) Беклемишев (Малюта Скуратов), Гурьев, Анненков и Шелехов, самым преступным, предательским образом умертвили чиновника Неклюдова под видом дуэли. Весь город был в волнении. . . Неклюдов, молодой, образованный, хорошей и богатой фамилии чиновник, с самого приезда своего не сошёлся с другими аманатами. О вражде их и об оскорблении Неклюдову говорить долго. — Неклюдов решился оставить Сибирь и возвратиться в Петербург. Он взял увольнение от Муравьёва, но подорожную задерживали.

Неклюдов имел неосторожность говорить, что он «обнаружит всё злодеяние, бесчеловечие, грабёж Беклемишева и других любимцев».

Он имел в руках факты, следственно, выпустить его боялись. В это время резкие статьи Завалишина об Амуре в «Морском сборнике» и др. журналах обратили на себя внимание не только публики, но и правительства. Неклюдов мог подкрепить их и разъяснить внутреннюю администрацию. Подорожную задерживали и не переставали оскорблять его. Наконец, выведенный из возможного терпения, Неклюдов дал несколько пощёчин Беклемишеву и сбросил его с лестницы. Этого только и домогались опричники. Они имели предмет к убийству.

В народе идут слухи, что Муравьёв приказал убить его. Но это, кажется, неверно или по крайней мере сомнительно. Все жители Иркутска

знают и убеждены, что Неклюдов убит предательски. Все окружающие генерала дело это понимают так же. Всех чиновников, которые явно высказали своё мнение и убеждение, вытеснили из службы, другие стоят в списке проскрипции, до времени. Эмиграция из Восточной Сибири не только чиновников, но и граждан усилилась. Все говорят шопотом. Шпионство развелось. Убийцы не только не были арестованы, но остались при исполнении своих должностей. Я постоянно живу в Александровском винном заводе и в Олонках, в 15 верстах от завода. В два года я был только 3 раза в Иркутске, и то по необходимости. Но самое моё отрешение от жизни общественной, даже молчание моё опричникам казалось подозрительным. Статьи в «Колоколе» и другие памфлеты приписывали они мне и совершенно ложно. Этого мало. Они нашли одного бродягу и поместили в Ал. завод с поручением писать на меня доносы и подавать генерал-губернатору. Натурально доносы были так глупы и нелепы, что отвечать на них было бы смешно и дико, если б подписи генерала не было в запросе по доносам.

После 10 летней доверенности и уверенности в моих честных правилах принимать и поверять такие доносы было уже оскорблением. Я по последнему доносу написал письмо Муравьёву (письмо пришлю к тебе) и совершенно убедился, что он слышит и видит и действует под влиянием и по внушению окружающей его дворни.

Вот тебе факт: назад тому несколько лет, по вызову или сам собою, приехал на службу родственник Муравьёва, надворный советник Рыкачёв, начавший службу в артиллерии, потом из отставки поступил в гражданскую службу. Он прямо остановился в доме генерал-губернатора и до конца постоянно жил у него и управлял и распоряжался в доме, как свой. Губернский казначей — он был самый точный, исполнительный, бескорыстный чиновник. Как человек он был прямой, строго справедливый, неподкупной и характера независимого. Генерал ему верил. Все чиновники и граждане его уважали.

Опричники знали и боялись его. Муравьёв был на Амуре, когда производилось следствие над убийцами (ты сам понимаешь, как чиновник Глав. Управления мог проивзодить над любимцами генерала), наконец, он возвратился с Амура... И что жь? Он встретил Рыкачева словами: «Как ты смел, подлец, входить в заговор против меня» и проч. и проч. в этом смысле и тем же тоном. Я бы усомнился, но Рыкачев рассказывал мне это сам. Он тогда же сказался больным, — взял отпуск и уехал в Россию. Муравьёв в Петербурге просил, хлопотал, кланялся — за убийц...

Московский Сенат назвал преступление «предрассудком», убийство: «честной дуэлью». Окружной суд и советника губ. суда «предать суду» за строгое решение и мнение против преступников. И где же предать? «При Главном правлении Восточной Сибири»: т. е. в канцелярии генерал-губернатора. Это четвёртое сенатское решение, о котором в хронике русского правосудия будет сказано рано или поздно: 1. Убийство девицы Алтуховой — Ширковым. 2. Аракчеевское дело по убийству Настасьи. 3. Дело Сухово-Кобылина по убийству любовницы и это 4-е дело. После всего, что объяснил тебе, доволен ли мною или не доволен Н. Н. для меня не всё равно, потому что я или должен был подчиниться несправедливому требованию власти и продать свои убеждения, верования, честное имя и любовь народную за ласки и притворное уважение, или остаться тем, чем был и потерять расположение одного лица. Что бы ты сделал? Нет, мнение общественное, покой моей совести, независимость

убеждений останутся со мною. Я не ищу ничего. Я жил и хочу умереть честным и справедливым человеком. Если мы заживёмся на этом свете, может быть ещё увидимся. Смотря по обстоятельствам, я думаю побывать ещё на Руси. Вот тебе отчёт о самом главном, что тебя интересовать может.

Пиши ко мне, поясни твой быт, твоё настоящее и, если можно, окружающее тебя. Ты можешь быть уверен, что я отвечать буду. Я забыл тебе сказать, что на всю Восточную Сибирь одна гимназия и та в 150 ч. разночинцев. В университете Муравьёв отказал министру просвещения.

Прощай, друг мой, обнимаю тебя

В. Раевский.

Мой фотографический портрет, хотя худо снят, но похож.

28 сентября 860 г.

Ал. В. Зав.

6 октября 1860 г. В 1812 году в этот день мы разбили корпус Мюрата. Я весь день был в деле.

4.

Июля 25, 1861 г.

Давно не писал я к тебе любимый друг Гаврил Степанович. Причина очень понятна—тебя столько же интересует Иркутск, как меня Калуга, а общие вопросы и журналистика наводят только тоску и досаду. Уж не говорю о фразеолюбии и вводе вычурных халдейских и ассирийских слов; но смысл, мысль, логичность — чорт знает, да журнальные ремесленники или поставщики понимают, а может и сами не понимают, а лишь бы получить 50 р. за лист да угодить малосмысленной публике какой-то пошлой либеральностью. Меж нами и этими жиденькими демагогами стоит промежуток в 30 лет, старое всё забылось, да и выбито из самых понятий и началось опять с азбуки — да какой? .. **Гласность:** т. е. становой, исправник, студент, пьяный помещик—вот над какими лицами разразилась неумолимая, беспощадная гласность. А что делается здесь, кто осмелится сказать? Губернские ведомости дозволены с тем, или на таком основании, чтобы прославлять и прозой и стихами и, пожалуй, ребусами и шарадами, величие, добродетель, титовское милосердие Губернаторских Мандаринов. Да и цензура у них в руках. Гласность! Я получаю (неразб.). Многие статьи замазаны так, что химически очистить нельзя, потому что клеено решёткой — стало быть у нас есть что-нибудь очень дурное и опасное, чего и прославленная гласность допустить не может. Такому государю, как наш, опасаться нечего от своего обязанного народа, от русского человечества — я называю народом всю вообще многолюдную Русь, включая все касты, кроме тифозной камарильи — никогда неопасной. Россия не Польша. Под самым тяжёлым прессом она усиливалась и расширялась.

Конечно, простой народ доведен до скотоподобия, ему привиты все грязные пороки, но в нем осталось ещё природная атлетическая сила и свой смысл, хоть зверский, но логичный. Этот народ следует смягчить, а чтоб смягчить необходимо образование правильноё, а не воскресные школы! У нас на всю Восточную Сибирь всего одна плохая гимназия, и несколько так называемых уездных и приходских училищ, в которых и учеников почти нет. Университета по предложению министра—Муравьёв

не допустил, а воскресные школы непременно требует. Для кого и для чего? У нас в Чите, областном городе, вышел смешной анекдот из этих воскресных школ. Корсаков несколько лет считался вост. губернатором Забайкальской области.

На место его приехал новый восточный губернатор, Жуковский. Вследствие возникшей моды и во имя прогресса, он созвал чиновников и жителей и предложил **непременно и немедленно** устроить воскресные школы. Но кто же будет учить? — спросили его. Как кто? — учители гимназии. — Здесь гимназии нет. — Как нет? Ну, так из уездного училища. — Уездного училища нет. — Нет? Ну, так из приходского. — Приходского училища нет! — Наш меценат стал втупик... — Но забайкальских казаков 40 тысяч — вероятно есть казачьи школы? — И казачьей школы нет. Вот тебе пояснение 12-летнего управления Сибирью Муравьёва. Эта система и управление отзываются теперь на несчастном Амуре, а Забайкальская область разорена налогами. Теперь для тебя понятно для чего безграмотность нужна. Я помню, когда я был призван в комитет 1826 года. После моих ответов на вопросы великий князь Михаил Павлович спросил у меня — «Где вы учились?» Я ответил: — «В Московском Унив. благородном пансионе»*). «Вот, что я говорил.., эти университеты. Эти пансионы!». Я вспыхнул. Мне было только 30 лет. — «Ваше Вы-во, Пугачев не учился ни в пансионе, ни в университете...». Настоящия события доказывают, что для правительства всегда Пугачев опаснее Пестеля и Рылеева. В таком обширном государстве, как Россия, грамотность и законы, ограничение произвола и развитие христианского учения могут сдерживать в желаемом порядке. Народ лютый, зверской, потому что невежественный, сильно подавленный рабством и произволом. В Севастополе, в старорусских военных поселениях, — что было причиною бунтов и резни? — одно грубое невежество и насилие, которое тяготело над этим лютым, хотя терпеливым народом. Для коноводов холера была только предлог. Вот как я понимаю. Следственно, защитники невежества простонародного суть враги правительства и бичи человечества. Прогресс. Если правительство, или собственно государь желает просвещения, то это святое желание должно простираться на всех. За какие грехи Сибирь исключена из общего списка. Студентов здесь выживают. Одни лицеисты стоят во главе управления, и какие лицеисты? Которым нет места в России, которые не (неразб. слово) на привилегии, касты и заведения должны были ехать в Сибирь с рекомендациями папашей, мамашей, сестриц, дядюшек и пр.

Журналы наши толкуют о воспитанниках высших учебных заведений. Уверяю тебя честью, что никогда в продолжении всей моей жизни в Сибири взятки и насилия не были так явно и ощутительно развиты, как в настоящее время. И лицеистами именно. Прежде заседатель брал 5, 10, а много 25 руб. ассиг., а лицеист берёт сотнями и требует иногда тысячи. Это я говорю фактически... и вот каких прогрессистов обстегивают публицисты! Избави нас, боже, от лицеистов и начальников из Пажеского корпуса.

О польских делах я не буду говорить много. Манифестации в Варшаве суть чисто польско-католические. С гвоздём в манишке (эмблема распятия и страдания христа), с крестами в руках или с палками, вроде архиерейских посохов, в траурной чёрной одежде и в конфедератках. Панихиды по убиенным, вследствии их сумасбродства, молебны на ули-

*) Пансион по окончании дела уничтожен.

цах и пр. и пр. доказывают, что народ этот не знает сам, что ему делать? С какою целию? Оставь их на собственный произвол и они друг друга вырежут. В продолжении моей службы я шесть лет прожил в Польше и западных губерниях. Государь дал им конституцию, но, поверь мне, они даже не поймут выгод своих и всегда будут недовольны. У меня два сына в Варшаве. По наружному там всё покойно под влиянием 30 или 40 тысячного корпуса. Я попрежнему занимаюсь перевозкою вина во всей Восточной Сибири. Живу большею частию в Алек. заводе, в 15 верстах от моего дома — Олонок.

Сибирь, после всех инквизиторских расположений, уже не так светла, не так радушна для меня. Дети мои разъезжаются. Дочь моя, Александра Владимировна Бернатович, с мужем уехала на Волынь. Два сына в Варшаве, меньшая дочь за прокурором в Чите, одного из меньших сыновей отправляю в Россию.

Прощай, друг мой. Обнимаю тебя.

В. Раевский.

Меня спрашивал в Калуге кн. Оболенский или Одоевский — жив ли?

5

Письмо твоё от 6 декабря, любезный друг Батеньков, я получил. Благодарю тебя за скорый ответ.

20 генваря уехал от меня сын мой Юлий, которого ты видел в Варшаве, третий мой сын Михаил, юнкер здешней артиллерии, подал в перевод в уланы и уехал с братом в Варшаву. По новому распоряжению военного министра производство юнкеров закабалилось на многие годы. Ты знал Восточную Сибирь во времена Сперанского. Я познакомлю тебя с нею в настоящее время. Из описаний и рассказов ты ничего верного не узнаешь. Статистика и цифры будут для тебя понятнее и вразумительнее. Число жителей в Восточной Сибири почти то же, что было за 40 лет назад. Оно увеличивается только поселенцами и ссыльно-рабочими. В губерниях и областях с Амуром: один миллион двести тысяч (1200000 душ). В твое время было два губернатора и один генерал-губернатор. В настоящее время у нас: один генерал-губернатор, у него помощник генерал Корсаков, 6 губернаторов, 6 полицмейстеров полиций, 6 прокуроров, неопределённое число адъютантов и чиновников особых поручений, 6 команд для караулов, 6 острогов и пр. и пр.

Кроме того, градоначальство в Кяхте, на правах губернаторства, где полиция, полицмейстер, прокурор и проч. принадлежности...

Предстоит вопрос: какою силой правил один гражданский губернатор в Курской, Полтавской и других губерниях, где жителей далеко более Восточной Сибири? Генерал-губернаторская канцелярия, или главное управление Восточной Сибири состояло из трёх отделений, теперь 7 отделений, 7 начальников отделений, 12 столоначальников и так далее. Из этого выходит заключение, что не по количеству людей, а по количеству земли усилилось чиноначалие, или власть, или бюрократия. Из России выписывают, вызывают чиновников, но кто, или какой образованный, хороший чиновник решится ехать на неизвестность в такую даль?

Дети, родственники петербургских властей, конечно, со школьных скамеек, 16 и 17-летние титулярные советники (как аманат за поддержку в Петербурге) выезжают сюда за чинами, орденами, для практики над нещастным народом — и как в гостинице поесть, попить, выспаться и

но сварении желудка испражниться, и потом, оставя зловоние, уехать в Россию на высшие должности по званию, чинам и родству... Вот положение нашего края. Я более сибиряк, нежели ты. На всю Восточную Сибирь одна гимназия в Иркутске. В областном городе Чите даже приходского училища нет, а между тем в Иркутске литературные вечера, географическое общество, губернская газета и газета «Амур». Даже воскресные школы предписали заводить... Кого тут дурачить? Газеты в руках высшего произвола, а литература? Бедная литература!

На исходе жизни ты можешь быть покойнее меня. Ты выдержал, выстрадал более меня, но у тебя нет ответственности за 5 детей (я говорю о сыновьях), которых будущность ещё неопределенна, как и настоящее — два меньших сына ещё в гимназии. Журналистов я считаю за агентов полиции. Зачем будят они благородные чувства юношей и тревожат наши? Гласность? Какая Гласность? Езоп, Крылов, Хемницер, даже Дмитриев нападали на пороки смелее, вразумительнее... я не говорю о Кантемире и Фон-Визине. Мне здесь иногда чудится, что мы живём в царствовании Анны, под владычеством Бирона. Конечно, это сон... Посылаю тебе обещанное письмо. Пиши, я буду отвечать. Я писал к Любикову записочку через сына моего. Отзовётся ли он не знаю. Но ты не объяснил — на что он? и как его имя, а в 40 лет я забыл.

Прощай, обнимаю тебя.

В. Раевский.

Февраля 10.

ПИСЬМО К ГРАФУ МУРАВЬЕВУ-АМУРСКОМУ

По новому тайному доносу Посевского я не решился бы беспокоить Ваше Сиятельство, если бы он не был только продолжением и повторением прежних вследствии одной и той же причины.

На предписание Вашего Сиятельства г. смотрителю завода от 8 апреля 1859 г., я тогда же отправил объяснение начальнику 3-го отделения г. Успенскому. Кто был следователем—мне неизвестно. Впоследствии говорили, что донос поверял чиновник Шелехов. Я знал, что чиновник Шелехов спрашивал рабочих об винокуре, но, всякий день постоянно посещая меня, он ни прямо, ни намёком не говорил мне ни слова и ни одного жителя завода не спрашивал обо мне, тогда, как простой вопрос на месте доказал бы ему ложь и клевету и откуда она произошла, и я не имел бы необходимости письменно обличать как доносчика, так и следователя. Ваше Сиятельство знали меня 10 лет, как честного и справедливого человека. Неужели по возвращении из России я так изменился, что поведение и жизнь мою надлежало подчинить наблюдению, поверке и оглашению Посевского?

Тайные доносы его почти публичны: он сам рассказывает об них, когда пьян, пьян он всегда, когда получает деньги, а деньги получает, подбивая и втягивая бедных и глупых людей в письменные просьбы, тяжбы и ябеды. Из пяти или шести деревень, куда назначали его сельским писарем, он был выгоняем. В заводе он живёт без вида, или паспорта и пользуется всеобщим отвращением.

С таким лицом я не мог иметь никаких столкновений. Знаю и уверен, что ни один честный человек не только в заводе, но и во всей окружности не станет говорить с ним обо мне.

Почему же он пишет на меня?

Конечно, доносы составляет сам, по своему смыслу украшает их

своим красноречием, но тема, содержание и указание на меня даны или внушены ему теми людьми, которых тревожило и тревожит Ваше расположение, внимание и доверие ко мне. Если я имею врагов, то я не виноват. Это общая участь людей, у которых есть собственные правила и независимыя убеждения. В мои лета они измениться не могут.

Не довольно ли я сделал уступки этим людям, отрешаясь от жизни общественной, удерживаясь даже от приближения к властям и удаляя старших сыновей из службы в Сибири?

Но я рассчитал неверно: они недовольны, им нужно обесславить меня с тою целью, чтобы совершенно уронить не только меня, но и детей моих в мнении Вашего Сиятельства (Повредить в общественном мнении они не в силах).

И вот причина вымыслов, словесных толков и ябеде, в которых не только правды, но и смысла нет. Но не истина и смысл им нужны, а моя личность и выставка моего имени в превратном значении.

При таких условиях жизни мне следовало бы выехать в Россию, но обязанности семейные заставляют выдерживать эту нравственную пытку. Мне уже 66 лет, я веду жизнь совершенно замкнутую и с отъезда Вашего в 1859 г. на Амур я был в городе Иркутске по требованию комиссионера ровно на 4 часа только, и откупным делом занимаюсь потому, что у меня на руках больная жена и 6 человек детей, которых я должен обеспечить, а в 32 года постоянного, усиленного труда не приобрёл необходимых средств, несмотря на то, что не один миллион прошёл через мои руки.

Позвольте надеяться, что Ваше расположение ко мне, которым я так дорожил и так долго пользовался, не есть уже прошедшее и не переменилось от неискусной и тайной клеветы. Я очень хорошо помню, что Вы сделали для меня, но и дерево издаёт звуки под топором и пилою...

Копию с доноса и объяснение имею честь представить.

Владимир Раевский.

ПИСЬМА К А. Ф. ВЕЛЬТМАНУ

1

Почтенный, благородный и многоуважаемый мною Александр Фомич. Прилагаю два письма. Одно на имя Ивана Петровича, другое дочери моей. Я не знаю адреса. Вероятно Павел Петрович знает и Варвара Прохоровна сказала тебе. У меня сегодня большая почта, я пишу к тебе так наскоро и так мало. Но оставляю в запас и до получения от тебя уведомления о путешественниках. Перешли письмо, переписавши адрес. Кланяйся всем знакомым. Когда соберусь с силами, ко всем писать буду. Елене Ивановне и деткам твоим желаю всевозможного лучшего.

Благодарю тебя ещё раз за дружеский, братский твой приём в Москве. Обнимаю тебя. Душою любящий и уважающий

В. Раевский.

3 февраля 859.

Уведомь,—что Павел Петрович, что Владимир Петрович и обо всех наших знакомых. Мой адрес: в гор. Иркутск.

2

1860, марта 15. Олонки.

Если я не писал к тебе так долго, любезный и благородный Александр Фомич, то, конечно, причиною уже не я, но твоя неохота отвечать

и может быть и читать письма мои. Ты живёшь в давно минувшем и слишком углубился в символические, загадочные предания и сказки, чтобы думать о настоящем, которое теперь двусмысленно и темнее прошедшего. Необходимость, дело очень для меня важное заставило потревожить тебя — не сердись! У тебя самого есть дети.

Старшего сына моего Юлия и старшую дочь ты знаешь. Второй мой сын Александр, 20 лет, слишком два года назад вышел из 7-го класса здешней гимназии и служит в главном правлении Восточной Сибири. Несколько месяцев назад, по выслуге, он представлен к первому чину. Мне не хотелось бы, чтобы он остался продолжать службу здесь по многим причинам, а служить в России и не в столице всё тоже, что и здесь. Хоть я знаком с Х. Х. Ховеном, но не так близко как ты и Горчаков, попросите его вместе, и ты и Горчаков, красноречиво, убедительно, усердно о принятии сына моего в сенат и в тот департамент (уголовный), который я считаю почётнее, полезнее и поучительнее других департаментов. При первом чине, я полагаю, определение и назначение с жалованием не трудно будет. У меня 5 сыновей, без жалованья мне очень трудно будет. Весь капитал мой это «Я и труд мой», а мне 65 лет.

Сын мой знает хорошо русский язык, пишет хорошо и имеет способности, и может, и должен служить с пользою для дела и службы. Он учился правоведению, насколько в гимназии выучиться можно. Всякое дело поймёт и выполнит хорошо. В этом я уверен.

При внимании такого начальника, такого сенатора и такого прямого и благородного человека к вступающему чиновнику, настоящее для сына моего будет светло и будущность без баррикад. Не буду говорить много, чтоб не утомить тебя, ты сам понимаешь моё положение и как важен, необходим этот переход. Сын мой может подать в отставку и по отставке подать прошение об определении в сенат, или прямо отсюда в сенат, что нередко делается.

Прошу тебя дружески, убедительно, настоятельно. Оставь беспечность твою слишком ««авторскую», потрудись, похлопочи, попроси и утешь и успокой меня благоприятным ответом. Мне следовало бы и следует писать к Елене Ивановне и благодарить за обязательные отзывы обо мне. Оправдываться в молчании не смею и считаю себя в долгу, но если бы ты спросил меня: «Что ты делаешь? Что пишешь?», я указал бы тебе на 6 №, 6 февраля, 73 страницу «Развлечения» и это было бы верно и понятно.

Кланяйся всем нашим знакомым. Если увидишь Данзаса, скажи ему, что я очень сожалею, что не был у него в Москве. Горчакову само по себе, Андриевскому и всем кто меня помнит.

Прощай, обнимаю тебя и остаюсь искренно преданный

Владимир Раевский.

Сын мой Юлий уже поступил к Павлу Петровичу на должность адъютанта и переведён в гусары. Уведомь меня, где Иван Петрович? Что он делает? Я писал к нему, но не получил ответа.

3

Почтенный и многоуважаемый друг Александр Фомич! Благодарю тебя за письмо твоё к Юлию. Он писал ко мне и передал твой поклон и поцелуй.

Позволю познакомить тебя с близким, хорошим моим приятелем

Андреем Евграфовичем Разгильдеевым, бывшим горным чиновником, сибиряком. Он едет за границу не для того, чтобы только сказать, или говорить: «Я был в Париже, в Лондоне и пр.». Деловой, любознательный — он хочет пользы от жизни. Я прошу тебя окажи ему возможность видеть оружейную грановитую палату и всё, что ему нужно, насколько это зависит от тебя или твоего влияния. И его и меня обяжешь много. Я пишу и дочери моей. Если Андрей Евграфович не встретить её, потрудись перешли к ней письмо моё... Вероятно тебе известен адрес. Засвидетельствуй мою искреннюю признательность Павлу Петровичу за его обещание относительно сына моего. Спешу писать и потому много писать не могу, но буду писать с почтою. Павла Петровича я должен вдвойне благодарить. Кланяйся Горчакову, Андриевскому и всем кто помнит меня... Пиши ко мне с почтою, я буду отвечать. Ты ещё молод, я ещё не устарел...

Прощай. Елене Ивановне передай моё искреннее уважение и всё семейство твоё прошу о памяти.

Остаюсь всегда и искренне уважающий

Владимир Раевский.

14 февраля с. Олонки.

4

3 февр. 864 г.

Почтенный и любезный друг Александр Фомич, не писал я долго к тебе потому, что жизнь моя шла бурно, даже тяжело. Я удивляюсь сам, как я выдержал. Конечно и недоконченное смертоубийство и самосгорание имели, или оставили последствия, но голова моя ещё на своём месте. Я живу, как жил прежде... Но увы! Сибирь уже не та. Неизгладимый долго след оставил после себя здесь Муравьёв. Не стану описывать тебе всего. Это вовсе не интересно для тебя, а для истории очень рано или несвоевременно, но чтобы дать тебе ясное представление о моём деле я прилагаю копии моих деловых бумаг, из которых ты увидишь, что не поляки искали смерти моей. Впоследствии я пришлю тебе решение и **как** было. А теперь многое темно. Очень, очень мне жаль, что Павел Петрович мало жил, он старше меня года на два. В эти два года много моих товарищей отправились на вечный покой: А. Н. Муравьёв, Г. С. Батеньков, Липранди, Андриевский (моложе меня), Ботаник. Турчанинов, мало-по-малу оставляя за собою только имя и воспоминание на короткий срок. — Мы по непременному закону оставляем в наследство идею для руководства новому поколению и эта идея растёт и будет, и должна расти, и никакия препятствия не сожмут её. Думали ли мы в юности о пароходах, железных дорогах, телеграфах? Что была Россия 30 лет?? Что значила, или в чём заключалась словесность наша?: Вестник Европы, Благонамеренный, потом Телеграф, Дух журналов и пр., А теперь? Так и всё и потому будущность наша светлее. Но, к сожалению, из высших заведений наших до сих пор я видел только сверчков, слизней и много, много куликообразных либералов. Перебранка наших журналов тоже очень скучна. А либералы, консерваторы, нигилисты — из рук вон пошло и не смешно даже. В России общественное мнение? Общественное — в России? Да есть ли ещё мнение какое-нибудь в России? Много, очень много дичи в ваших городах, называемых столицами. Толи дело у нас в Сибири: гг. губернатор **приказал**, полицмейстер **приказал**, исправник **приказал** — вот аргумент на всякое мнение — и

без возражений. А закон? При слове **закон** здесь всякий улыбается. Где холопство, как средство к возвышению, тут закон вовсе не нужен. Писал бы много, но надо кончить. Ещё несколько писем, а через час едут в город.

Благодарю тебя 1000 раз, а Елену Ивановну миллион за внимание к моему Вадиму и прошу тебя растолковать ему, что прежде всего наука, а потом мнение — вследствии многосторонних познаний и опыта, а не мнение со школьных скамей. Это ещё не мнение, а мечта.

Довольно, прощай, мой добрый друг, Александр Фомич, не забывай меня а я и с признательностью и уважением останусь всё тот же

В. Раевский.

5

Почтенный и любезный друг Александр Фомич!

Податель сего шт.-капитан горных инженеров Иван Васильевич Басниц, наш сибиряк. Как увидишь—благородный и весьма образованный молодой человек, хотя учился в горном корпусе, но ездил за границу с учёной целью и не напрасно — как ездят наши вельможные сверчки и тараканы. Познакомься и ты узнаешь. Отец его почётный гражданин и капиталист оставил комерцию и Родину и живёт у вас, в Москве. Мы с ним были в приязненных отношениях. Я в Москве был у него.

Ты получишь пакет, в котором мои стихи и моё дело по убийству.

Прощай. Душевно уважающий тебя

Владимир Раевский.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Русская старина», 1887, апрель; 1890, май; 1903, сентябрь.
2. П. Е. Щеголев, «Исторические этюды», СПБ, 1913, стр. 125.
3. В разное время об этом материале были напечатаны следующие мои статьи: «Полное собрание сочинений В. Ф. Раевского», «Книжные новости», 1937, № 10; «О литературном наследстве В. Ф. Раевского», «Сибирские огни», 1938, №3—4; «Неопубликованный Раевский», альманах «Волжская Новь», 1940, № 10; «Поэт—декабрист .В. Ф. Раевский (к 75-летию со дня смерти)», альманах «Литературный Ульяновск», 1947; «Первый декабрист», «Новое о В. Ф. Раевском», «Огонек». 1948, № 7, и др.
4. «Вечер в Кишиневе» опубликован в «Литературном наследстве» № 16—18, стр. 656.
5. Д. И. Завалишин, «Замечания о рукописной литературе в 20-х годах текущего столетия», «Истор. Вестник», 1880, кн. 1, стр. 218.
6. Из дневника воспоминаний И. П. Липранди, Р. Архив, 1866, стр. 1214.
7. А. С. Пушкин, П. С. С. ГИХЛ, 1949 г, т. 1, стр. 367, 369, 379.
8. О Мозевском см. статью в настоящем сборнике «Дело Мозевского». О Бартеневе дается на основании архивного дела — «Раевский 32-го Егерского полка майор», хранящегося в Архиве феодально-крепостнической эпохи, ф. 48, оп. № 48, д. № 149, 1825, лл. 18, 40—49, 54.
9. М. А. Цявловский «Эпигоны декабристов», «Голос минувшего», 1917, № 7—8, стр. 84—88.
10. П. Бейсов «Тайное общество братьев Раевских в Курске», «Литературный альманах», Курск, 1940, кн. 2-я, стр. 270.

11. Об этих материалах автором этих строк было сделано 17 апреля 1944 года сообщение на научной сессии Ульяновского педагогического института — «Рукописные произведения декабриста Раевского в Симбирске».

12. Описание материалов дано в статье «О литературном наследстве В. Ф. Раевского» (см. выше).

13. «Сибирские огни», 1938, № 3—4, стр. 131.

14. Материалы и документы.

Публикуем наиболее интересные материалы из следственного дела, стихотворения, письма В. Ф. Раевского. Описание этих материалов дано в статьях «Полное собрание сочинений В. Ф. Раевского», «К вопросу о литературном наследстве», «Неопубликованный Раевский» (см. прим. 3-е). В публикуемых материалах не приводятся следующие материалы, обработанные вместе с публикуемыми: «Дневник нещастного» (1818—20), Отрывок о Бессарабии, Предисловие к истории Петра I, «В воспоминание моему сыну» (1830), «Поэзия» (перевод из Тилье), Рапорт и письма к графу Куруте (1827), письмо Киселеву, ходатайства губернаторов Восточной Сибири Броневского и Руперта, письмо Николаю Николаевичу и др.

См. также примечания к «Неизданным стихотворениям».

15. Биографические материалы. Публицистика.

Биография В. Ф. Раевского изложена П. Е. Щеголевым в работе «Владимир Раевский (Первый декабрист)», которая впервые появилась в 1903 году. В 1926 г. П. Е. Щеголев, включая эту работу в сборник «Декабристы», дополнил и исправил ее по архивным данным. Однако талантливый и глубоко эрудированный исследователь П. Е. Щеголев полностью не осветил жизнь и деятельность «первого декабриста». Остался ряд материалов, которые по-новому рисуют облик В. Ф. Раевского. Эти новые факты и приводятся в публикуемых материалах. Известны слова Батенькова перед следственным комитетом в 1826 году: «По вступлении в кадетский корпус, показывал Батеньков, подружился я с Раевским (бывшим после адъютантом у генерала Орлова). С ним проводили мы целые вечера в патриотических мечтаниях, ибо приближалась страшная эпоха 1812 года. Мы развивали друг другу свободныя идеи, и желания наши, так сказать, поощрялись ненавистью к фронтовой службе. С ним в первый раз осмелился я говорить о царе, яко о человеке, и осуждать поступки с нами цесаревича... В разговорах с ним бывали минуты восторга, но для меня всегда непродолжительного... Идя на войну, мы расстались друзьями и обещались сойтись, дабы в то время, когда возмужаем, стараться привести идеи наши в действо».

«И действительно, пишет П. Е. Щеголев, как только Раевскому пришлось стать близко к Тайному обществу, он сейчас же вспомнил о своем товарище и письменно несколько раз приглашал его к активным выступлениям» (П. Е. Щеголев, Исторические этюды, 1913). Надо сказать, что Раевский еще до вступления в Тайное общество развил активную деятельность, направленную на организацию содружеств. Можно назвать три таких факта, которые всплыли в 1826 г., во время следствия над Раевским.

В 1816 году в Каменец-Подольске по инициативе Раевского было

создано дружеское общество, в которое вошли: подполковник Кисловский, Тамбовского пехотного полка штабс-капитан, адъютант корпусного командира Горчакова Приклонский, того же полка отставной штабс-капитан Егор Иванович Губин, губернский доктор Диммер. Члены этого общества «носили железные гладкие, без всякого девизу, кольца».

Раевский показывал, что «кольца железные они носили без другого вида, кроме приязни и ничего не означали. Дружба сия не была в большом кругу... Одни склонности и одни расположения к удовольствиям нас связывали. Мы проводили время свободное от должности в тех забавах, которые извиняются одной молодостью и которые вредят здоровью и которым теперь рассудок не позволил мне тоже, что я делал прежде». («Два дела, произведенные в высочайше утвержденной комиссии; 1-е о майоре 32 Егерского полка Раевском, 2-е о брате его отставном корнете Раевском же, суженых за противузаконные поступки», 1827 г. Аудитор., департ., 2-го отд., св. 18, т. 1, № 42, л. 304; § 27 «О железных кольцах»). К подобному показанию Раевского надо отнестись, конечно, критически. Он был заинтересован в том, чтобы умалить значение этого содружества. Его политическое направление легко устанавливается на основе публикуемых писем к Приклонскому и лирических произведений Раевского, отдавшего поэтическую дань этому содружеству. Это «Ода другу», «К Приклонскому», «Мое прости друзьям», «А. И. Горчакову», Повидимому, в это время были написаны также Элегии (1-я и 2-я), «Глас правды» и патриотические произведения. Кроме Раевского были допрошены также и остальные участники содружества. Кисловский показал, что свое кольцо он бросил, когда был в гостях у помещика Подоскаго. «Вообще эта щиталось не секретом, а шуткой все от Раевского».

Приклонский показал, что «железные кольца были сделаны в залог дружбы и более из шутки». В доказательство того, что между ним и Раевским не было никаких тайн, Приклонский представил губернатору письма Раевского (они публикуются ниже) и свое кольцо, заявив при этом, что не помнит, кто давал его. Это кольцо находится при указанном деле, как вещественное доказательство. Комиссия, однако, недоверчиво отнеслась ко всем этим показаниям, отметив, что Раевский наводит на себя сомнения в этом деле. Возможно что-либо и было, говорится в заключении по этому вопросу, но комиссия допустила ошибку, послав подозреваемым вопросы, которые их предупредили и дали возможность уничтожить все следы этого общества. Надо было сначала опечатать бумаги всех этих лиц, — сожалеет комиссия. К железным кольцам Раевский обращается и позднее.

В 1818 году Раевский является инициатором составления дружественного листа среди офицеров 32 Егерского полка, квартировавшего в местечке Липцах, Киевской губернии. Лист был составлен по предложению капитанов: Раевского, Крыжова, Тимошенко. Содержание этого дружественного листа сводилось к следующему: не доводя до сведения полкового командира, исправлять плохих офицеров увещеваниями и угрозами. Если же на них это не подействует, то представлять полковому командиру о таких офицерах предложение оставить службу. Кроме этого, в дружественном листе было сказано и о дружественном вспомоществовании друг другу, в случае недостатка офицера.

(«Дополнительное исследование о союзе Благоденствия и о дружеском листе, который был заведен в 32 Егерском полку в 1819 г., в ме-

стечке Липцах», 2 отд., Ауд. Деп-та, 1827, св. 18, лит. В, т. 10-й (XIII); 22 л.; см. также, т. 7(Х) к № 42, лл. 25—26). В эти годы изменились условия военной службы. «Железные кровавые когти Аракчеева сделались уже чувствительны повсюду. Служба стала тяжела и оскорбительна... Требовалось не службы благородной, а холопской подчиненности. Я вышел в отставку», — писал позднее Раевский.

Приводим черновик его письма или рапорта, в котором указаны причины ухода в отставку: «Определяя себя единственно службе Отечеству, я со вступления моего и во всё продолжение оной поставил себе обязанностью исполнять должность свою с тою ревностью, которая дает право на внимание благородных начальников... Несколько представлений за прошлые кампании оставлены без всякого исполнения, на что я, имея свидетельства, не искал и не просил, ибо намерение мое было служить и службою вознаградить потерянное. Обойденный чином в 1818 году, не произведенный один из числа всех офицеров, а в 1815 году за блокаду Меца, Фальсбурга, Лиценштейна и Сир-Луи, представленный к повышению чина, но не произведенный, наконец, без всякого моего желания переведенный в пехотный полк под команду младшего, который ни в каких отношениях служить мне в образец и пример не может, я слишком почувствовал перемену и негодование вашего с-ва. Но уверенность на справедливость вашу,. на правое дело и на собственную службу, заставила терпеть гнев ваш — хотя весьма чувствительный — терпеливо. Зная себя совершенно правым, я бы мог требовать суда и защиты законов, но против начальника сильного мне остается одна просьба. Дабы в. с-во прекратили продолжительный и клеветою произведенный гнев, ибо, видя себя в совершенном забвении, я потерял и ревность к службе и терпение, к тому же расстроенное положение дел моих требует изыскания способов в поправлении оных. От вас зависит это: либо возвратите мне несправедливо у меня отнятое, либо изгоняйте из службы и тем разорвите обязанности, которые еще привязывают меня — при сохранении честного имени» (ЛОЦИА, № 42, лл. 233—34).

Эти притеснения, как можно понять из черновика, явились результатом того, что Раевский во время смотра своей части, будучи послан отвести кавалерию за 20 верст, не успел представиться к начальнику, которому адресовано приведенное выше письмо.

«Служба стала тяжела и оскорбительна». И Раевский вышел в отставку. Возвратившись по настоянию отца в армию, Раевский опять сталкивается с представителями аракчеевской реакции и вступает в борьбу, которая так трагически закончилась для него.

В январе 1821 года, будучи членом Союза Благоденствия, Раевский опять решил ввести дружеский лист среди офицеров полка, обещав им также железные кольца. Раевский так объяснял это следственному комитету. Он получил от начальника штаба Вахтена выговор за то, что «вмешивался в разговоры в его присутствии, когда его, Раевского, не спрашивали». На вечеринке у Гомановского, где Раевский рассказал об этом случае, офицеры пришли к выводу, что причиною выговора был Нейман, который наговорил на него Вахтену. «Сверх сего,—показывает Раевский,—Гомановский, Нейман, Цых и Михайловский составляли с некоторыми офицерами и особенную партию». На этой же вечеринке он и предложил возобновить дружеский лист—«как единственное средство водворить Согласие». Нейману же, подошедшему к группе офицеров с вопросом — «Нельзя ли и ему подписаться?» с намерением узнать о

содержании листа и донести по начальству, было сказано, что ему нельзя подписаться (л. 312—313). В этом показании интересно и важно то, что Раевский говорит о борьбе с группой, возглавляемой Нейманом—Гомановским. В «Протесте» роль этой группы, на которую опирался ген. Сабанеев в своей борьбе с Раевским и его единомышленниками, особенно ярко показана. Это оплот реакции.

В. Ф. Раевский боролся с ними всеми доступными ему средствами В частности путем создания дружеского листа, путем вовлечения офицеров в Союз. Не случайно в следственном деле Раевского, произведенном в 1826 году, рассмотрение вопросов следует в таком порядке: § 27. О железных кольцах, которые носили м. Раевский и товарищи в 1816 году, в г. Каменце (л. 300—305), § 28. О старом дружеском листе, бывшем в 32 Егерском полку, в местечке Липцах, 1819 (л. 306 — 309), § 29. О приглашении офицеров к подписке нового дружеского листа или союза и обещания дать им кольца (лл. 310 — 319) и § 30. О Союзе Благоденствия и принадлежащих к нему лицах (лл. 320—325). Связь и последовательность между этими мероприятиями была совершенно очевидна и для комиссии. Деятельность В. Ф. Раевского с 1816 года закономерно привела его к южному обществу декабристов, была частью его работы, как члена этого общества.

Интересно отметить, — в деле есть указания на то, что Раевский приглашал в содружество и солдат, обещая им железные кольца.

В «Протесте» и в «Дополнении к «Протесту» Раевский останавливается на вопросе о железных кольцах и союзе. Не отрицая того, что он носил в Каменце железные кольца, назвав товарищей поименно, Раевский тем самым переключил внимание следователей на событие отдаленное несколькими годами, отвлекая их внимание от показаний майора Юмина, который сделал признание—донос о Союзе. Раевский, используя разногласие свидетелей по вопросу о дружеском листе и Союзе, отрицал существование Союза, а признавал существование только дружеского листа. Указывая на то, что его враги Гомановский и Цых заявляют, что Раевский «просил их или хотел объявить всем другим офицерам» о Союзе, декабрист заявляет — «где же тут тайна? где важное наименование Союза? Все офицеры подтвердили о существовании прежде дружеского листа, о котором был настоящий разговор». («Дополнение к «Протесту», ЛОЦИА, ф. № 9, св. 18, 1827, и № 42, лист. В. Г. 7, л. 168, § 5 «О Союзе и кольцах»).

Когда писался «Протест», Раевский, повидимому, не знал еще, какими материалами располагает следственная комиссия и поэтому с пренебрежением говорит о показании Юмина, указывая на его болезненную фантазию. В «Дополнении к «Протесту» он уже ссылается только на то, что «и самый Юмин не осмелился впутать» его в Союз, о котором донес Сабанееву. Последний, однако, уже знал о существовании Союза Благоденствия. В руках Сабанеева находилась расписка майора Юмина о вступлении последнего в Союз 2 сентября 1819 года. Но корпусного начальника интересовал не этот Союз. В своих замечаниях на «Протест» Раевского Сабанеев, отвечая на слова Раевского о выдумке Юмина, пишет: «Юмин спрашиван до начатия еще следствия противу Раевского и спрос сей относился более к Союзу Благоденствия, о коем открыл он некоему Барцу, а сей, последний, ему, генералу Сабанееву» (ЛОЦИА, ф. 9, св. 18, д. № 42, т. 3, лл. 265—301, замечание 26-е). Следовательно, речь шла не о Союзе Благоденствия, а о каком-то дру-

том Союзе. В этих же замечаниях корпусный начальник, отвечая на обвинения Раевского генерал-майора Черемисинова, допрашивавшего солдат, пишет: «Почему же знает Раевский, как допрашивал генерал-майор Черемисинов? — потому, вероятно, что везде были сообщники Раевского одной с ним злодейской шайки» (37-е замечание). О какой злодейской шайке шла речь? И где ее пытался найти Сабанеев? На это отвечает следственное дело Раевского и его. «Протест».

Возникновение дела Раевского связывалось и Сабанеевым и Раевским с событиями в Камчатском полку. Проводя следствия о беспорядках в этом полку, Сабанеев приходит к решению об аресте Раевского. Беспорядок в Камчатском пехотном полку состоял в том, что, когда командир 1-й мушкетерской роты капитан Брюхатов приказал унтер-офицерам наказать палками каптенармуса за медленное сушение сухарей, трое рядовых, бывшие в роте, собиравшейся для ученья, выйдя вперед, по наущению фельдфебеля отняли у унтер-офицеров палки и не дали наказывать каптенармуса. Солдаты были наказаны кнутом и сосланы на каторжные работы. С одним из этих солдат Раевский встретился уже в Сибири.

В выписке Полевого Аудиториата 2-й армии в связи с этим делом говорится следующее: «Командир 6-го пехотного корпуса генерал-лейтенант Сабанеев, находясь продолжительное время в Бессарабской области для исследования беспорядка, случившегося в декабре месяце прошлого 1821 года в Камчатском полку, употреблял все меры для раскрытия тех истин, кои могли содержать главное содержание оного, По дошедшим к упомянутому г. корпусному командиру слухам о поведении 32-го Егерского полка майора Раевского, когда он, быв еще капитаном, командовал 9 егерской ротою, и о нетерпимом образе его мыслей, — корпусный командир, полагая, что суждения майора Раевского могли действовать в ослаблении дисциплины, сделал донесение о том г. Главнокомандующему Армиею в рапортах своих: февраля 5-го, 8-го, 16-го, за № 5, 12 и 13, а между тем счел необходимым арестовать майора Раевского и пресечь всякое с ним сношение прочих лиц. Для точнейшего же удостоверения в его совершенных действиях, бумаги ему принадлежащие отобрав, приступил к рассмотрению оных строжайшим образом» (ЛОЦИА, ф. 9, св. 18, д. № 42, лит. А, т. 1, л. 2).

Весь ход следствия был направлен в одну сторону—выяснение связи Раевского с солдатами, выяснение его деятельности, направленной на повторение Семеновской истории, на подготовку бунта. В этом направлении необходимо рассматривать приобщение к следственному делу Раевского «для соображения» «Дела о капитане Камчатского полка Брюхатове» (лит. Б., т. 5, к № 42), «Военно-судного дела о капитане Гимбуте» (лит. Б., т. 6, к № 42) и о пожаре в Аккермане. Деятельность Раевского, направленная на защиту экономических и правовых интересов солдат 2-го батальона, куда был послан Раевский Непениным, также рассматривалась в плане подготовки солдат к повторению событий Семеновского полка. Весьма красноречиво показание подполковника Неймана. Он говорит о том, что Раевский ставил своих солдат в шеренгу, по его команде солдаты брали на—руку и в таком положении находили «на учащихся-юнкеров и разгоняли оных». Раевский при этом говорил: «вот, что надо учить солдата», (Дело о майоре Раевском, опись № 648, ч. 2-я, св. 59, № 4661, л. 632).

В «Дополнении к «Протесту» Раевский признает, что им было

сказано солдатам по адресу Гомановского — «Расстрелять его!» — за то, что Гомановский мстил не ему, Раевскому, а роте и делал над ней «насмешки дерзкие и бесчеловечные», заставляя ее напрасно итти в мороз и вьюгу для содержания караулов. «Мне было больно и оскорбительно, — пишет декабрист. Я точно сказал с усмешкою или досадою: «Расстрелять его!». К этому надо добавить, что Раевский, обращаясь к солдатам, спрашивал их: «Возьмете ли Неймана на штыки?», а также советовал им, ссылаясь на молодцов-семеновцев: «Выйди два и уничтожь злодеев». Приглашение солдат за Днестр, что не отрицает и Раевский, и в Вознесенск, где был бунт, дополняют отношение Раевского к солдатам. Естественно, что для Сабанеева он был «бунтовщик», глава «злодейской шайки».

Бумаги, захваченные Сабанеевым во время ареста «первого декабриста», должны были раскрыть его замыслы, должны были служить материалом для обвинения «бунтовщика». И действительно, «Записка Раевского о солдате», «Рассуждение о рабстве», «О Духе законов» и некоторые стихотворения рассматривались также в плане выяснения подготовки Раевским солдат к повторению семеновских событий. Его стремления шли значительно дальше. «Первый декабрист» восхищался «итальянскими происшествиями и изъявлял желание такие же новости завести в России». В этих «происшествиях», которые должны бы были привести к республиканскому правлению, Раевский уделяет основное место солдатам, солдатской массе. «Записка о солдате» и «Рассуждение о рабстве» являются теоретическим обоснованием роли основных сил в будущих «происшествиях», в будущей революции, которая должна была привести к уничтожению монархического деспотического строя, к замене его республикой. Значение «Протеста» заключается не только в том, что он рисует яркую картину борьбы между различными группами дворян в армии и свидетельствует об объединении реакционных сил, приведших к разгрому Кишиневской ячейки Южного общества декабристов, но также и в том, что рассказывает об участии в этой борьбе солдат, защищавших доступными им средствами декабриста Раевского. Именно об этой «злодейской шайке» говорил генерал Сабанеев, прилагавший все силы для ее раскрытия. Весьма показательно замечание на полях доклада Аудиториатского департамента о деле Раевского, представленного Николаю I в 1827 году. В этом докладе идет речь о беспорядках в Камчатском полку, приводятся выдержки из «Рассуждения о рабстве», «Записка о солдате» и др. материалы. На полях доклада, повидимому, рукой Николая I сделана надпись: «Из всех разнообразных показаний нижних чинов и запирательства некоторых, ясно видна приверженность их к Раевскому» (ЛОЦИА, св. 18, д. № 42, т. 3, л, 101; 1827 г.).

Таким образом, совершенно очевидно, что солдаты в деле Раевского были «краеугольным камнем». Об этом красноречиво говорит сам декабрист в своем «Оправдании». Это понимали следователи, судьи и Николай I, но они не могли сломать эту силу, хотя применяли, как это видно из «Протеста», все доступные им меры. Солдаты защищали свою честь и совесть, говорит Раевский. Это благородное поведение солдат вызвало поэтический отклик декабриста:

Напрасно голос громовой,
Мне верной черни боевой
В мою защиту отозвался,
Сей голос сильный, пред судом

Был назван тайным мятежом.
И в подозрении остался.

Это могло быть адресовано только солдатам. Эта связь с солдатской массой и страшила обвинителей и судей «первого декабриста». В «Дополнении к «Протесту» Раевский писал: «Называя солдат, бывших под командою моею в 32 полку, раевщиною, бунтовщиками, кнутобойцами и проч., не обнаружило ли ясно начальство личного против меня мщения и ненависти?». Дело было, конечно, не в личном мщении, что прекрасно понимал и сам декабрист, а в том, что совершенно ясно устанавливалась связь между бунтовщиками солдатами и бунтовщиком-офицером, подготовляющим их к бунту, к восстанию. Результаты «раевщины» уже сказывались. Сабанеев их увидел в событиях в Камчатском полку, он увидел их и в поведении солдат в батальоне Неймана, где производил расследование Раевский в связи с хищениями солдатских денег и притеснением солдат. «Раевщина» обнаружила себя и во время следствия и суда над «первым декабристом», когда солдаты, «приведенные в трепет побоями и угрозами Камчатского кнута», тем не менее защищали декабриста. Перед Сабанеевым и комиссией военного суда он раскрылся как бунтовщик, как глава «злодейской шайки», заслуживающий самого сурового наказания за измену своим классовым, дворянским интересам. Комиссия военного суда 21 марта 1823 года приговорила Раевского «к лишению живота». Комиссия при этом основывалась на 135 Артикуле воинского сухопутного устава, который полностью приведен в Сентенции комиссии военного суда и гласит следующее: «Никто б ниже словом, или делом, или письмами, сам собою или через других к бунту и возмущению, или иное что учинить причины не давал из чего бы мог бунт произойти. Ежели же кто против сего поступит, оный, по розыску дела, живота лишится или на теле наказан будет» (ЛОЦИА, Военно-судное дело при 6-м пехотном корпусе над майором 32 Егерского полка Раевским, 2 Ауд. деп., 1827, ф. 5, св. 18, Лит. А, д. 42, т. 4, (VII), л. 740).

1. **«Собственноручная автобиографическая записка»** печатается с автографа, хранящегося в рукописном отделе Исторического музея, соб. Черткова, № 56. Написана она для Липранди в 1858 году во время приезда Раевского из Сибири на Родину. В состав тетради, кроме автобиографической записки, входят: докладная записка Долгорукова, копии писем генерал-губернаторов Восточной Сибири Броневского и Руперта на имя Бенкендорфа и графа А. Д. Киселева о принятии Раевского в гражданскую службу канцеляристом, а также письмо Раевского Киселеву. Оба ходатайства были отклонены. Киселев отослал письмо Раевского Бенкендорфу «по принадлежности», который 15 марта 1840 года ответил Броневскому: «Как означенный Раевский подвергся приговору за неблагонадежные поступки к правительству, то за сим нашел с моей стороны невозможным входить со всеподданнейшим представлением по вышеупомянутому ходатайству» (ЦАР, 1. эксп., № 157, 1837 г. «О сосланном в Сибирь на поселение майоре Раевском», л. 17).

2. **«Протест»** — печатается по автографу, хранящемуся в ЦАР, 3 отд, 1 эксп., № 417, 1827, лл. 45—82 (Дело Мозевского). Кроме этого, экземпляр «Протеста» есть в ЛОЦИА, 2 отд. Ауд. деп., 1827, св. 18, В., к. № 42, т. VII, лл. 154—165 (беловой список) и в АФКЭ, 48, оп.48, 1825, д. 149, лл. 40—45 (Дело о Бартеневе).

«Протест» был написан Раевским в Тираспольской крепости 1 сентября 1823 года.

«Протест» был задержан Сабанеевым до 6 февраля 1824 года (там же, л. 178). Сабанеев дал к «Протесту» свои «Замечания» (110 замечаний). О значении «Протеста», как своеобразного публицистического произведения, можно судить по делу Мозевского и Бартенева.

25 сентября 1823 года Раевский написал «Дополнение к «Протесту» (ЛОЦИА, ф. 9, св. 18, к д. № 42, т. 7, лл, 165—175). Здесь он остановился дополнительно на следующих вопросах: 1. О похвале Семеновского полка («Семеновцы—молодцы», — сказал Раевский солдатам своей роты), 2. Возьмете ли Неймана на штыки, 3. Выйди два и уничтожь злодеев, 4. О переходе через Днестр, 5. О Союзе и кольцах, 6. Разговор о Конституции, Свободе, Равенстве и оных словах на прописях.

В «Дополнении к «Протесту» Раевский также с особой симпатией и любовью говорит о поведении солдат: «Все начальство объявляло солдатам, что **я погиб, уже сослан в Сибирь!** и кого же солдаты защищали?.. Оправдывая сосланного уже в Сибирь, они знали, что навлекают на себя почти всеобщий гнев начальства: что же удерживало их говорить? Приведенные в трепет побоями и угрозами камчатского кнута, солдаты могли ль защищать сосланного в Сибирь? Нет, они защищали совесть и веру свою... Называя солдат, бывших под моею командою, раевщиною, бунтовщиками, кнутобойцами и пр., не обнаружило ли ясно начальство личного против меня мщения и ненависти?»

В «Дополнении» Р., опираясь на соответствующие пункты воинских уставов, наказов Екатерины, опротестовывает судебное дело и приговор, который «не действителен, ибо **оный нагло против прав есть».** Такими словами заканчивается «Дополнение к «Протесту». Следствием «Протеста» явилось то, что Александр 1 секретно предписал передать дело Раевского из военного суда, где председательствовал Сабанеев, в Полевой Аудиториат. Полевой Аудиториат на основании 6-й статьи грамоты, жалованной благородному дворянству, пришел к выводу, что «Раевского необходимо было бы лишить чинов, орденов, дворянского звания и удалить от общества. Но как Аудиториат заметил в производстве следствия и суда отступления от предписанных форм, а именно, что следствие, а потом и суд начат не по оригинальным допросам, отобранным начально генералом Сабанеевым, но по выписке от него сообщенной, что суду дана от него инструкция, которою указаны предметы занятия, что показание штабс-капитана Михайловского касательно оскорбления императорского величества осталось недоследованным, другие же свидетельства, вместо целой роты, окончились только на малом числе людей и притом с отменою против прежних показаний, то посему, имея ввиду жалобу подсудимого на неправильное, якобы, и пристрастное производство дела, Аудиториат не почел себя вправе учинить решительный приговор о подсудимом». (ЛОЦИА, «Производство Аудиториата о майоре Раевском 5-м», 2 отд. Ауд. д—та, 1827, св. 18, Лит. В к № 42, т. 7, (X), л. 9).

Таким образом, совершенно очевидно, что Полевой Аудиториат признал справедливость «Протеста» Раевского. Повидимому, здесь сказалось и влияние общественного мнения. Решение Полевого Аудиториата не удовлетворило царя. Он приказал передать дело в Аудиториатский департамент. В секретном предписании царя по этому поводу было сказано, что Полевой Аудиториат «уклонился от учинения решительного приговора под совершенно неосновательными предлогами и, между прочим, потому что суд о майоре Раевском производился под

руководством ген. Сабанеева, тогда как г. Сабанеев действовал по сему делу согласно высочайшему повелению» (там же, т. 3, л. 3).

В Аудиториатском департаменте дело рассматривалось до 1826 года, откуда поступило на новое рассмотрение в следственный Комитет по делу декабристов.

3. **Оправдание** — печатается с автографа, хранящегося в АФКЭ, ф. 48, д. № 149, лл. 19—35.

«Оправдание» было написано 22 февраля 1826 года в комитет, созданный в связи с восстанием декабристов в 1825 году.

По приказу Николая I Раевский был доставлен в Петропавловскую крепость, где пробыл 8 месяцев, а его дело поступило на новое расследование в учрежденный комитет. Раевский и здесь продолжал тактику запирательства и отрицания. 5 января 1826 года ему был поставлен вопрос: «Какая цель общества, к которому Вы принадлежали?». Раевский ответил: «Я ни к какому тайному обществу не принадлежал и не принадлежу и никогда как прежде, так и доселе ни о какой цели сего общества не знал и не знаю» (АФКЭ, ф. 48, опись № 48, д. 149, л. 3).

Между тем, в распоряжении комитета был не только донос Майбороды, сообщившего, что у Р. был список общества, впоследствии уничтоженный Бурцевым, но и показания Пестеля, Юшневского, Абрамова, Бурцева, Лорера, Комарова (там же, л. 5), о принадлежности Раевского к обществу. Тогда, узнав об этих показаниях, он на повторный вопрос (2 февраля 1826 г.) комитета отвечает признанием, что был принят в 1819 году в Союз Благоденствия Комаровым, который направил его к Охотникову (там же, л. 15).

Сдержанность Раевского в этом вопросе была исключительной. Он до конца остается верным законам чести, интересам общего дела и этим выгодно отличается от многих декабристов, которые, попав в крепость, прекращали всякое сопротивление и пространно рассказывали и о себе и о других, обрекая этим на провал дело, которому служили. Раевский своей непримиримостью и непреклонностью борца, своей яростной борьбой и верностью делу напоминает революционеров следующего поколения. Правда, и у него были минуты упадка, но это были минуты, за которыми опять следовала борьба.

П. Е. Щеголев в своей статье «Владимир Раевский», включенной в сборник «Декабристы» (1926), приводит письмо Раевского к Николаю I. Это письмо было написано 22 апреля 1827 года в минуту упадка сил. Но и в этом письме Раевский ничего не говорит о том, что интересовало тюремщика декабристов. Николай I отказался выслушать «первого декабриста». Дежурный генерал штаба Потапов так ответил ему на письмо адресованное царю: «Вы хотели сделать услугу государю, но вы объявили дела, кои разбираются или разобраны большею частью судом» (ЛОЦИА, «Два дела, произведенные в высочайше утвержденной комиссии», Ауд. деп., 2 отд., № 42, т. 1, л. 50). Раевский, конечно, знал об этом не хуже Потапова.

«Оправдание», отрывок из которого публикуется, как нельзя удачно характеризует поведение декабриста в комитете. Он продолжает обвинять своих судей.

Из комитета дело о Раевском поступило в комиссию военного суда при Литовском корпусе на рассмотрение Константина. Из Петропав-

ловской крепости Раевский был направлен в крепость гор. Варшавы. 11 августа 1826 года Константин дал письменное распоряжение своему начальнику штаба Куруте: «По прибытии майора Раевского отправить его тотчас (Из Варшавы П. Б.) под строгим арестом в крепость Замостье, содержать его особо, поместив над Щебржеминскими воротами, не разрешая никому видеться с ним или иметь какое-либо сношение». (ЛОЦИА, оп. 648, ч. 2, св. 59, № 4661 «Дело о майоре Раевском и отставном корнете Раевском», л. 665). В этот же день он был переведен в крепость Замостье.

4 апреля 1827 года «первый декабрист» обратился с рапортом к Куруте, в котором писал: «По отправлении меня из крепости Петропавловской не получил я ни одежды, ни собственных денег 180 рублей ассигнациями, кои по прибытии в С. Петербург отобраны у меня были в Зимнем дворце. В продолжении же 8-месячного пребывания там, и таковго же времени здесь, вид одежды моей, состоящей из одного сертука, рейтузов и шинели, приходит в совершенную ветхость». В связи с этим он просил разрешить ему обратиться с письмом к брату. 13 июня 1827 года по распоряжению Николая 1 была создана новая комиссия для нового следствия и суда над Раевским. В нее вошли: генерал Левашев (председатель), генерал-адъютант Головин, генерал-майор Балабанин, флигель-адъютантРеад (там же, л. 760). Комиссия прилагала усилия для открытия связи между старым и новым обществом декабристов (Союзом Благоденствия и Южным обществом). В этом направлении и велся допрос «первого декабриста». В одном из неопубликованных писем, адресованном графу Куруте, высказываясь против притязаний этой комиссии, борясь за право оправдываться и защищать себя, Раевский писал 4 апреля 1827 года:

«Если подсудимый ответствует перед судом, как перед начальником или властию, то злодей всегда оправдается вернее, ибо робость, покорность, унижение и слезы его будут ему защитою. Если же подсудимый ответствует на суде только перед законом, то лишить его права защищать себя и опровергать кривой толк значит лишить возможности оправдаться. Пусть комиссия разыскивает, допрашивает, открывает со всею точностью и строгостью, я сам неоднократно просил ее об этом, я сам говорил членам оной, иным повторял: чем исследование будет строже, тем вернее оправдаюсь я. Но да останется честь моя неприкосновенною до решения дела, да будет мне дозволено говорить за себя, видеть и понимать вещи так, как они суть, а не так, как они кажутся... Генерал объявил мне в присутствии, что если я открою и докажу, что первое общество имело одну цель со вторым, то принесу тем великую пользу государству. Представляю комиссии открытие сие, ибо остановить сего желания не вправе и не в силах... В участи моей потеряно всякое равновесие. Если я окажусь виновен, меня ожидает удвоенное определение законов. Если я окажусь невинным, чем вознаградятся страдания мои? Потеря семейства, состояния и нравственных способностей? Какая сила на земле отдаст мне самые цветущие лета жизни моей, умерщвленные во темнице? Кто выплатит мне эти вздохи и слезу? Вся награда, которой ожидать могу я, состоит в том, что мне дозволено будет участливым взором видеть солнце и окончить предвременно дряхлеющую жизнь на могилах всех почти моих родных, коих утратил я в роковые годы моего заключения... Не имея уже давно матери, во время заключения моего потерял я отца, двух старших

братьев, одного младшего, замужнюю сестру, которая могла быть вместо матери оставшимся четырем сестрам еще девицам, при совершенном расстройстве имения, на коем более нежели 200000 рублей долгу. Как сестры, так и все наследство в руках с небольшим 20 летнего брата. При жестокости моего заключения, шестой уже год, при беспрерывных нравственных и физических ударах, ныне доведенный почти до нищеты, ибо один сертук, рейтузы и шинель составляют всю мою одежду, я вижу, что и самый покой моей темницы по неизвестным мне причинам нарушен. Презус суда был несколько дней назад в моей темнице и хвалил ее!.. жестокое утешение! Новые подозрения комиссии отдаляют самую надежду видеть еще через несколько лет конец моему узничеству, — и предчувство начинает говорить мне, что я буду тогда только свободен, когда душа моя освободится от телесных уз под сими сводами.... Уверенность в невинности моей еще укрепляет меня... честь моя и право мое говорить и защищать себя суть все, что для меня осталось после толиких утрат...» (ЛОЦИА, ф. 530, д. № 648, 1826 года, ч. 2-я, лл. 733—740).

4. **«Рассуждение о рабстве»,** печатается с автографа. (ЛОЦИА, ф. 9, св. 18, лит. Б, т. II, № 42, лл. 2—4, 223, 327, 315—321). Небольшая выдержка из «Рассуждения» приведена в книге В. И. Семевского «Политические и общественные идеи декабристов», Спб, 1909, стр. 109. Семевский пользовался не автографом, а выдержкой из судного дела, находящейся в докладе для Николая I. «Рассуждение о рабстве» находилось в центре внимания всех следственных комиссий по делу Раевского.

В докладе Аудиториатского департамента Николаю I приводится выдержка из «Рассуждения», начиная от слов «Ниже сего я примерами изложу, сколь вредно рабство для народа русского, рожденного быть свободным» (ЛОЦИА, № 42, т. 3. л. 13). Раевский отрицал свое авторство, утверждая, что он извлек записку из бумаг Охотникова. Такой же линии он держался и на допросах в комиссии военного суда при Литовском корпусе, которая в связи с этим писала в рапорте начальнику штаба Куруте: «Между бумагами Раевского находится, прилагаемое при сем под литером Г, смелое рассуждение **о рабстве крестьян и необходимости скорого преобразования в России,** доказывающее вольный образ его мыслей и что он знал всю цель тайных обществ, существовавших в России до 1826 года. Он хотя и не признает сего сочинения своим, а говорит, что он только делал извлечения из бумаг капитана Охотникова, и в. с-во ясно усмотреть изволите из данных ему вопросов и самых бумаг, что оно точно его сочинение. А потому, несмотря на его запирательства и непочтительные ответы, комиссия предложила делать ему по всем статьям онаго рассуждения вопросы» (ЛОЦИА, 2 отд. Ауд. деп-та, 1827, св. 18 «О майоре 32-го Егерского полка Раевском 5-м», лит. А, т. III, к № 42, л. 7—8).

Полемизируя с Раевским, отрицавшим свое авторство «Рассуждения», комиссия ссылается на его стихотворение «Смеюсь и плачу» и приводит отрывок со слов «Смотря, как знатный вертопрах». Признавая, что мысль того и другого совпадает, декабрист заявляет: «Я означенную мысль почерпнул из Сочинения или Рассуждения о рабстве». Таким образом, не отрицая идейной связи и зависимости между этими произведениями, он все же отводит утверждение об авторстве. Здесь необходимо заметить, что у Раевского, кроме «Смеюсь и плачу», есть

и другие идейно близкие «Рассуждению о рабстве» стихотворения. Его произведение «Безумцы, оградясь» по своей идейной направленности и политическому пафосу очень близко «Рассуждению о рабстве». Можно сказать, что это произведение является поэтическим изложением «Рассуждения». В своих ответах на вопросные пункты комиссии Раевский дополнил и подтвердил фактами картину, нарисованную им в «Рассуждении о рабстве» (ИРЛИ, Раевский В, Ф., Лит. 1. «Ответные пункты майора Раевского по черновым его бумагам» (пожертв. П. Е. Щеголевым) §§ 1, 2, 5, 6, 7, 18, 44 и др.).

«Почему вы полагаете, что крестьяне помещичьи до такой степени угнетены, что они просят у судьбы смерти? — спрашивала комиссия. И почему владельцы их суть тираны?» Декабрист отвечал: «Угнетение помещиками крестьян заметил я в Каменец-Подольской губернии, селений не помню, но точно знаю, что во многих местах крестьяне работают кругом целую неделю на помещика. Разыскания по сему предмету весьма нетрудны» (§ 5).

«Где вы нашли такой закон, что русские помещики имеют право торговать, менять, проигрывать, дарить и тиранить своих крестьян», — допытывалась комиссия. — «Сочинитель здесь не говорит о законе, — парировал Раевский, — а он вопрошает — по какому праву? Откуда взят закон? А что помещики торгуют людьми, то в подтверждение слов сочинителя я могу представить много примеров, но ограничусь несколькими:

1. Покойный отец мой купил трех человек, порознь от разных лиц и в разные вермена: кучера, башмачника и лакея. 2. Помещик Гриневич, сосед мой в 7-ми верстах, порознь продавал людей на выбор из 2-х деревень. 3. В Тирасполе я много знаю таковых перекупов. Например, доктор Лемониус купил себе девку Елену и девку Марию. Сию последнюю хотел продать палачу, — не знаю продал ли? 4. Капитан Варгасов (холостой) купил себе девку у майора Терещенки. Лекарь Белопольский купил себе двух девок Варвару и Стефаниду и пр. пр. А в пример тиранства я могу представить одного из соседей моих по имению — помещика Тюфер Махера, у которого крестьяне работали в железах» (§ 6). «Первый декабрист» дальше говорил о бесправии крестьян. В архивах скрыты многие злодеяния. Так, в Курской губернии помещики Деревицкий, Воропанов разбойничали со своими крестьянами. Помещик Ширков зарезал девицу Алтухову, и заставлял с собою купаться девок, тут же, выйдя из воды, любодействовал с ними. В Харьковской губернии помещик Бедряга со своими людьми резал людей. Одна дама вырезывала груди у своих крепостных девок и ела их. Она сидела за это под Сухаревой башней в Москве. Фельдмаршал Каменский завел остроги, тюрьмы, железы и пр. в своем имении, что довело до такого отчаяния его крепостных крестьян, что они топором убили фельдмаршала. «Впрочем, я не берусь умножать сотнями примеров то, что до меня не касается, а тем более о нерешенных делах, сокрытых в архивах», — такими словами прерывает Раевский перечисление этих ужасных злодеяний (§ 18).

Возникновение рабства «первый декабрист» видит в смутных обстоятельствах: в нашествии татар, которые положили начало рабству. Приведенные выше ответы Раевского имеют исключительно важное значение. Они показывают те истоки, от которых шел Раевский, создавая своё «Рассуждение о рабстве». Это жизнь крепостного крестьянства, которую он глубоко знал, которая его волновала и которую он стре-

мился преобразовать. В этом жизненность и сила произведения. Связь «Рассуждения» с «Путешествием от Петербурга до Москвы» Радищева совершенно очевидна. Это проявляется в резкой характеристике русского помещика, в характеристике дворянства русского и в общей идейной направленности «Рассуждения». Сам автор прекрасно понимал значение этого произведения. «Сочинение сие опубликованное, — писал Раевский в ответных пунктах, — могло бы быть вредно в руках господских крестьян, но оно написано не для них ни по слогу, ни по содержанию». Комиссия, однако, не вняла этому вынужденному объяснению, а утверждала, что «Рассуждение» тайным образом распространялось. Кроме того, крепостной человек Раевского, оказывается, списывал «Рассуждение о рабстве» (§ 44).

В 1827 году декабрист уже не отрицал свое авторство. Так, в письме к Куруте (4 апр. 1827 г.) «первый декабрист» писал в связи с допросами его в следственной комиссии при Литовском корпусе: «Между бумагами найдено **опровержение мнения** г. Растопчина писанное лет около десяти тому назад и составленное из разных страниц, с оторванными листками, с незаконченными фразами... Комиссия приняла сочинение сие в виде весьма подозрительном и, истолковывая смысл по собственному произволу, ввела в запрос новые слова и свои мысли и выражения, вовсе не обращая внимани на цель, время и смысл полного сочинения... и отнесла сие сочинение к тайнам или цели общества. Этого мало. В сих же запросах, между прочим, требует от меня отчета: откуда я знаю политическую экономию? Зачем я переводил Монтескье?.. Кто меня научил писать сочинение? А по второму вопросу на место литера Ч поставлено Щ и говорится, что вы не поняли или не хотели понять вопроса, как будто бы ночь и нощь, могучий или могущий, тысячелетний или тысящелетний не все равно? и как будто бы научал и наущал суть два разнозначущие слова? Три раза запрашивали меня, что такое патриотизм? Как будто бы патриотизм есть уже преступление? При третьем запросе, напоминая мне, что я принадлежал к тайному обществу... Далее еще сильнее. Спрашивают меня, какую надежду имел я «не быть бездушным рабом? — как будто бы от меня требует закон такого унижения? Наконец, оканчивает вопросы: «Дабы не увеличить преступления вашего»..., как будто бы комиссия доказала преступление мое, не начиная еще дела, — как будто бы я осужден и преступник? Таковые и многие подобные сим вопросы могли бы тронуть и оскорбить честного рядового, не только меня» (ЛОЦИА, ф. 530, д. № 648, 1826 г, ч. 2-я, л. 733—34). Как видим, Раевский даже не упоминает имени Охотникова и не отрицает своего авторства, хотя в ответах на запросы комиссии он везде ссылается на Охотникова, которому, якобы, принадлежит «Рассуждение». В письме к начальнику штаба «первый декабрист» старается доказать, что «Рассуждение» не шло вразрез с желанием Александра I. При этом он ссылается на речь царя к полякам и на мерпроиятия в Лифляндии. Декабрист старается доказать, что «Рассуждение» никакого отношения не имело к целям тайного общества. При тактике запирательства и отрицания Раевский оказывался довольно часто в затруднительном положении. Так, на вопрос комиссии, что нужно понимать под словами: Россия требует скорого преобразования, а для этого требуется решительность и внезапный удар, Раевский отозвался незнанием того, что «разумел сочинитель» под словами «скорое преобразование». А под решительным ударом «со-

чинитель, очевидно, имел один почерк имени государя, т. е. указ, ибо дело идет только о господских крестьянах».

Прекрасный знаток русского языка и поэзии Раевский не упускал возможности и использовал свои знания для борьбы с обвинителями. Это давало ему возможность выиграть время или увести в сторону от опасного для него вопроса, подменив политический вопрос филологическими изысканиями. Это мы видим в письме к Куруте. Интересно в связи с этим указать также и на его ответ этой же комиссии, потребовавшей «какие вы имеете доказательства» того, что русский помещик «вспоен слезами и кровавым потом своих подданных». «Сия статья полагаю, — отвечал Р., — есть только поэтическая выходка сочинителя, риторическая фигура; ибо **физически** подобное суждение было бы, конечно, удивительным» (ИРЛИ, «Ответные пункты..., лит. Г, §7»).

Не случайно все следственные комиссии обращали пристальное внимание на «Рассуждение о рабстве». В этом смелом, направленном против крепостничества произведении проявилось сильное гражданское чувство патриота, требующего скорого преобразования в России, созревшей для этого. Раевский не произносит слова — революция, но, что он приходит к пониманию её необходимости в этом нет сомнения. Говоря о том, что требуется решительность и внезапный удар, заканчивая свое «Рассуждение» именами тираноборца Брута и борца за вольность Вашингтона, Раевский этим уже определяет направление своей мысли. Есть у него еще одно знаменательное соотношение имен. В «Послании к Петру Григорьевичу Приклонскому», характеризуя безумцев, которые «врага ума в кругу своем венчают», поэт говорит дальше о них, безумцах; «Франклина мудрого с Кромвелем Лжедмитрию равняют». Первоначально у него была такая строка: «Нерона с Цезарем в величии равняют», но она не удовлетворила поэта и он ее вычеркнул и дал приведенную выше (ЛОЦИА, «Разные черновые бумаги. . .», ф. 9, св. 18, лит. В, т. 2. к № 42, л. 142). Раевский приводит с явным сочувствием то имя, которое привело в ярость Екатерину II. Прочтя оду «Вольность», она писала: «Ода совершенно явно и ясно бунтовская, где царям грозится плахою. Кромвелев пример приведен с похвалами. Сии страницы суть криминального намерения, совершенно бунтовские».

В творчестве «первого декабриста» полнее раскрываются его взгляды. «Элегия 2-я» является поэтическим воплощением идеи революционного преобразования. В «Элегии 1-й» поэт обрушивается на тирана и предвозвещает гибель его и торжество правды и свободы. Эти идеи мы, таким образом, находим и в других его произведениях. Публицистические и художественные произведения «первого декабриста» были направлены против тирании, против монархического деспотического правления и крепостничества. Раевский в этом вопросе шел «вслед Радищеву», хотя в его высказываниях, это надо отметить, не было такой определенности и революционной резкости, какая присуща Радищеву. Его «Рассуждение о рабстве», «Записка о солдате», отчасти «Протест», а самое главное — его революционная пропагандистская деятельность среди солдат со всей очевидностью свидетельствуют, что «первый декабрист» если и не разрешил полностью, то во всяком случае подошел к вопросу об основной силе истории — о народе, противопоставляя ему господствующий класс, дворянство. Все симпатии де-

кабриста на стороне народа. В нем он видит такие моральные стороны народного характера, которые ставят народ выше дворянства. Он неоднократно подчеркивает честь и человеческое достоинство представителей народа и отказывает в этом представителям дворянства. Демократические тенденции, свойственные Раевскому в это время, проявляются совершенно отчетливо. Весьма важно подчеркнуть объяснение «первым декабристом» причины, которая управляет им. Это патриотизм, «сей светильник жизни». В объяснении патриотизма, неразрывного с свободолюбием, ведущего на борьбу с тираном, Раевский следует за «Беседой о том, что есть сын Отечества» Радищева. Он пламенно и страстно желает счастья России, клянется не быть «бездушным рабом». С патриотическими устремлениями Раевского связана и его борьба с дворянскими космополитами. Он обвиняет Екатерину II в том, что она посеяла разврат в нравах. Эти ядовитые семена «чумы иноплеменной» проросли при Александре I. В одном из своих объяснений Раевский пишет, что он в этих словах подразумевает подражание иностранному, которое насаждала Екатерина II. Еще более определенно о реакционной роли космополитизма сказано в «Сатире на нравы»:

Из всех гражданских зол всего опасней, злей
Для духа нации есть чуждым подражанье».

Итак, «Рассуждение о рабстве крестьян и необходимости скорого преобразования в России» является ярким и смелым произведением «первого декабриста», характеризующим его общественно-политические взгляды, его отношение к самодержавию и крепостничеству.

5. **О существе законов** — печатается с автографа, (ЛОЦИА, «Черновые бумаги. . .», лл. 111—113). Это конспект некоторых глав книги Монтескье «О духе законов». В конспекте материал извлечен так, что приводятся мнения о разных родах правления. При этом оправдывается республиканское правление, которому противопоставляется монархическое деспотическое правление. Комиссия связывала «Рассуждение о рабстве» с извлечением из Монтескье, требуя объяснения, с какой целью было сделано извлечение и переведено на русский язык. Ее также интересовал вопрос о том — не давал ли Раевский кому-либо переписывать его. Декабрист указывал, что он читал на русском языке перевод П. С. Потемкина « О разуме законов» и Языкова Д. «О существе законов» (1816). «Знаю, что правительство дозволило издание сих книг на русском языке **для общего** употребления» (ИРЛИ, «Ответные пункты. . .», § 35). В своей пропагандистской деятельности Раевский внедрял юнкерам идеи республиканского правления, противопоставляя его монархическому. В рапорте комиссии, адресованном командующему гвардейским корпусом великому князю Михаилу Павловичу, на окончательное рассмотрение которого Николай I передал дело Раевского, не удовлетворившись заключением Константина, сказано весьма красноречиво об этом: «Толковал юнкерам и они учили наизусть, что правление конституционное есть лучше всех правлений, а особенно нашего монархического, которое хотя и называется монархическим, но управляется деспотизмом: приводя им в пример. что теперь они сидят, а после посадят в кибитку и повезут. Говорил Раевский, что правительство старается угнетать своими деспотическими действиями, почему и должна быть конституция, дабы все управлялось законами, клонящимися к общему благу, утверждал, что в нашей армии существует величайшее тиранство потому, что нет равенства и не существует конституции,

как в других государствах» (ЛОЦИА, ф. 9, ВИА, св. 18, д. № 42, т. 1, л. 3, § 5). Раевский прямого признания не сделал по этому вопросу, но и не отрицал показаний четырех юнкеров и двух офицеров, а старался дать иное толкование своим словам о конституции. Еще в «Оправдании», он писал о том, что географические уроки для юнкеров и солдат составлялись им. На этих уроках он давал и определение Конституции. «Говоря о государстве, каким бы я назвал то, в котором существует Конституция», — спрашивал декабрист. В свое оправдание он указывает, что «не Конституция есть зло, а наглые и насильственные меры к достижению оной. Они то обезобразили и самое название, не только понятие о сем роде правления». Раевский ссылается на то, что в географических уроках нет указания на такие насильственные меры. Уклончиво он отвечает и на обвинение в том, что называл это правление наилучшим. Раевский допускает возможность этого определения в прописях. («Оправдание», л. 29). Географические уроки дополнялись уроками по истории и поэзии. Об истории мы скажем здесь, а об уроках поэзии в предисловии к неопубликованным стихотворениям. Раевский был глубоко и разносторонне образованным человеком. Об этом свидетельствуют многочисленные тетради, захваченные при обыске. Среди них тетради по физической географии, статистические дополнения о России, о Бессарабии — из истории Российского государства, об учреждении ланкастерской школы, о геометрии, практическая география, о свойствах полигона, о свойстве кругов, Российская история и другие.

«Первый декабрист» отдавал предпочтение математике, физике, военному делу и истории. Исторические сведения весьма красноречиво раскрывали и дополняли то, что не было сказано на географических уроках. В одном из ответов Раевский в свое оправдание говорит, что он не давал юнкерам естественного права и политической истории. В действительности же исторические сведения давались в определенном политическом аспекте. В конспекте «Российской истории» в разделе «Единовластие», после сообщения о злодеянии Святополка, сказано: «В это время новгородцы гордые, независимые и недовольные пребыванием норманов (или варяг), оскорбляющих их, восстают и трупы дерзких иноземцев покрывают улицы Новгорода!». Ярослав обращается к новгородцам и они охотно прощают своему князю и он «близ Любича разбивает хищника, тирана». Новгородцы побивают Святополка, который «в бегстве, терзаемый стыдом и совестью, погибает в стенах Богемских в пример тиранам! Кровопийцам!». Ярослав в благодарность возвращает новгородцам прежние права вольности, «правление демократии». Конспект заканчивается словами: «Теперь повторим, что сказал историк наш о законах русских» (ЛОЦИА, лит. В, к № 42, т. 12, лл. 312—315). Приведенные места привлекли внимание следователей и эти высказывания подчеркивались и отмечались другими знаками.

Кроме того, Раевский использовал материалы отечественной истории и на уроках чистописания. Вот один из примеров: «Раздался звук вечевого колокола и вздрогнули сердца в Новгороде. Отцы семейств вырываются из объятий семейств, чтобы спешить куда призывает их отечество» (там же, т. II, л. 195).

Давал он в тетрадях и объяснение деспотического правления, называя таковым правление Ивана Васильевича. «И, кажется, безошибочно», —писал Раевский.

Обращался «первый декабрист» также к примерам древней и новой истории. У Раевского была и другая форма использования исторических фактов. Всеми следственными комиссиями и комитетом ему ставилось в вину, на основании показаний 12 юнкеров, что в примерах правописания были помещены имена Брута, Кассия, Вашингтона, Мирабо, Квироги. Раевский называл их великими мужами, заслуживающими, чтобы их имена знали наизусть, хвалил Квирогу за то, что он сделал в Мадриде революцию. Красочно описывал декабрист въезд Квироги в город. Самые знатные дамы и весь народ вышли ему навстречу и бросали цветы к ногам его. Мирабо был участником Французской революции, писал много сочинений против своего государя» (ЛОЦИА, ф. 9, ВИА, рапорт. кн. Михаилу, св. 18, д. № 42, т. I, лл. 5—18, § 1). К этим объяснениям и именам, помещаемым в прописи, Раевский добавлял еще три слова: Свобода, Равенство, Конституция. Эти слова давались Раевским как юнкерам, так и солдатам. В «Дополнении к «Протесту» Раевский упирал на то, что слова давались им «без толков и стояли порознь» и что «это были примеры имен существительных собственных». Однако он на этом не останавливается в своем объяснении, а пространно высказывается по существу вопроса. «Одне ли эти имена стояли? — пишет он. Нет, они стояли с другими более или менее славными. Спрашиваю, могли ли быть подозрительными имена, о коих прогремела история из рода в род или те имена, кои должны быть начертаны в памяти всех людей просвещенных. Нет, эти имена стояли просто без похвалы или хулы, ибо юнкера приготовлялись к изучению истории, следственно, они узнали бы сами тех людей, чьи имена стоят, ибо жизнь их неоднократно описана на нашем отечественном языке. Они бы узнали, что Вашингтон велик в своем месте, Мирабо хорош в своем, а привыкши к соображениям узнали бы, что и Сущов недурен в своем месте... Итак, какой вред могли произвести имена людей славных, в числе других написанных?». Таким вопросом заканчивает «первый декабрист» в «Дополнении» своё оправдание. За этими словами в самой тексте следует красноречивое примечание генерала Сабанеева: «Людей славных Квирога и Риего, кончивших жизни свои в петле». Кстати припомнить и его, Сабанеева, злопыхательские слова, адресованные Раевскому — «Вы не Катон и не Брут». Совершенно очевидно, что прием пропаганды, применяемый декабристом, был разгадан Сабанеевым.

В 1826 году в «Оправдании» Раевский опять вынужден был защищать свои грамматические уроки и, в частности, уроки об именах существительных. Здесь он более сдержан и указывает на то, что имена Квироги и Мирабо стояли среди других имен без определения: «Без описания деяний одни имена,—говорит он,—не могли сделать ни вредного ни полезного влияния и остались одними простыми и безразличными звуками». Раевский готов даже признать, что он мог говорить юнкерам о том, что Мирабо писал против короля, а Квироге бросали цветы. Но поскольку он не говорил о революции, о причинах, последствиях, не делал сравнений и пр., то употребление этих имен безвредно («Оправдание», 1826 г., л. 28). Обращение к этому вопросу в «Протесте», «Дополнении к «Протесту» и в «Оправдании» свидетельствует о том, что Раевский понимал значение этого обвинения, стоявшего первым пунктом в рапорте на имя Михаила. Не случайно и упоминание о политической истории. Она действительно не была предусмотрена в

ланкастерской школе, но элементы ее, как это видно из изложенного выше, давались юнкерам. Что касается естественного права, то и оно не было забыто, но положения его проводились иным путем. Раевский, стремясь оправдаться в том, что и в полковой школе, для солдат, он применял такие же прописи, в которых были тё же "имена и слова «Свобода, Конституция», опять таки хочет доказать их безвредность. «Спрашиваю, могли ль солдаты понимать смысл этих слов? — пишет он в «Дополнении к «Протесту», — а о толковании мною оных ни один офицер, ни один юнкер, ни один солдат не говорит». Но ведь сам же Раевский в других случаях неоднократно говорит о мерах, которые применялись им для того, чтобы солдаты поднялись до понимания этих слов. В «Протесте» он пишет об унтер-офицере Духе, который читал «Сына Отечества», а какой-то рядовой брал из школы на квартиру «Плутарха для юношества». Об этой книге Раевский писал комиссии: «Прошу развернуть Плутарха для юношества. В этой книге стоят имена и жизнь их, в книге которая не только не вредна, но полезна самому слабоумному юноше». (ЦАР, к № 417. «Бумаги признанные сомнительными», л. 87). В «Дополнении», протестуя по пункту «О позволении солдатам брать книги из дивизионной юнкерской школы на квартиру», Раевский писал: «Позволял. Хотя бравших в продолжении года оказалось только два, о чем весьма сожалею, ибо желал и желаю ныне, чтобы солдаты занимались в свободное время книгами, нежели развратом или подлыми доносами. Надо заметить, что после растасовки школы, некоторые из солдат дивизионной школы уже произведены в унтер-офицеры в полках. Неизвестно почему и теперь еще никак не понимаю, с какими видами комиссия о чтении книг поместила в смертном моем приговоре, как о преступлении». В «Наставлении» Раевского солдатам его роты в § 4 сказано следующее: «Всем молодым солдатам заниматься изучением грамоты прилежно, ибо я решился не представлять тех в унтер-офицеры, которые не будут знать читать и писать, а буде кто скорее прочих выучится и будет знать свое дело по службе, то, хотя бы он был и рекрут, я представлю к производству в унтер-офицеры» (ЛОЦИА, ф. 530, д. № 648, 1826, ч. 2-я, л. 659). Таким образом, совершенно очевидно, что «первый декабрист» принимал все меры к тому, чтобы солдаты понимали смысл слов, которые так встревожили следственные и судные комиссии по его делу. Но, пожалуй, самым убедительным раскрытием понимания естественного права было поведение декабриста. В вину Раевскому ставилось дружеское обхождение с солдатами. Это выражалось в различных формах. Он спрашивал солдат о здоровье, трепал по щеке, а некоторых песенников целовал, спрашивал каковы квартиры, как кормят, с фельдфебелем вместе чаи пивал, потчевал солдат табаком и сам нюхал солдатский табачок. Мало этого. Раевский не только не наказывал своих солдат, но сказал подполковнику Нейману в глаза, «что он сочтет за личную обиду, если он хотя бы пальцем тронет его роты солдат». Если к этому добавить его заботы о материальной стороне солдатской жизни, а также о политической, то характеристика будет полная. В солдате декабрист в первую очередь видел человека. В этом проявляются его демократические симпатии. Такое отношение к солдату покоилось на утверждении: «Солдаты такие же люди, как и мы». Равенство понималось Раевским так. В физическом и нравственном мире не может быть равенства, говорил он. Но в общественном мире, перед законом — все равны по

естественному праву. Эта мысль внушалась им и солдатам, о чем узнал от них на исповеди полковой священник Луцкевич. Попытка последнего поговорить с Раевским закончилась тем, что он начал говорить «о равенстве всех человеков, уверяя, что подчиненные ему друзья». «Все люди созданы равно,—говорил он,—и нет сомнения, что деспотство уничтожится со временем, что капитан, солдат, генерал суть все люди, в чем его ни государь, ни законы не разуверят». Слова священника о пагубности неподчинения верховной власти были названы декабристом общечеловеческими. Тут же заодно отозвался отрицательно об исповеди и сам отказался исповедываться, что подтверждено и справкой священника. Луцкевич донес обо всем соответствующим рапортом (27 февраля 1822 года) (ЛОЦИА, т. 1, л. 202 и сл.) и повторил на очной ставке. Раевский, не отрицая этого разговора, указывал на то, что священник не уточнил, о каком деспотизме идет речь. Таким образом, совершенно очевидно, что солдаты узнавали о естественном праве не только на основании поведения, сравнивая отношение к ним Раевского и, например, Вержейского, Гимбута, Шварца, Желтухина, которые для декабриста были тиранами и кровопийцами, но им о принципах естественного права внушал «первый декабрист». Итак, и политическая история и естественное право также применялись Раевским в целях политического воспитания юнкеров и солдат. Вопросы политики интересовали декабриста. Об этом свидетельствуют не только публицистические статьи, названные выше, а также приведенные факты, но и план или набросок статьи «О политике», сделанный Раевским в Тираспольской крепости, куда он был заключен после ареста.

Этот набросок статьи (или плана статьи) находится в разных листах в деле Мозевского (ЦАР, III отд., 1 эксп., 1827, к № 417 «Бумаги, признанные сомнительными»). Приводим его полностью: **О политике.** Под словом политика разумеется искусство управлять народом. В состав совершенств политики входят: 1. Государственное хозяйство, 2. Государственный закон. А потому—чем государство богаче и чем законы лучше, тем народ, более благоденствует. Следовательно, цель политики есть благоденствие народное . . . Бонопарт свергнул Бурбонов с трона. Не Бонопарт сделал революцию: он только воспользовался ею для своего властолюбия. . . Вашингтон и Франклин — освободители от рабства или Американские Соединенные Штаты. . . Республика Швейцарская основана любовью к вольности. . . Рабство всем противно, свободе и безопасности. Каждая часть в чине природы определена к сохранению целого... Конституция—новое учреждение законов... Человек по природе есть член общества. Безопасность его и наслаждение требуют, дабы он сохранил все, что заключает в себе его природа... Где народ разделен на особые чины или статьи, как римские патриции, рыцари и простолюдины, как великобританские лорды и простой народ, там права одного чина опасно подвергнуть суждению другого; лучше, чтобы всякого судили ему равные. . . Мирабо—представитель народный. Был послан от мещанского сословия в Версалию депутатом. . , Карбунар. . .

Республика, где народ и король управляют (лл. 7—20). Совершенно очевидно, что перед нами если не набросок, то подробный план статьи о Республике. Мы имеем разрозненные части единого целого. Эти наброски были сделаны в Тираспольской крепости, повидимому, до вынесения смертного приговора. О том, как они попали к Мозевскому см. статью в этом сборнике «Дело Мозевского». Набросок «О

политике» раскрывает полнее, чем перевод из Монтескье, положительное отношение Раевского к республиканскому правлению. Здесь мы имеем дело не с переводом, а с оригинальным наброском «первого декабриста». Полагаем, что кроме извлечения из Монтескье, развитием которого является набросок «О политике», сделанный позднее первого, к ним же нужно отнести и выдержки, сделанные Раевским до ареста, Приводим одну из них: «В правительствах, основанных на полном произволе, устойчивость власти зависит от общественного мнения. Когда пропадает уважение к личности, если бы даже это был восточный деспот, комбинациям и интригам куртизан, разрывающим барьер придворного блеска, который импонирует только издали, редко не удастся произвести переворот правительства. Связь этого презрения к личности государя с таким переворотом становится еще более необходимой в стране, где торговля, прогресс просвещения и либеральные мысли в одно и то же время подготовили многочисленные корпорации и позволили им наметить отношения, которые должны существовать между их собственными интересами и поведением государя. Особенно надо бояться, чтобы глупость и сумасбродство двора не вызвали революцию в такой стране как Россия, где наследование короны было таким беспорядочным и в которой такие перевороты были так часто» (АФКЭ, 1825, ф. 48, оп. 48, № 149, л. 60). Есть и другие выдержки подобного же типа, но относящие к Франции и Англии. Все это свидетельствует о том, что у Раевского был устойчивый интерес к вопросам о форме правления. Он проявлялся не только в его преподавательской, пропагандистской деятельности, о чем было сказано выше, но также и в том, что он пытался теоретически осмыслить этот вопрос, выступить с рассуждением о политике, как он выступил с рассуждениями о солдате и о рабстве крестьян. Внутренняя связь этих вопросов ясна. Решая вопрос об основной силе, декабрист должен был ответить и на вопрос о такой форме государственного устройства, которая привела бы к «благоденствию народному». Такой формой, как это видно из приведенного выше материала, должна была быть Республика.

При разрешении злободневных политических вопросов Раевский обращался к истории, где он находил факты, подтверждающие, оправдывающие и разъясняющие те или иные политические положения. Интерес к истории этим, однако, не ограничивался. Он подходил к ней и с философской точки зрения. Об этом свидетельствует его «Предисловие» к задуманной работе о Петре I. В этой работе, как можно заключить из предисловия, сравнивается деятельность Петра I и султана Селима III, который не успел в преобразованиях и «Турция, оставшаяся в варварстве под владычеством священнослужителей и мятежных солдат, со времени сих нещастных предприятий непрестанно идет к своей гибели». Эти великие события, — т. е. преобразования Петра I и развитие России, крах деятельности Селима III и положение Турции, оставшейся в варварстве, — «достойны обратить внимание историков и философов», — говорит Раевский (ЛОЦИА, к д. № 42, л. 6). Интерес к философским проблемам проявляется у него в извлечении из Монтескье, в философской лирике, в посланиях, где указывается круг философов, которые привлекали его. Об этом интересе свидетельствует, наконец, работа «Одинакая целость смысла с разумом или ум».

Литературные взгляды Раевского с наибольшей ясностью и прямотой высказаны в его обращении к Пушкину. Его отношение к пассивному романтизму — в наброске «Вечер в Кишиневе», а также в его критических замечаниях о «Беглеце» Вельтмана. В неопубликованных материалах есть и другие данные, характеризующие его отношение к литературе, к деятельности писателя. Дадим краткий обзор этих материалов. В тетради «Поэзия» (перевод) дается сбщая характеристика поэзии в таких словах: «Один из главнейших видов поэзии сначала было образование нравов. Эпические поэмы — прославлять нас под видом приятной аллегории; оды — прославлять дела великих мужей и возбуждать других подражать им; трагедии — дабы вдыхать в нас презрение к порокам и почтение к добродетели; комедия и сатиры — чтобы исправлять нас, увеселяя и охуляя пороки и странности. Элегия—дабы лить слезы на гробы людей, которые достойны сожаления; эклоги — воспевать невинность и забавы сельской жизни». За этими словами следует конспективное изложение истории греческой и римской литературы.

Взгляды Раевского на служение литературы обществу мы находим в его поэтических произведениях, в практической деятельности. Это тем более интересно, что Раевский, как это видно из следственного дела, правила поэзии, которые давались юнкерам, составлял сам, а примеры списывал из разных авторов, большею же частью из Жуковского и Батюшкова (ЛОЦИА,.. под лит. А, т. 2, л. 117), В следственных делах Раевского и в его ответах мы находим материал по интересующему нас вопросу. В рапорте комиссии на имя Михаила, вслед за первым и вторым пунктами, в которых говорится о словах «Свобода, Равенство, Конституция и Квирога, Вашингтон, Мирабо», идет третий пункт, гласящий — «Показаниями юнкеров изобличен Раевский, что, обучая их поэзии, выбирал для сего примеры из стихов такие, кои хотя и пропущены цензурою, но содержат в себе свободные мысли».

К этому были приложены в особом списке и стихи, о которых шла речь. Стихи эти, написанные для комиссии прапорщиком Шпажинским, приведены в разделе «О правилах Раевского учения юнкеров поэзии, означающих в себе свободные мысли». Надо отметить, что эти стихи, повидимому, давались и в солдатской ланкастерской школе.

Они настолько красноречивы, что их, эти выдержки, которые заучивались юнкерами наизусть, стоит привести:

1. «Рушитель моей отчизны и свободы
О, ты!.. Что посмеясь святым правам природы,
Злодейств неслыханных в земле пример явил
Всего священного навек меня лишил.
Доколе в варварстве, не зная истощенья,
Ты будешь вымышлять мне новые мученья?
Властитель и тиран моих плачевных дней,
Кто право дал тебе над жизнию моей?
Закон? Какой закон? Одной рукой природы
Создан и ты, и я; и всей земли народы».

Эти слова из стихотворения Гнедича «Перуанец к испанцу» в устах Владимира Раевского приобретали иной смысл. Они были адресованы,

как справедливо замечает проф. М. В. Нечкина, к самодержавному тирану.

Выдержка из «Пери и ангел» Жуковского говорит о патриотизме, о подвиге в борьбе против истребителя свободы свирепого Ганзы, вихря войны, протекшего по Индии бедою (Отрывок начинается стихом: «Свирепый Ганза, вихрь войны»).

И видит пери с вышины
На поле страха и войны
Боец в крови; но с бодрым оком;
Перед отеческим потоком
Стоит один — и за спиной —
Колчан с последнею стрелой.
Кругом товарищи сраженны.
Лицем бесстрашного плененный,
«Живи!» — тиран ему сказал.
Но воин молча указал
На обагренны кровью воды,
И истребителю свободы
Послал ответ своей стрелой.
По твердой броне полевой
Стрела скользнула... Жив губитель!
На трупы братий пал их мститель,
И вдаль помчался шумный бой!

Из того же произведения Раевский давал отрывок, который еще в большей мере раскрывает пропагандистскую направленность литературных цитат:

«Богам угодное даянье,
Она сказала, я нашла.
Пролита кровь сия была
Во искупление свободы.
Чистейшие эдемски воды
С ней не сравняются никогда».

Совершенно очевидно, что этот отрывок по своей направленности получает такое же звучание, как и первый, адресованный тирану-самодержцу. Здесь освящается борьба с тираном, смерть за свободу.

Интересен, наконец, такой отрывок:

«И царь и раб его, безумец и мудрец,
Невинная душа, изменник, изверг злобы —
Исчезнут все, как тень. Придет всему конец
На всех грозится смерть, для всех отверсты гробы.

Кроме этих отрывков в пункте «О правилах... учения поэзии» приводятся отрывки из стихотворения Батюшкова «Мои пенаты» («Фортуна прочь с дарами», — заканчивается стихом «Навеки позабыл»); его же из «Элегии на развалинах в Швеции» (от слов: «А здесь, где некогда по дебрям разносились» — до слов — И пламенник в умах свой свет разлил» (ЛОЦИА; (ВИА); св. 18, д. № 42., под лит. А., А., т. 3, «О майоре 32 Егерского полка, Раевского 5-м; л.л. 116—119. Эти же стихи проводятся в т. 1. л. 370).

Комиссия особым вопросом потребовала от Шпажинского: «Не припомнит ли каких примеров поэзии, кои приказано было ему учить наизусть как-то: Послание Перуанца к Гишпанцу, где между прочим зак-

лючались следующие стихи: «Где поседевшая в злодействах голова добродетели гнетет, невинность поражает и кровь их на себе порфирой прикрывает». И других сему подобных (там же, л. 118). Шпажинский не приводит требуемого отрывка, но приводит другие, подобные. Они указаны выше. Его показания подтвердили юнкера Перхалов, Бартенев и др. Сабанеев к этим стихам дал своё примечание: «Примеры сии совершенно в духе Раевского».

Раевский не отрицал, что стихи эти были в его курсе русской поэзии. Он только добавил к этому еще другие произведения, а именно: Батюшкова «Переход через Рейн», «Элегия на развалинах замка в Швеции», «Плен Гаральда Смелого»; Карамзина «Отрывок из Екклезиаста»; Жуковского «Пери и ангел». Комиссия приходит к интересному выводу. Оказывается, эти стихи юнкера не могли учить в школе, так как были в низшем классе. Следовательно юнкера, в частности Бартенев, выучили их «по постороннему научению». Другими словами, литература была для Раевского средством пропаганды не только на уроках в ланкастерской школе, но средством общественной пропаганды.

По этому пункту обвинения комиссия военного суда сделала такое заключение: «Майор Раевский оказывается виновным в том, что он, преподавая правила Русской поэзии юнкерам, выбирал для них по большей части такие стихи, кои, хотя и пропущены цензурою, но заключают в себе свободные мысли» (там же, л. 121). Раевский не оставил без ответа это заключение. Он писал в «Дополнении к «Протесту»: «Между стихами, которые учили юнкера наизусть — «Пери и ангел» (Жуковского), «Премудрость Екклезиаста» (Карамзина), «Переход через Рейн», и «Песнь Гаральда Смелого» (Батюшкова) — нашли 6 стихов «Перуанец к испанцу» (Гнедича), сочли их подозрительными. Если бы они и были действительно подозрительны, то в числе толиком других стихов шесть строчек может ли навлечь подозрение? Но если бы я не только в шести стихах, но целыми тетрадями изобразил бесчеловечье испанцев в Америке, то и тогда не соделал бы ничего законом воспрещенного».

Выше было показано, что Раевский, приводя отрывки из произведений, давал им иное звучание, иную направленность. К этому надо добавить, что эти примеры давались в курсе русской поэзии, составленном самим декабристом. Такие же примеры Раевский применял и на уроках грамматики. В качестве образца приведем выдержку из тетради «О правописании». «Большая буква, — читаем здесь, — пишется в начале стиха. Например, Богам угодное даянье

(Она сказала) я нашла и т. д.

Дальше идет приведенный выше отрывок (ЛОЦИА, к № 42, под лит. А, т. 4, л. 132). В тетрадях чистописания солдат и юнкеров мы находим также стихи Державина «Глагол времен! Металла звон!» Есть и другие отрывки, например: «По грозной влаге океана все поплывем на корабле», «Блажен, кто жизнь свою в свободе провождает» и др. Здесь же, в этих тетрадях, имена Вашингтона и др. Раевский ссылался на то, что эти имена непонятны солдатам, юнкерам. Но в этих же тетрадях мы находим такие примеры: «Калисфен, афинский философ, прогуливаясь некогда в ликейском саду, встретил наставника и друга своего Аристотеля»; «Мы будет говорить о Меценате, не так как о любимце Августа, но как о покровителе наук и друге всех занимающихся ими» (ЛОЦИА .., к делу № 42, лит, В, т. II,

лл. 185—196). Отсюда можно заключить, что Раевский, обращаясь к именам, не оставлял их без объяснения.

Нужно сказать, что «первый декабрист» использовал в своей пропагандистской работе также свои произведения. Так, находясь в крепости, он давал уроки Мозевскому по истории, политической истории, поэзии и грамматике. На одном из черновых листов, отобранных у Мозевского, вслед за объяснением слов: базис, карбунар, Республика, Франклин, Брут и др., идет правило: «Большая буква ставится в начале каждой строчки стихов:

Еще расцвет душистой розы
И свод лазоревых небес
Для ваших взоров не исчез и т. д.

Всего приведено 27 строк из стихотворения В. Ф. Раевского «Послание к друзьям». Отрывок заканчивается строкой: И потревожит дух печальный (ЦАР, к. № 417, л. 41).

С этой же целью, как было указано выше, декабрист использовал и свой «Протест».

Следовательно, Раевский полностью подчинил свою поэтическую деятельность задачам революционной пропаганды. Мне не удалось разыскать курс Русской поэзии, составленный «первым декабристом». Скорее всего, что он был уничтожен перед арестом самим Раевским, который, как известно, был об этом предупрежден А. С. Пушкиным. Но приведенные выше факты ярко и определенно раскрывают общую направленность этого курса. Совершенно очевидно, что Раевский подчинил литературу служению жизни, он видел в ней одно из средств общественного, революционного и патриотического воспитания. Он использовал ее для достижения определенного политического эффекта.

Его поэтическая и публицистическая деятельность, начиная, повидимому, с 1820 года, также была подчинена этой задаче. Он сознательно распространял свои произведения. Об этом сказано как в статье, так и в примечаниях. В запросных пунктах всех следственных комиссий неизменно встречаются один вопрос — не распространялись ли Раевским его произведения. Это не ординарный запрос. В отношении Раевского он приобрел вполне определенное значение. Комиссии установили, что «Рассуждение о рабстве» распространялось. Его читал крепостной человек Раевского. О распространении «Протеста» сказано выше. Он был не только у Мозевского и Бартенева, но имел широкое распространение: «ходил по рукам», — говорит сам декабрист. Таким же путем распространялось «Послание к друзьям», самое популярное произведение поэта, а также «Певец в темнице». Мною установлено распространение «На смерть скворца». Произведения, написанные в Сибири, также распространялись рукописным путем. Все эти факты подтверждают, что Раевский остался верным своему принципиальному положению, проводимому в курсе Русской поэзии — об общественном служении литературы , поэта. Эта тенденция проявлялась и в ранних произведениях декабриста. Комиссия военного суда потребовала объяснения у Раевского не только о «Рассуждении», «Записке о солдате» и извлечении из Монтескье, но и о его ранних произведениях: «Элегия 1-я», Элегия 2-я», «Смеюсь и плачу», «Послание»,

В своих ответных пунктах Раевский писал: «Все сии стихи суть моего сочинения. Стихи сии не относились ни к кому, просто по праву стихотворства адресованы посланием» (ИРЛИ, лит. Г, «Ответные

пункты... лл. 88, 124, 125, 168). Стихи эти были написаны до 1819 года. С этого года Раевский, по его словам, не писал стихотворений. Ответы поэта приведены в примечаниях к указанным произведениям. В этих ответах обращает внимания имя Державина, на которого ссылается «первый декабрист», оправдывая гражданскую направленность и силу своих произведений. В связи с этим нужно отметить тот круг писателей, которые привлекали внимание Раевского. В стихотворении. «Смеюсь и плачу» он называет Сумарокова, Фонвизина, Крылова. Им он внимает и они раскрывают перед ним «премудрость под седлом Скотинина». В черновых бумагах Раевского есть «К временщику» Рылеева, которого он не называет нигде. Не называет он также имя Радищева, но «Рассуждение о рабстве» раскрывает его связь с «Путешествием» Радищева. Из западноевропейских философов-писателей Раевский отдает предпочтение французским просветителям (Вольтеру, Руссо и др.).

В своей поэтической деятельности «Певец в темнице» был представителем активного, социального романтизма. Он нападал на мечтательный, безвольный романтизм, уводящий от жизни. Надо отметить, что Раевский шел в своей творческой деятельности первого периода (до крепости) к реализму. Он выдвинул требование:

Человек среди своих великих дум
Зреть должен истину-прелестну наготою.

Это стремление к «нагой истине» проявляется уже в таком произведении, как, например, «Буря». Но в этом пейзажном произведении нет еще глубины мысли. В «Сатире на нравы» и связаных с ней отрывках этот художественный принцип проявляется с большей силой. В прозаическом отрывке «Повесть о Р.» попытка перейти к реалистической прозе. События второго периода жизни Р., пребывание в крепости, захватили декабриста и в это время создаются его лучшие романтические произведения, в которых разрабатывается образ «певца в темнице» — страстного и целеустремленного борца за общественные идеалы.

Все публикуемые произведения печатаются впервые. Они извлечены мною из дела «Разные черновые бумаги, принадлежащие майору 32 Егерского полка Раевскому 5-му» (ЛОЦИА, ф. 9, св. 18, лит. В, т. II, 42, и из. «Дела по доносу... Василия Раевского», ЦАР, ф. 3, отд., 1 эксп., д. 500, 1830). Они описаны, как сказано выше, в нескольких статьях и на их основе дана характеристика поэтической деятельности поэта-декабриста. В настоящей подборке, естественно, не приводятся ранее опубликованные нами новые произведения Раевского, а именно: «Предсмертная дума», «Ужасна смерть преступника», «Сибирские огни», 1938, № 3—4, стр. 130—131; «К друзьям в Кишинев», «Волжская новь», альманах, 1940, № 10, стр. 285—287; «Песнь воинов перед сражением», «Литературный Ульяновск», альманах, 1947, № 1, стр. 129—130; «Послание к друзьям в Кишинев» (вариант), там же, стр. 130—131.

Не приводим здесь также следующих стихотворений Раевского, извлеченных из того же дела: «Сетование», «Ода другу», «Свидание», «Непорочность любви», «Элегия 3-я», «Хлое», «К ней же», «К лире», «Лизе», «Корине», «Ей же», «Признание», «К моей Мемцее», «К Лизе», «Давно ли с мирною душою», «Шарлотте», «Пришлец, здесь Родина твоя», «О, юноши, смело идите» (отрывок), «В наряде утреннем», «Сила страсти», «Пришлец, здесь родина твоя», «Час меланхолии», «На смерть скворца». (См. также прим. к «Посланию к К-ву»).

Большинство этих произведений относится к легкой поэзии. Мотивы этих произведений ярко выражены в публикуемой «Вакхической песне». Некоторые стихотворения имеют несколько вариантов. Публикуемые здесь написаны в 1816 — 1821 гг. Они были захвачены при аресте Раевского в феврале 1822 года вместе с другими бумагами.

Песнь воинов перед битвой. Написана в 1815—16 гг., печатается с белового автографа, л. 114. Та же тема, что в «Песне воинов перед сражением».

Давно ль. 1816, с автографа, т. 12, лл. 299 — 301. Первоначально называлось «Мой жребий»: В этих произведениях разрабатывается тема 1812 года.

Песня. Написана в 1812—16 гг., с белового автографа, л. 296.

Послание Приклонскому. 1816—17 гг. Есть два варианта, лл. 117, 114, 142—143. Печатается с последнего, белового автографа. См. письмо Р. к Приклонскому.

Элегия 1-я. 1818—19 гг. Есть две редакции произведения. Первоначально называлась «Элегия А. Ф. Р.», затем — «На смерть юноши», и, наконец, «Элегия 1-я». Написана на смерть брата. Нами дается сводный текст. Небольшой отрывок из этого произведения (11 стихов) приведен В. Гофманом в статье «Поэтическая работа декабристов», Лит. учеба, 1933 № 1, стр. 43 и в его же статье «Литературное дело Рылеева, П. С. С. Рылеев, Л. 1934. «Элегия 1-я» и «Элегия 2-я» — образцы философской лирики поэта-декабриста. Комиссия военного суда при Литовском корпусе потребовала у Раевского объяснения о произведениях «Смеюсь и плачу», «Послание Приклонскому», «Элегия 1-я», «Элегия 2-я». В частности, на требование объяснить слова «Убийца покровен правительства рукою» Раевский ответил, что стихи относились не к лицам, а к воображению и расположению духа. При этом он сослался на «Вельможу», «Властителям и судиям», «Щастью» Державина, в которых «находятся места гораздо сильнее. Но как скоро лица не названы, ни время, то цензура не удержала бы таковых выражений».

Элегия 2-я. 1817—18 гг. Беловой автограф, л. 115—116.

Раевский называет это произведение в своих показаниях 1827 г: «Элегией к осени». Отрывок (8 стихов) приведен В. Гофманом (см. выше). Комиссия потребовала объяснения: «Какого грозного дня вы ждали, чтобы врата свободы отверзлись и добродетели луч возблистал?». «Стихи сии суть «Элегия к осени», — отвечал Р. Я не только никакого переворота, но вовсе никаких подобных тому идей не имел. Я выражал то, что в то время ощущал. Это было осенью, следственно, писавши в такое мрачное время, имел и мысли мрачные».

Плач негра. 1816—17 гг., с автографа, л. 67—98 об.

Первоначальное название «Плач невольника». Тематически к этому произведению примыкает «Эклога» «Меликл», а также «Песнь невольника», напеч. в «Украинском журнале», 1824, № 18—20, ч. 48, стр. 46. Эта группа произведений связывает Раевского с «радищевцами», в творчестве которых мы находим подобную же тему, разрешаемую в том же плане.

Эклога. 1816—17 гг., л. 134.

Картина бури. 1817 г. Первоначальное название «Гроза», беловой автограф, л. 152.

Глас правды 1816—1818 гг., с автографа лл. 129—130, 102,

Есть две редакции. Приводим вторую.

Послание. 1816 — 1818 гг. Есть три редакции этого произведения: «Послание», «Послание Г. С: Батенькову» (1815), «Послание Батенькову». «Послание Г. С. Батенькову» опубиковано в «Атенее», 1926, кн. 38, стр. 5—6, 26—27.

Мы приводим первую и дальше—третью редакцию.

Батеньков, Гавриил Степанович (1793 — 1863) близкий друг Раевского. Вместе они воспитывались в дворянском полку, при 2 кадетском корпусе. Здесь они делились мечтами о свободе. По выходе из пансиона оба приняли участие в Отечественной войне 1812 года. Отличились особой храбростью. Были награждены. Батеньков был арестован вместе со многими декабристами и почти 19 лет просидел в каземате Петропавловской крепости, затем был сослан в Сибирь. В 1856 году был амнистирован и поселился в Калуге. С 1859 г. возобновилась переписка между Раевским и Батеньковым (см. публикуемые письма). Умирая, Батеньков завещал свой портрет Раевскому. Послание Раевского относится к тому времени, когда Батеньков перешел из ведомства путей сообщения в Иркутск. В 1816 г. Батеньков был взят к себе Сперанским, проводившим ревизию в Сибири.

Вакхическая песнь. 1819 г. Беловой автограф, лл. 74, 75, 83, 83, об. Первоначальное название «Обет». В этом произведении наиболее полно проявились мотивы многих произведений Раевского, написанных в духе легкой поэзии. Преодоление и разоблачение этих мотивов находим в «Признании», где в нарочито натуралистическом плане дано их раскрытие.

Ропот. 1819. Автограф, лл. 70—79. Ср. с «Вакхической песней».

Песнь природе. Автограф, л. 79.

Мое прости друзьям. 1817 — 1819 гг. Автограф, лл. 127—128, 67.

Тема дружбы является одной из основных тем в творчестве Раевского. Приклонский и Кислицын входили в общество, созданное Раевским в 1816 — 17 гг. Члены общества носили железные кольца. Стихотворение — поэтический отклик на это содружество. Приклонскому и Кислицыну посвящено также «Послание».

Я видел часто. 1817—19 гг. Автограф, л. 291 об.

По содержанию связано с «Сатирой на нравы», «Безумцы, оградясь обрядами» и др. сатирическими произведениями Р.

Г. С. Батенькову. 1815—19 гг. Автограф, лл. 308, 68. См. прим. к «Посланию», Публикуем вторую редакцию этого послания, как наиболее ценную в идейно-художественном отношении.

К сельскому убежищу. 1817 — 19 гг. Беловой автограф, лл. 301—301-а. По мотивам связано с «Песнью природе», «К моим пенатам», «Осень», «Пришлец, здесь родина твоя».

Осень. 1817 — 19 гг. Автограф, ЛОЦИА, т. 12, к № 42, л. 301—301-а, Тема природы всеблагой занимает большое место в творчестве поэта-декабриста. Тема осени в таких его произведениях, как «Взгляд на осень», «Элегия 2-я» и др. Особенно полно эта тема раскрывается в «Элегии».

Пришлец! Здесь родина твоя. 1819, лл. 213—214, 106, 107.

Послание другу. 1818—19 гг. Автограф, лл. 230—231. Адресовано Приклонскому или Батенькову.

Сатира на нравы. 1819—22 гг. Автограф, лл. 124—125, 155—156.

Там далее сидит провинциал. 1819—22. Автограф, лл. 119—121, 125.

Безумцы, оградясь обрядами... 1821—22 г, Автограф, ф. 9, св. 18, т. 12, д. 42, лл. 303—304, 305, 306.

Последние три произведения, повидимому, части «Сатиры на нравы», или отрывки не дошедшего до нас произведения. Идейно они связаны между собой.

Нет, нет не изменюсь... 1820—21 гг. Автограф, л. 298.

О милая, прости минутному стремлению... 1819 — 21. Автограф, л. 84.

Г. С. Батенькову. Незаконченное, третье, гослание другу юности. Батеньков до 1819 г. был в Сибири.

Смеюсь и плачу. 1818—22 гг. Печатается с автографа, лл. 69, 79—80.

Первая строфа приведена Семевским в книге «Общественные и политические идеи декабристов», СПБ. 1909, стр. 109—110. Произведение идейно связано с «Рассуждением о рабстве». Комиссия военного суда при Литовском корпусе для подтверждения того, что автором «Рассуждения» является Раевский сослалась на стихотворение «Смеюсь и плачу». На это декабрист ответил, что мысль для стихотворения он мог «почерпнуть из «Рассуждения о рабстве». Впрочем на пороки, на разврат и противузаконие я смотрел всегда с той же точки зрения, как всякий честный человек смотрит и видит. Следственно мысль сия могла быть у меня не только сходною, но одинаковою с сочинителем». («Ответные пункты майора Раевского по черновым его бумагам», Лит. Г, ИРЛИ, «Дело о В. Ф. Раевском в комиссии военного суда при Литовском корпусе», 1827, § 2). После этого ответа комиссия дала специальные вопросы о стихах Раевского: «Смеюсь и плачу», «Послание Приклонскому», «Элегия 1-я» и «Элегия 2-я», выделив соответственно такие стихи — «Смотря, как знатный вертропрах», «Но, друг мой, переждем», «Почто нещастных жертв струится кровь», «Свирепствуй, грозный день» (ИРЛИ, см. выше, лл. 88, 168, 124, 125). Раевский ответил, что все эти стихи его сочинения и не относились ни к кому, а по праву стихотворства адресованы посланием. Все они написаны до 1819 года, а с этого года, он, якобы, не занимался стихотворством. Комиссия конкретизировала свои вопросы об «Элегии», но Раевский опять сослался на право стихотворство (см. прим. к «Элегии 1-й» и «Элегии 2-й»).

Послание к К... ву. Оубликовано в «Рус. старине», 1903, IX, стр. 578. В бумагах Раевского, захваченных 3-м отделением у декабриста в 1831 году в Оленках, мною обнаружен новый текст этого произведения под названием «Послание к К... ву». Оно предназначалось для публикации в «Енисейском альманахе». Послание значительно отличается от стихотворения, опубликованного в «Русской старине». Печатаем по авторизированному списку, находящемуся в «Деле по доносу отставного поручика Василия Раевского, о злоумышленном обществе и заговоре на цареубийство». (ЦАР, ф. 3, отд., 1 эксп., д. 500, 1830, папка к делу № 500, лл. 16—20). В этом же деле авторгафы произведений. «Она

одна казалась мне мила», «Не с болию, но с радостью», «Ужасна смерть», «Когда ты был младенцем», «Костиньке», «Дневник» 1830 г., письма и др. материалы, характеризующие общественные и литературные интересы ссыльного декабриста в первые годы жизни в Сибири.

Не с болию, но с радостью... 1830 г. с автографа, ЦАР, см. выше л. 29—30.

Когда ты был младенцем... 1830 г, с автографа, ЦГА, см. выше л. 59.

21. **Я ехал с молдавских границ.** 1819—21.

Печатается с автографа, ЛОЦИА, лл. 210—212. Это единственное прозаическое произведение декабриста. Оно связано с «Рассуждением о рабстве» и с «Дневником нещастного». Сохранился план этого произведения (л. 216). Вступление. Продажа его. Барин нашел. Молодой Петр. Гаша. Принуждение к женитьбе. Здесь же на полях рукописи заметки: Премудрый государь отменил рабство; думал о Меньшикове; мне 500 лозанов». Очевидно, что эти заметки относятся к публикуемому отрывку.

17. Из неизданной переписки Раевского.

Публикуемые письма дополняют и по-новому раскрывают страницы жизни Владимира Федосеевича Раевского. Письма к Приклонскому, одному из членов содружества, созданного «Первым декабристом», характеризуют отношения между ними и их интересы. К этому же времени относятся «Послание Приклонскому», «Ода другу», «Мое прости друзьям» и др. Уже в этих письмах чувствуется, что члены содружества одухотворялись единой целью, и их интересы выходили за грань бытовых интересов. Особенно показательно в этом отношении последнее письмо Приклонскому, написанное в ноябре 1819 года, когда Раевский познакомился с Непениным и был принят членом Союза Благоденствия.

Сибирский период жизни поэта довольно подробно освещен самим декабристом в письме к сестре 21 мая 1868 года. Этим письмом пользовался и П. Е. Щеголев как единственным источником. О жизни Раевского в Сибири есть статьи Кудрявцева «Первый декабрист в Олонках» и Кубалова «Декабристы в Восточной Сибири».

В этих статьях характеризуется хозяйственная и культурная деятельность «первого декабриста». Необходимо обратить внимание на его педагогическую деятельность. В ссылке он по принципу ланкастерской системы обучал свою жену, ее брата. Он создал школу в Олонках, где применялся этот же метод. Владимир Федосеевич Раевский крупный и незаурядный деятель в области педагогической мысли. Его деятельность в этом направлении должна быть изучена, а его имя должно занять подобающее место в истории отечественной педагогики.

Характеристику первых лет пребывания в Сибири мы находим также в неопубликованном письме, захваченном жандармами в 1831 году. Письмо не закончено и писалось, повидимому, в день обыска, учиненного жандармами по предписанию Николая 1 в связи с делом Мозевского. Письмо адресовано мужу сестры Раевского. «Я уверен в любви всех моих сестер, — писал декабрист, — но провидению угодно было наказать меня таким братом, которого ни совесть, ни стыд, ни увещание, самое приличие не могут заставить быть братом. Я презираю его, и сожаление мое относится только к сестрам моим. Мне бы хотелось узнать, как они кончили раздел! Я к ним писал через отъезжающего, я настаивал, чтобы не изменяли намерений своих, и в случае обид и утеснений жаловались самой государыне. Так как уже все поступки

почти мне хорошо известны, то я хотел бы знать на чем кончилось дело? Как они решили обо мне?

Обстоятельства мои очень изменились с 1831 года, т. е. с новым откупом. Я прежде занимался перевозкою довольно выгодно — цены на извоз понизились, а норма вздорожала и теперь я не могу получить в год более 400 или 500 рублей при всем верном расчете. Если из дому мне не пришлют денег, то я должен буду продавать то, что успел составить себе — т. е. самое нужное. Здесь хлеб так возвысился, что можно бы почесть за голод: овес пуд стоит 2—50, ржаного хлеба, т. е. муки, пуд — 2—50, а весной или летом дойдет до 3—50. Пшеничный теперь 2—3 рубля. (Здесь счет идет всегда пудами, четвертей не знают), а пашни я еще не успел завести. Воровство, грабеж и убийство — здесь суть такие новости, о которых слышишь ежедневно, — убить, зарезать, отравить, утопить — суть слова, которые в уезде и в городе слышишь беспрестанно, без внимания, без соучастия, одним словом, как о вещи, которая быть должна, с совершенным равнодушием. Я здесь только 3 года, а уж два раза имел военные встречи с варнаками (так называют здесь каторжных-беглых). Недавно отца жены моей работники ограбили, отняли 4-х лошадей, самому прострелили щеку и нижнюю челюсть из ружья дробью, и, добивши дубинами, полагая мертвым, бросили в лесу, бог спас жизнь его, но не здоровье...

Таковы случаи очень часты, невооруженной рукою не только ездить, но и спать в доме опасно. Вот куда бросила меня судьба! Здесь должен я провести лучшие лета жизни моей. Петр, как на смех, прислал мне в три года слишком всего 500 рублей, т. е. по 150 рублей на год. Это делает честь его чувствительному сердцу. И если бы не крайние нужды мои, я бы из того только, чтобы не унижать себя, не говорил о нем. Сестры из Хворостянки вот уже более полугода, как не пишут ко мне. Мне никак верить не хочется, чтобы забвение было тому причиной, тем более что я привык к неизменяемой любви Александры Федосевны. Что же может оправдать их? Вам отдаю на суд деяния их. — Я знаю, что нет пророка в земле своей, но я им брат и друг, пусть каждая из них на одну только минуту перейдет в мое положение и я уверен, что тогда равнодушие их исчезнет... Я не принадлежу к числу людей плачущих, вынуждающих, требующих сострадания и молчу, поколику молчать возможно, но мысль о будущем ужасает меня. Я имею жену, в таком ужасном краю без друзей, без опоры, без надежды... (На этом обрывается). (ЦАР, 3 отд., 1 эксп. № 500, 1831, л. 45).

Равнодушие родных, их молчание приводило Раевского в мрачное состояние, ожесточало его против людей. Так писал он в письме.

В этом же году Раевский тяжело переживал смерть первого сына, умершего у него на руках. Памятником этих переживаний является дневник декабриста «В воспоминание моему сыну». Он вел его в сентябре и ноябре 1830 года. В одной из записей, сделанной вскоре после смерти сына, Раевский писал: «Что привязывает меня к этому черному, мрачному миру? Зачем я жив еще? Какая будущность ожидает меня? Постепенно возрастали бедствия мои: шестилетняя темница, лишение чести, имени, разлука с родиной, родными и друзьями, унизительное состояние, в какое брошен я, бедность и угрожающая нищета, упреки совести... Горестное воспоминание о безумно растраченной молодости, — все соединилось, кажется, дабы разразить слабое бытие мое... Но еще

не настало время... Провидение улыбнулось мне. Оно даровало мне прекрасного, как ангел, сына. Никогда до него не знал я настоящих радостей. В первый раз в жизни узнал я настоящее блаженство. Я был самый блаженный человек в мире! Состояние мое улучшилось, жена моя становилась день ото дня ближе ко мне: с понятиями развертывалась и усиливалась ее любовь ко мне и сыну. Для них не дни, не месяцы, но годы, проведенные в трудах, считал я пирами, наслаждением, отдыхом. Я начинал забывать о прежних связях крови. Я любил думать только о них, словом я дышал ими! .. (там же, л. 52).

Подавленное настроение, вызванное смертью сына, выразилось также в стихах этого времени «Костиньке», «На смерть сына». В последнем проявляется религиозно-мистическое настроение, охватившее на короткое время Раевского. Пройдет немного времени и деятельная трудовая жизнь, борьба отвлечет декабриста от этого настроения. Он опять выпрямится и опять начнет борьбу с людьми и тяжкою судьбою. Он борется не за себя, а за судьбу своих детей.

В 1840 году «первый декабрист» обращается с письмом к графу Киселеву, в котором пишет: « Я женился здесь в Сибири, ни жена, ни дети не могли разделять давнопрошедшей вины моей, но с отказом графа Бенкендорфа (см. прим. 15—П. Б.) я вижу, с облитым кровью сердцем, что они должны разделять со мной при жизни и получить в наследство мою сентенцию и титул ссыльного!» Раевского беспокоит будущность детей: после его смерти они должны были стать государственными крестьянами. Декабрист добивается разрешения поступить канцеляристом, что спасло бы его детей. Как было сказано выше, (прим. № 15) письмо Раевского было переслано Киселевым Бенкендорфу и осталось без ответа.

Жизнь Раевского заполнена, однако, не только борьбой за счастье и будущность детей, не только хозяйственной и культурной деятельностью, но так же, как это видно из публикуемых писем к Батенькову и Вельтману, общественными вопросами, общественной борьбой. Он остался верным своим принципам борца до конца своей жизни. В начале 60-х годов он связывается с «Колоколом», где печатаются его статьи, а также статьи о нем. Письма Батенькову и Вельтману показывают, что он живо откликался на вопросы, выдвинутые эпохой шестидесятых годов. Эти письма по-новому раскрывают сибирский период жизни «первого декабриста».

1. **Письмо Приклонскому.** Приклонский один из близких Раевскому товарищей, вошедший в первый союз, созданный Раевским в 1816 году. Участники этого союза носили железные кольца. Во время следствия и суда над Раевским всплыл вопрос и об этом союзе. Участникам его были посланы вопросные пункты (см. прим. 15-е). Письма хранятся в ЛОЦИА, ф. 5, св. к д. № 42, т. лит. 1, лл. 705—710. Их всего четыре: письмо от 16 апреля, 25 октября, одно без даты и письмо от 1 ноября 1819 года.

2. **Письма к Батенькову Г. С.** хранятся в рукописном отделе библиотеки им. В. И. Ленина, в Елагинском архиве (Елаг. XVIII, 16 и 16-а). Всего 6 писем за 1859—1861 гг. Они свидетельствуют о восстановлении связи между друзьями, прерванной бурными событиями. Большое место в письмах Р. уделяется вопросам общественного порядка и, в частности, вопросам, связанным с убийством Неклюдова, вопросам гласности.

3. **Письмо к Муравьеву-Амурскому** написано в 1860 году. Автограф его — в Елагинском архиве (см. выше). Письмо раскрывает один из

эпизодов борьбы с «беклемищевцами». Шелегов — один из «опричников», участник убийства Неклюдова.

4. **Письма к А. Ф. Вельтману** (1800—1870) хранятся в рукописном отделении библиотеки им. В. И. Ленина (Вельтман, II, 5 (22).

С Вельтманом В. Ф. Раевский познакомился в Кишиневе. Вельтман среди своих товарищей слыл «Кишиневским поэтом». В архиве Вельтмана, кроме писем Раевского, есть еще автограф стихотворения. «Послание к друзьям». О нем см. Л. Сперанская: «Автограф В. Ф. Раевского». Лит. критик, 1939, № 2, стр. 211.

ОГЛАВЛЕНИЕ*)

*) Статьи Н. П. Гриценко, И. Н. Трегубова и Т. М. Турова являются обработанными докладами, прочитанными в мае 1949 года на Пушкинских чтениях в Ульяновском педагогическом институте. На этих чтениях, происходивших с 25 марта по 25-е мая 1949 г., были заслушаны также доклады: А. Н. Горецкого «Библиографическая деятельность Пушкина в журнале «Современник», И. С. Кобера «Пушкин—основоположник русской реалистической литературы», П. С. Бейсова «Пушкин и В. Ф. Раевский», Н. М. Никольского «Язык сказок Пушкина».

Отв. ред. *П. С. Бейсов*
Тех. ред. *П. С. Фурсов*

*

3М06649. Заказ 3288
Тираж 500
Сдано в набор 14/VI-1949 г.
Подписано к печати 22/IX-1949 г.
Объем $21^3/_4$ п. л.

тип. Облполиграфуправления,
г. Ульяновск.